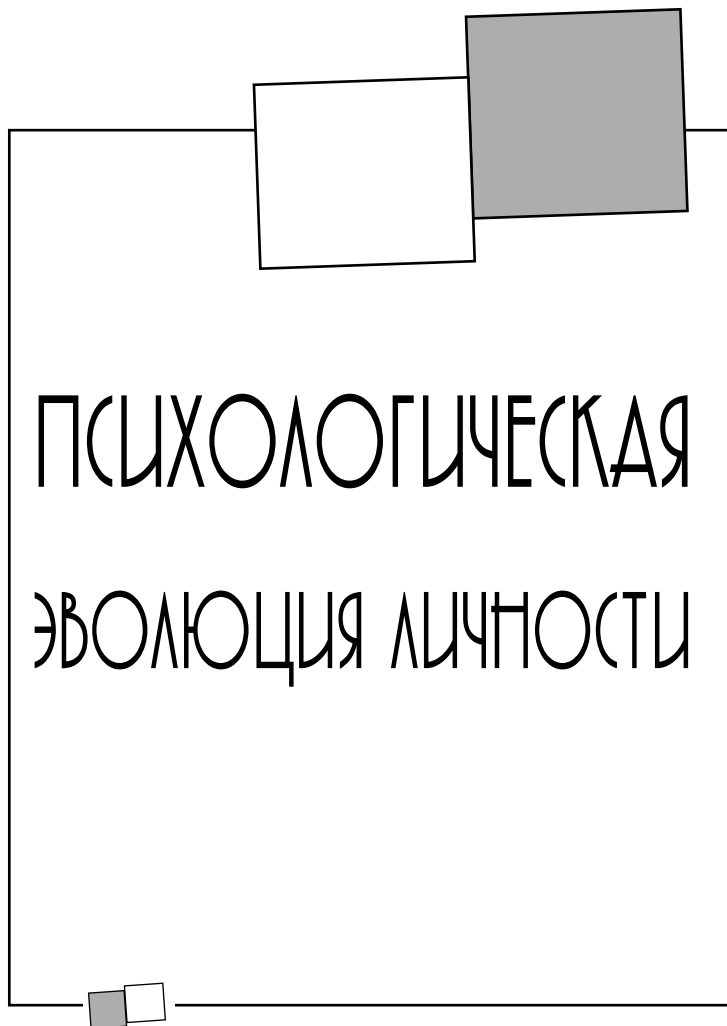


Пьер Жане



ПСИХОЛОГИЧЕСКАЯ

ЭВОЛЮЦИЯ ЛИЧНОСТИ

МОСКВА
АКАДЕМИЧЕСКИЙ ПРОЕКТ
2010

УДК 159.9
ББК 88
Ж29

Жане П.
Ж29 Психологическая эволюция личности / Пер. с фр. Н.Ю. Федуниной. — М.: Академический Проект, 2010. — 399 с. — (Психологические технологии).
ISBN 978-5-8291-1144-1

«Психологическая эволюция личности» — одна из основных книг французского психолога и психотерапевта Пьера Жане, одного из ведущих французских психологов первой трети XX века, создателя целостной общепсихологической теории и психотерапевтической практики. С начала 1980-х его психотерапевтическая система стала основой фазово-ориентированных подходов к терапии ПТСР. «Психологическая эволюция личности» — один из самых ярких текстов Жане. Он сочетает философские размышления, общепсихологические построения и подробные описания клинических случаев — характерная черта ушедшей французской традиции патологической психологии конца XIX — начала XX в.

Для аспирантов и студентов-психологов, студентов-психиатров и социологов, всех изучающих родственные дисциплины.

УДК 159.9
ББК 88

ISBN 978-5-8291-1144-1

© Н.Ю. Федунина, перевод, 2009
© Оригинал-макет, оформление.
Академический Проект, 2010

ПРЕДИСЛОВИЕ НАУЧНОГО РЕДАКТОРА

«Воплощение французской психологии», «архитепический французский психолог», — так пишут о Пьере Жане его соотечественники, историки науки¹. А еще — настоящий парижский интеллекуал: его прадедушка открыл книжный магазин на улице Сен-Жак рядом с Сорбонной, дядя был знаменитым философом, а брат — известным врачом. Кроме того, как признается сам Жане в этой книге, он был типичным застенчивым юношей, робеющим в парижских салонах. Возможно, поэтому гораздо больше, чем светская жизнь или искусство, его привлекала природа. Всю свою жизнь Жане собирал гербарий и набрал несколько тысяч экземпляров растений — примерно столько же, сколько историй болезней своих пациентов². Однако Жане не был бы типичным французом, если бы не преодолел свою застенчивость, и даже славился на балах отличным танцором³.

Жизнь Жане была долгой: он родился в Париже в 1859 г., умер там же в 1947 г., в совсем иную эпоху. Учиться он поступил в самый престижный и труднодоступный во Франции вуз — так называемую Нормальную школу, (Эколь нормаль). В один с ним год туда поступил Эмиль

¹ Carroy Jacqueline, Obayon Annick, Plas Régine. Histoire de la psychologie en France, XIX^e-XX^e siècles. Paris: La Découverte, 2006. P. 76.

² Henri F. Ellenberger. The Discovery of the Unconscious: The History and Evolution of Dynamic Psychiatry. London: Allen Lane, 1970. P. 349. Книга известного историка психиатрии Генри Элленбергера содержит наиболее полный на сегодняшний день биографический очерк о Жане (с. 331–417); она переведена на русский язык: *Элленбергер Генри Ф. Открытие бессознательного. История и эволюция динамической психиатрии* / Пер. с англ. под общей ред. и с предисл. Валерия Зеленского. Т. I, II. СПб.: Янус, 2004.

³ По воспоминаниям его дочери Элен. См.: *Pichon Hélène. Pierre Janet. Quelques souvenirs* // Psychologie française, 1960. Vol. 5. № 2.

Дюркгейм, а годом ранее приняты Анри Бергсон и Жюль Жорес⁴. Получив диплом преподавателя философии и приступив к работе в лицее города Гавра, Жане заинтересовался пациентами местной психиатрической больницы. Особенно интригующим был случай Леонии Б. — простой (как казалось вчерашнему выпускнику) женщины, у которой неожиданно обнаружились исключительные способности. Она могла видеть на расстоянии, угадывать мысли, предсказывать будущее. Пораженный таким превращением обыкновенной жены булочника, Жане посчитал, что у нее — не одна, а несколько личностей. Новые личности Леонии проявлялись под влиянием гипноза, и Жане избрал гипноз методом психологического эксперимента. Леония стала центральной испытуемой в его диссертационном исследовании «низших форм сознания» или «психических автоматизмов». «Низшими» действия назывались потому, что происходили без видимого участия сознания: автоматическое письмо (рука пишет, «как автомат»), неконтролируемые сознанием мысли, движения, поступки. Жане тем самым пришел к понятию подсознательного, но в отличие от Фрейда теории не создал и потом долго и бесплодно боролся за приоритет с отцом психоанализа⁵. Но его исследования «психического автоматизма» оставили след во французской культуре, иногда парадоксальный: например, когда сюрреалисты во главе с Андре Бретоном объявили автоматизм ключом к свободному творчеству⁶.

Диссертация Жане «Психический автоматизм» была защищена в 1889 г. — году, знаменательном и для Франции, и для наук о человеке. В Париже открылась Всемирная выставка, закончена постройка Эйфелевой башни, состоялись первый международный конгресс психологов и съезд по гипнотизму. Тогда же вышла работа Бергсона «Опыт о непосредственных данных сознания»: ее автор пытался «с помощью абсолютно непосредственной интроспекции постичь чистую длительность» и, подобно Жане, наме-

⁴ *Ellenberger Henri F. The Discovery of the Unconscious. P. 335–336.*

⁵ Спор с Фрейдом имел для Жане несчастливые последствия: в эпоху триумфального шествия психоанализа по Франции, т. е. с конца 1930-х гг., Жане оказался почти забыт. См. об этом: *Roudinesco Elisabeth. Histoire de la psychanalyse en France. 1. 1885–1939. Paris: Fayard, 1994. Pp. 243–266.*

⁶ *Breton André. Manifestes du surréalisme. Paris: Gallimard, 1970. P. 73.*

чал контуры новой психологии⁷. Жане свою психологию строил не на самонаблюдении, а — как ему казалось — на объективном анализе «аномальной психики». Чтобы получить доступ к больным, Жане — уже доктор философии — стал учиться медицине. Его привлекали самые необычные, странные, «готические» случаи: пациент, названный в книге Ахиллом и считавший, что в него вселился бес; Ирэн, сомнамбулически повторяющая связанные со смертью матери события; буруеваемая страхом холеры Жюстина; отмеченная, подобно средневековым святым, стигматами Мадлен. Жане их исследовал, брался лечить и даже достигал некоторых успехов с помощью метода, который назвал «психологическим анализом». Недаром имя Жане упоминают многие исследователи психологической травмы, начиная с Фрейда. Талант психотерапевта дополнялся в нем мышлением теоретика. В 1890 г. Жан-Мартен Шарко создал для Жане при неврологическом отделении больницы Сальпетриер лабораторию, где и была сформулирована новая — психологическая — теория неврозов. В 1893 г. Жане пишет работу, в которой называет истерию — считавшуюся до этого недугом неврологического, органического происхождения — «психической болезнью»; в этом его поддерживает Фрейд. А в 1903 г. он создает диагноз «психастения», вкладывая в него такие симптомы, как депрессия, чувство неполноты, навязчивые состояния, потеря чувства реальности (последнее часто упоминается в последующих работах, в частности, по аутизму)⁸.

Настоящая известность пришла к Жане в середине 1890-х гг., и в 1901–1902 гг. он был избран на кафедру экспериментальной и сравнительной психологии Коллеж де Франс, которую раньше занимал отец-основатель психологии во Франции Теодюль Рибо. Профессора Коллеж де Франс читали только один курс лекций в год, но каждый год курс должен был быть новым. За три десятилетия преподавания Жане прочел лекции, наверное, по всем

⁷ Бергсон Анри. Собрание сочинений. Т. 1. М.: Московский клуб, 1992. С. 10.

⁸ Janet Pierre. *Névroses et idées fixes* (vol. 1 et 2). Paris: Alcan, 1898; *ibid.*, *Les Obsessions et la psychasthénie*. Paris: Alcan, 1903; на русском языке: *Жане Пьер. Неврозы* / Пер. с франц. Под ред. А.С. Минора. М.: Космос, 1911.

разделам психологии, включая психопатологию, эмоции, память и личность, и к концу 1930-х гг. пришел к своему «великому синтезу» — психологии поведения, *psychologie de la conduite*. К сожалению, он никогда не написал о ней книги, ограничившись лишь статьей в восьмом томе «Французской энциклопедии»⁹. А издания его лекционных курсов второй половины 1920-х гг. представляют собой неавторизованные стенограммы.

Его психология поведения во многом близка идеям современных ему этнографов и социологов — Эмиля Дюркгейма о социальных представлениях, Люсьена Леви-Брюля о первобытном мышлении, Мориса Гальбвакса о социальном происхождении памяти, Марселя Мосса об истоках классификации. На нее наложили отпечаток как эволюционные идеи, усвоенные им от Рибо (например, представление о развитии поведения по уровням, начиная с самых древних и заканчивая недавними), так и этнографические и социологические исследования. Некоторые из них были опубликованы в «Журнале нормальной и патологической психологии», основанном Жане и его коллегой Жоржем Дюма.

В отличие от бихевиористов, для которых моделью поведения была беготня крысы в лабиринте, Жане смотрел на поведение как на действия, имеющие цель, функциональное значение и смысл. Так, «поведение триумфа» соответствует, по Жане, «безудержной трате накопленных сил» и объединяет сексуальные акты, юмор, игру. История психики переплетается с историей человеческого поведения¹⁰. Память тесно связана с действием, что очевидно в ранних ее формах — поручении, воспроизведении, описании, повествовании. Жане связал возникновение памяти с таким действием первобытного племени, как выставление караула. В отличие от животных, которые поднимают тревогу только при непосредственном контакте с опасностью, человек способен предупредить сородичей, даже не имея врага перед глазами: после того как, столкнувшись с опасностью, вернулся к своим соплеменникам.

⁹ Janet Pierre. La psychologie de la conduite // Encyclopédie française, tome VIII, La vie mentale. Paris: Société de gestion de l'Encyclopédie française, 1938. Pp. 8.08-11-8.08-16.

¹⁰ Reuclin Marcel. Histoire de la psychologie. Paris: PUF, 1994. P. 66.

За год до курса «Психологическая эволюция личности» Жане прочитал в Коллеж де Франс курс о памяти и времени. Он выделил этапы эволюции памяти, среди которых была и так называемая фабуляция — этап, когда память начинает обособляться от действия¹¹. Личность, по хорошо обоснованному мнению Жане, появляется в результате «индивидуации» — объединения и консолидации в одном человеке функций, первоначально разделенных между членами группы. Создание личности — это двойной процесс: с одной стороны, обособления психологического индивида, отделения его от группы, а с другой — достижения им внутреннего единства и постоянства своей психологической среды.

Итак, основу памяти, мышления, личности, по мнению Жане, составляет социальное действие. О том же — социальном происхождении психических функций — в разное время писали в США — Джеймс Марк Болдуин и Джордж Герберт Мид, в России — Лев Семенович Выготский. Идеи носились в воздухе, но у Жане они получили свой собственный — можно сказать, французский — акцент.

И все же, почему Жане называют одним из самых французских психологов? Во-первых, потому, что он отдал большую дань исследованиям внушения, гипноза и аномальной психики — темам преимущественно французским. Подобно своим знаменитым соотечественникам — Ипполиту Тэну, Рибо, Шарко — Жане видел в психических нарушениях род естественного эксперимента. Как будто бы сама природа, вызывая болезнь, ставит над человеком эксперимент, способный пролить свет на функционирование психики в норме¹². Жане сам выстроил генеалогию французской патопсихологической традиции (и указал в ней место своих собственных работ), написав первый во Франции солидный (более 1100 страниц)

¹¹ Janet Pierre. L'Evolution de la mémoire et de la notion du temps. Paris: A. Chahine, 1928.

¹² Carroy Jacqueline, Plas Régine. The origins of French experimental psychology: experiment and experimentalism // History of the Human Sciences. 1996. Vol. 9. № 1. P. 73–84; о роли психиатров в становлении отечественной психологии см.: И.Е. Сироткина. Психологический эксперимент в клинике: патологическая психология в работах российских психиатров // Вопросы психологии. 1995. № 6. С. 79–92.

труд по истории психологии¹³. Во-вторых, Жане создал свою — «французскую» — версию «психологического анализа», соперничавшую с психоанализом Фрейда, и свою «психологию поведения», в корне отличавшуюся от бихевиоризма и задавшую совсем иную перспективу для понимания человека.

Около сорока лет назад историк науки сравнил наследие Жане с городом, погребенным, как Помпеи, под пеплом и землей и время от времени подвергающимся набегам мародеров¹⁴. Сегодня можно сказать, что многое в этом городе раскопано и получило известность. Жане — по крайней мере на его родине — знают гораздо лучше; выходят новые издания его книг; его идеям возвращено их авторство. Будем надеяться, что это постепенно случится и в нашей стране.

И.Е. Сироткина

¹³ *Janet Pierre. Les Médications psychologiques. Etudes historiques, psychologiques et cliniques sur les méthodes de la psychothérapie (1919). Paris: Société Pierre Janet, 1986.*

¹⁴ *Ellenberger Henri F. The Discovery of the Unconscious, p. 409.*

ПРЕДИСЛОВИЕ ПЕРЕВОДЧИКА

Уже с первых страниц, прочитав рабочее определение личности как «работы, направленной на формирование и поддержание единства, идентичности и отличия от других», мы понимаем, что перед нами необычная теория. Жане снова и снова повторяет это странное на первый взгляд определение, невзирая на наше недоумение, обезоруживая и интригуя уже с самого начала книги.

Итак, речь идет не о совокупности черт, не о продукте взаимодействия разных сил, но именно об особой работе. Ироничный читатель улыбнется: «Сколько же можно работать! Не дают покоя человеку, даже в определении личности поместили в качестве центрального слово “работа”!» Но позвольте предположить, что здесь речь идет скорее об особом усилии (понятие, унаследованное от философа Мен де Бирана и игравшее важную роль с ранних работ Жане), об особой организации психической активности, связанной с формированием и поддержанием единства, идентичности, отличия от других, и... да, об особой работе быть собой, быть личностью.

Личность имеет разные уровни. Жане рассматривает несколько из них — телесный, социальный, временной. Часть работы осуществляется нами исподволь, часть задается рамками социального окружения. Но все-таки многое зависит от нашей активности. Жане утверждает: жить в настоящем требует от человека быть автором своей жизни, своей личной истории. Настоящее требует активного присутствия, действия в данной конкретной ситуации и венчает иерархическую систему не только форм памяти, но и поведения в целом. Впрочем, путь к этому этапу развития личности, считает Жане, в истории человечества был долог и не лишен трудностей и ошибок, которые как нельзя лучше видны в случаях патологии (явлениях каталепсии, чувства пустоты, бреда преследования, раздвоения личности, аутизма и т. д.).

Жане последователен: он начинает с того, что считает простейшими формами, и прослеживает логику эволюции до самых сложных ступеней личности. Высказываемые им идеи могут вызывать как восхищение, так и сомнение: что-то оказывается близким и продвигает не только в философском видении, но и в понимании самого себя, с другими идеями невозможно согласиться. Книга Жане диалогична. Иногда ловишь себя на мысли, что отвечаешь автору на поставленный им вопрос, соглашаешься с ним или, напротив, споришь. Слушатель-читатель становится свидетелем живого движения мысли, вовлекается в процесс размышления, формулирует внутренние вопросы и ищет на них ответы.

«Психологическая эволюция личности» создавалась по записям лекций, прочитанных Жане в Коллеж де Франс, — точнее, по стенограмме, сделанной Мироном Эпштейном. Аудитория на лекциях в этом учебном заведении традиционно состоит из вольнослушателей — людей интересующихся, интеллектуальных, но без академической выучки. Этим объясняется простой язык и разговорный стиль лекций, включая личностные, эмоциональные оценки самого Жане, который многое находит «интересным», «забавным», «курьезным». Стиль этот сохранен и в настоящем переводе.

Я хочу поблагодарить мадам Ноэль Жане (внучку Пьера Жане) за разрешение на перевод и печать этой книги, Я.А. Плесневич за помощь в переводе, а также И.Е. Сироткину за титаническую работу по его научной и литературной редакции.

Н.Ю. Федунина

ЧАСТЬ 1. ТЕЛЕСНАЯ ЛИЧНОСТЬ

3 ДЕКАБРЯ 1928 Г.

1. ПРОБЛЕМА ЛИЧНОСТИ

Дамы и господа!

Этой зимой мы с вами решили выбрать предметом нашего рассмотрения психологическое исследование личности. По сути, тема является продолжением предыдущих — эволюции времени и исследования чувств.

Это название — «Психологическое исследование личности» — живо напоминает мне о прошлом: так назывался мой первый курс в Коллеж де Франс. В декабре 1895 г., когда я имел честь замещать Теодюля Рибо, я назвал свой курс лекций «Исследования личности». Тему предложил сам Рибо. Он считал, что эта модная тема прекрасно согласуется с моими предыдущими исследованиями сомнамбулизма и раздвоения личности, и заверил меня, что аудитории она понравится и будет интересна. На протяжении всего года Рибо, которому, конечно же, была небезразлична судьба курса, выслушивал жалобы и возмущение слушателей и рассказывал мне о них. Тогдашние слушатели были чрезвычайно удивлены моей манерой изложения материала. Некоторые даже приходили в негодование. «Какая мешанина всевозможных цитат, — говорили они. — Он цитирует философов вместе со спиритуалистами: изложение идей Спенсера, Гарнье, а особенно Мен де Бирана, который является у него на каждом шагу, соседствуют с выдержками из Шарко, Шеррингтона и Крепелина. Настоящая сборная солянка!» К тому же, рассматривая те или иные явления, я обращался к фундаментальным метафизическим теориям наравне с клиническими описаниями, что тоже ясности не добавляло.

Я защищался, как мог. Но самое удивительное (и это показывает, что человек несильно меняется в лучшую сторону), на протяжении всех этих тридцати трех лет я

представляю вашему вниманию все ту же сборную солянку. Почему?

Потому, — так мне кажется, и я надеюсь вас в этом убедить, — что сужение разума и ограничение себя рамками специализации никогда не приносило пользы, а в области психологии результаты могут оказаться и вовсе плачевными. Психология уже по определению своего предмета касается абсолютно всего. Она универсальна. Психологические явления есть везде. Их столько же в литературных произведениях, сколько и в анатомических исследованиях мозга. Если вы будете относиться к ним только как литератор, моралист, анатом, вы сведете психологию к очень узкой области и неизбежно придете к ошибочным заключениям. Следует, напротив, быть готовым к обобщениям; чтобы заниматься психологией, нужно быть универсалом, узнавать, что и как думали люди в разных областях, понимать ход их суждений.

Но, даже приняв необходимость обобщения в психологии, надо двигаться дальше. В то время, о котором я вам рассказываю, в моем первом курсе в 1895 г., поддавшись моде, я занимался только одной болезнью — сомнамбулизмом, раздвоенным существованием, считавшимся симптомом истерии. Сейчас я полагаю, что был прав тогда в выборе темы, но это лишь малая толика проблемы, поскольку существуют другие расстройства личности. Следовало бы подвергнуть философскому анализу всю психическую патологию, особенно меланхолию и бред преследования, о которых речь впереди, поскольку с ними связано очень интересное понятие личности. Следовало бы посмотреть на эту проблему с точки зрения философской концепции Мен де Бирана о личности в целом.

Однако когда принимаешь эту позицию, появляются другие опасности, подстерегающие, впрочем, повсюду. Рискуешь вести исследования бесконечно, поскольку, говоря о личности, можно изучать все что угодно. Готовясь к этому курсу, я в достаточной мере убедился, что этой теме нет пределов и что в исследовании личности можно выдвигать самые разные вопросы. Религиозные проблемы, очевидно, касаются личности, ее вознаграждения и наказания, ее эволюции и будущего. Проблемы морали относятся к личности. Базисные проблемы органов чувств — это также

проблемы личности. Помните достойную признания книгу г-на Вилле «Мир слепых» (1914)? Вилле утверждает, что слепые от рождения ничем не отличаются от других людей, их личность, психология та же, что и у других. Он задается вопросом (и действительно это — вопрос), не изменяет ли наличие или отсутствие зрения эволюцию личности.

Итак, в связи с проблемой личности можно говорить обо всем — мы никогда не закончим. И это будет не один курс из двадцати пяти лекций, как предполагается, а двадцать пять курсов на эту тему. В какой-то момент я даже хотел распределить занятия на два года, но сейчас это было бы некстати. Мы уже готовы обобщать и резюмировать имеющиеся у нас знания, представляя некоторые общие идеи в сжатом виде. А это заставляет сокращать, и сокращать существенно.

Поэтому нам придется оставить вне рамок нашего изучения болезни, называвшиеся некогда истерическими, которые в моем первом курсе играли большую роль. Мы когда-то уже посвятили десяток лекций так называемым фугам, разнообразным формам сомнамбулизма, раздвоения личности (таким, как случай пациентки доктора Азама Фелиды Х.). Все это будет вкратце приведено ближе к концу курса.

Излагая имеющийся материал, необходимо его обобщить и для этого ввести предварительное понятие. Нам надо договориться между собой, что мы будем понимать под «личностью»: не давать дефиниции тому, что для нас во многом неизвестно, а составить некоторое представление, определить предмет нашего исследования, называемый «личностью». Уже это само по себе достаточно сложно.

Итак, мне не хотелось бы начинать с дефиниции личности. Это скорее итог, чем начало. Я бы хотел дать рабочее определение, сказать, чем мы будем заниматься, и попытаться дать общее представление о предмете.

То, что мы называем личностью, человеком, соотносится с группой понятий общего характера: целостности (единства), индивидуальности и отличия от других.

Начнем с понятия единства в наиболее общей форме, а затем путем постепенных уточнений рассмотрим его применительно к тому, что можно назвать личностью.

Мы привыкли — и в этом заключается общее понятие, способ нашего восприятия — различать объекты. Мы воспринимаем их не вперемешку, в расплывчатом образе, а видим отделенными друг от друга, каждый в отдельности. Например, я совершенно спокойно могу обратить ваше внимание на лампу, стоящую на моем столе. У вас сразу же возникает представление об отдельном объекте. Эта лампа отлична от кафедры, стола или скамьи, находится в аудитории, но с ней не сливается. Таким образом, лампа представляет собой отдельный предмет. Она обладает двумя свойствами: во-первых, даже если она состоит из частей, эти части взаимосвязаны и образуют единое целое. У этой лампы есть абажур, стеклянная лампочка, провода, металлические трубки, подставка и т. д. Вы о них не думаете. Когда я говорю вам «лампа», в этом слове (и возможно даже, в самой идее) объединяется множество предметов, которые можно было бы при желании разделить физически или мысленно. Итак, лампа предстает в моих глазах как некоторая целостность.

Во-вторых, — и это связано с первой характеристикой — лампа отличается от других объектов. Как я говорил, она отлична — физически и психологически — от других вещей и людей: думая о лампе, мы не думаем ни о скамье, ни о столе и ни о ком из нас. Итак, у нас есть давняя привычка отделять объекты друг от друга, придавая им обособленность.

Эти две характеристики можно объединить в слове «интеграция», которое предложил физиолог Шеррингтон: объект интегрирован, когда он является чем-то особым, имеет определенную, отличную от других целостность. В личности эта характеристика также присутствует и, несомненно, играет важнейшую роль. Человек при первом рассмотрении представляет собой организм с головой, руками и ногами, но в то же время это — одно единое тело. Мы никогда не говорим о человеке как состоящем из двух тел. При виде сиамских близнецов, сросшихся спинами, мы в смятении: нам трудно сказать, где здесь личность, и почти всегда мы приходим к выводу, что перед нами две личности.

Таким образом, первое, что предполагает «личность», — это целостность и отличие от объектов. Однако не будем

заходить слишком далеко, чтобы не дойти до абсурда. Делаю ли я из лампы человека? Отношусь ли я к ней так же, как к личности? Могу ли я сказать, что эта кафедра, стол являются личностями, отдельными от других, так же как и вы являетесь отдельными личностями? Конечно же, нет! Единство и отличия предметов проще и элементарнее, чем единство и обособленность личности. Попробуем принять во внимание это различие. Почему я не делаю из лампы человека? Почему я остановился перед этим суждением? Вот что мне приходит в голову — и это, полагаю, довольно показательно. Кто устанавливает целостность и отличие, когда мы думаем о лампе? Целостность лампы создается мной и другими — теми, кто сконструировал лампу, кто взял отдельно провода, абажур, подставку и все собрал. Целостность — искусственная конструкция, созданная инженером и мастером и в конечном итоге мной самим. Именно я придаю лампе ее целостность — я и тот, кто сделал из нее прибор с особой функцией.

То же в отношении изолированности лампы от остальных объектов. Эта изолированность создана людьми, — ведь мастер спокойно мог сделать так, чтобы лампа была частью стола. Существуют лампы, врезанные в столы и составляющие один объект с ними. Мастер разделил их, а вслед за ним и я отделяю лампу от других объектов, поскольку придаю лампе иное, чем другим объектам, значение.

Чтобы лучше понять этот пример, вспомните особенность психологического метода, о которой я вам рассказывал в прошлом году применительно к памяти и времени. По сравнению с другими учеными положение психолога особенно трудно. Трудность заключается в том, что психологические явления существуют и внутри, и вне психолога. Он занимается психологией, воспринимая, размышляя, придавая вещам и явлениям целостность; его объекты — те же самые феномены восприятия и мысли. Предмет и объект сближаются настолько, что мы склонны их отождествлять, и из этого в психологии происходит множество ошибок. Мы склонны выносить вовне объект нашего изучения, находящийся внутри нас и являющийся нашей собственной работой, плодом нашего собственного труда. В нашем примере это очевидно: именно я придаю

лампе ее целостность, сама по себе лампа целостностью не обладает. Это означает, что лампа обладает целостностью, когда я смотрю на нее. Но когда мы выйдем из комнаты, или если разразится катастрофа, в которой не выживет ни одно разумное существо, лампа смешается с другими атомами комнаты, и у нее не будет целостности. Она не обладает ею сама по себе.

Чтобы лампа обладала целостностью, необходимо нечто очень важное, к чему я буду постоянно возвращаться: необходимо, чтобы она сама действовала, сама создавала свою целостность, не полагаясь в этом на меня. Одним словом, лампе присуща лишь внешняя, искусственная целостность, которую привношу я сам. В ней нет работы, совершаемой для обретения целостности.

Итак, мы подходим ко второй формулировке, чуть более точной. Личность — это «работа», направленная на формирование собственного единства (целостности) и отличия от других. Личностью в психологическом смысле мы будем называть совокупность операций, больших или малых действий, которые служат индивиду для создания, поддержания и усовершенствования своей целостности и отличия от остального мира. Это уже шаг вперед.

Следует ли на этом остановиться? Возможно. Но не остается ли область нашего исследования все еще слишком широкой? Только что мы говорили о материальных объектах; обратимся теперь к живым существам, организмам. Мы сеем пшеничное зерно, оно дает корень, тот связан со стеблем, стебель — с листьями, зернами, органами. Эти органы тесно взаимосвязаны и, более того, служат друг другу. Корень обеспечивает питание, лист доставляет всему растению углекислоту и кислород. Все они объединяются благодаря общей работе. В конце концов, именно зерно создало растение, создало именно эту целостность. Оно растет, и можно сказать, что рост для растений является в некотором роде тем же, что действие для человека.

Так, растения предстают в своей активности — внешней и внутренней — по созданию и поддержанию своего единства.

Когда я размышлял о внутренней активности растения, мое внимание привлекло открытие, сделанное совсем недавно и довольно любопытное с психологической точки

зрения. Оно описывает еще одну важную особенность исследований в психологии.

Возможно, вам известна работа под названием «Биологическое введение в исследования неврологии и психопатологии». Она написана двумя авторами, интересными, с моей точки зрения, тем, что они представляют весьма различные подходы, которые в итоге приходят к синтезу. Первый из этих авторов — К. фон Монаков, врач и профессор анатомии нервной системы, — был директором Института патологической анатомии мозга в Цюрихе и опубликовал много замечательных работ по истории мозга. Он издает журнал «Швейцарский архив неврологии» (аналог «Французского неврологического обозрения»), где выходит множество работ по нормальной и патологической гистологии нервной системы, спинного и головного мозга. Таким образом, профессор Монаков представляет анатомию нервной системы, называвшуюся ранее «неврологическими исследованиями».

Его соавтор — Р. Мург, французский психиатр, знаток психологии. К его достоинствам добавляется и то, что он — ревностный ученик Анри Бергсона, чья философия так отличается от анатомии нервной системы. Он утверждал — в частности, в Англии перед профессором Генри Хэдом, — что понимание Бергсоном афазии в работе «Материя и память» приведет к новой трактовке этого синдрома.

Эти два автора решились ввести в анатомическое исследование нервной системы идеи Бергсона. Уникальная попытка! Синтез этот даже удивительнее предпринятого ранее мной синтеза идей Мен де Бирана и Шарко. Они во многом преуспели — во всяком случае, представили нашему вниманию несколько гипотез столь оригинальных, что могут даже привести в замешательство.

Я советовал бы вам прочесть первую главу, которая называется «Биология мира инстинктов». Наши авторы в качестве отправного пункта выбирают базовый инстинкт. Чтобы не прибегать к терминам, уже имеющим свои общепринятые значения, они дают ему греческое название — *bormé* — и утверждают, что живые существа не могли бы существовать и развиваться, если бы не имели внутри себя импульса, который дает начало всем

другим функциям. Это — основной импульс к жизни, ее сохранению и развитию: «Под именем *ормэ* следует понимать тенденцию к творческой адаптации жизни во всех ее формах к условиям существования, направленную на то, чтобы обеспечить индивиду максимум безопасности не только в настоящий момент, но и в отдаленном будущем. Вот — основа инстинктов». По существу, это давняя концепция Бергсона о «жизненном порыве», *élan vital*.

Таким образом, *hormé* — начало инстинктов. Мы не будем их всех подробно рассматривать, остановимся лишь на первом, описанном Монаковым и Мургом сразу после *hormé*. Они называют этот первый инстинкт формирующим. До того как питаться, бороться с другими и производить себе подобных, существо должно жить и быть единым, целостным. До того как особь вырастет и даст потомство, ей надо сформироваться: это первый психологический инстинкт, который доминирует у зародышевой клетки и эмбриона. Как предполагают наиболее передовые ученые, психология начинается еще до рождения — с оплодотворения яйцеклетки. Именно в этот момент появляется инстинкт, который будет работать, совершать чрезвычайно сложные действия, поскольку создать человека из маленькой яйцеклетки — очень сложная работа. Ее осуществляет инстинкт формирования.

Хотя глава интересна, она несколько разочаровывает. Замысел оказался лучше его реализации. Авторы нам обещают психологию эмбриона, но для этого нужно говорить об эмбрионе в психологических терминах. Однако после оглашения своего плана авторы довольствуются лишь прекрасной подборкой эмбриологических сведений. Они говорят нам: «Все происходит так. Появляется такой-то орган, развивается второй, потом третий, четвертый». В итоге вторая часть книги мало отличается от обычного труда по эмбриологии. А я хотел бы, чтобы мне показали, как действует индивид, который формирует свои органы, одним словом, чтобы психологический язык в этих новых действиях, если это возможно, сохранился. Знаю — это трудно — и могу назвать одну из возможных трудностей.

Вы знаете, что в нашей психологической концепции формирование неотделимо от действия. Каждое действие

в процессе своего осуществления в то же время формирует орган. Полагаю, что даже сегодня, в который раз читая лекцию в этой аудитории, я не просто использую способность, сложившуюся функцию, но на эту функцию воздействую. Акт исполнения каждый раз преобразует функцию, а в самом начале создает и орган, и функцию. Ребенок рождается, отделяется от матери, начинает действовать — вот в чем я вижу формирующий инстинкт. Он связан с действием. Каждый раз, когда ребенок делает движение рукой, он формирует функцию своей руки, и я бы даже сказал — саму руку. Он формирует органы вместе с соответствующими нервными центрами. В обычной психологии, когда мы следим за событиями, формирование смешано с действием и представляется всегда следствием, вторичным по отношению к действию. Анатомическое описание имеет дело с формированием, психологическое описание — с действием. Но где же действие у эмбриона? У него есть только формирование.

Вы, правда, могли бы сказать: «Формирование играет минимальную роль у пожилых людей, несколько большую роль у молодых людей и особенно актуально для новорожденного ребенка. У эмбриона доля формирования огромна, а действия — мала». Знаете, я бы согласился с этим. Но для сохранения психологического языка описания следовало бы говорить о действии уже у эмбриона. Однако этого не происходит, и вот почему. Мы сталкиваемся здесь с общей для сегодняшней психологии проблемой.

Два года назад, когда мы говорили о мышлении, я вам напоминал о другой любопытной работе иного плана, не столь научной. Это — книга «Органическая психология» автора с псевдонимом Пьер-Жан. Я вам рассказывал, как увлекательно читать описание психологических способностей листа настурции. Оказывается, лист — замечательный психологический орган, и его моральные подвиги удивительно хорошо описаны. Рассказывая вам об этой книге, я говорил: она меня интригует, развлекает и немного пугает. Автор постоянно использует уже знакомую лексику. Он говорит о памяти, интеллекте, суждении, при каждом удобном случае используя слова «выбор» и «предпочтение». Но что они означают?

Эти слова наполнены смыслом только в контексте психологии взрослого человека. Выбор предполагает множество предшествующих внутренних операций и вполне удастся только взрослому. Я бы не стал так уверенно заявлять, что листок настурции способен на принятие решений и рефлексивный выбор. Возможно, здесь есть отдаленная аналогия, но ее не так просто объяснить. Я вас предупреждал, что с теориями эволюции нужно быть осторожными. Когда мы прослеживаем эволюцию, то видим акт или существо, появляющиеся из другого действия или особи, которые, в свою очередь, также берут начало в другом. Мы должны описать первое, исходное, существо на основании последнего, конечного.

Посмотрите на рост дерева. Вы говорите: «Дуб вырастает из желудя». Вы знаете, что такое желудь, и можете, не сомневаясь, утверждать, что дуб отличается от желудя. Желудь не похож на дуб, на нем нет листьев, он не цветет. Когда-то считалось, что живые организмы происходят из микроскопических существ, а человек — из гомункулуса. Об этом много спорили. Итак, теория эволюции ставит перед нами вопрос, ответ на который нельзя знать заранее. Она не говорит, похоже ли исходное существо на существо конечное. Вы ничего об этом не знаете и можете выяснить только путем наблюдения и эксперимента. Вы знаете, что дуб вырастает из желудя, поскольку собирали желуди, сажали желудь в землю и наблюдали, как он дает росток, который потом становится дубом. Но заранее, априори, вы ничего этого не знаете, и если бы увидели в чужой стране неизвестные деревья, не смогли бы по форме взрослого дерева определить, каково его семя.

То же самое в психологии. Очевидно, что сегодняшние психологические явления происходят из явлений примитивных или предшествующих, но каких? Я не знаю. Надо проверять экспериментально. Каково оно, первое живое существо, то зерно, которое прошло путь к произвольному выбору? Я не знаю. Надо проверять, наблюдать, как бы посадив желуди и ожидая, когда потянутся побеги дуба. Вы не можете знать заранее, смотря на листок настурции, что она обладает способностью выбора, памятью, человеческим интеллектом. Однако именно это подразумевалось,

когда говорили о формирующем инстинкте, и когда вся психология строилась на основании этого инстинкта.

Как бы то ни было, такие рассуждения и цитируемая мною глава обнажают актуальные на сегодняшний день трудности. Когда читаешь ее, создается впечатление, что у эмбриона есть личность, что он уже содержит зародыш всех функций. Но можем ли мы говорить, что все эмбрионы, все живые существа, травы, деревья обладают личностью? Это тот же вопрос, который ранее мы поставили относительно лампы. Мы сказали: «Лампа походит на личность, но не является таковой». И сейчас мы можем сказать: «Живое существо, проросшее зерно или формирующийся эмбрион в чем-то напоминают личность, но все же ею не являются».

Следовало бы провести новое разграничение. Как отделить то, что мы называем личностью, от того, что представляют собой эти существа? В них, безусловно, происходит работа, направленная на формирование единства. Монаков и Мург неустанно повторяют: «Эмбрион совершает работу, каждая следующая часть которой соотносится с предыдущей. Он совершает работу, чтобы обрести внутри себя единство». Я скажу от себя: эмбрион работает над тем, чтобы выделиться. Он создает кожу, чтобы отделиться от матери, вырабатывает свои собственные, отличные от материнских сердечный ритм и элементарное строение. Эту работу мы называем работой личности.

Для дальнейшего уточнения нам нужно сделать следующий шаг и сказать: вся Вселенная представляет феномены единства и отличия; множественность является общей проблемой всего мира. Множественность мира приводит нас в замешательство: кроме нас существуют миллионы, миллиарды звезд, предметов, песчинок, миллионы людей. Это удивительно: мы оказываемся перед миллионом вещей, и эта множественность — проблема, с которой мы боремся, создавая свою личность. Множественность столь велика, столь безгранична, что ее нужно разделить и рассматривать с определенных точек зрения.

Прежде всего лампа отличается от стола с точки зрения пространства и тела. Эмбрион отличен от матери с

телесной точки зрения. Говоря же о личности, мы имеем дело с особой группировкой и множественностью, отличной от множественности предметов. С присущим ему тщеславию человек выделяет себя из других предметов. Множество людей отлично от множества объектов. Иллюзия это или истина? Как бы то ни было, эта проблема направляет все наши действия, и, говоря о личности, мы прежде всего говорим об отличии одного человека от другого, о социальных различиях.

Социальное различие не тождественно физическому. Зерно имеет физическую целостность. Колос поднимается и отделяется от земли и других окружающих растений, но зерно не совершает особой работы, чтобы занять положение на хлебном поле. Оно не трудится, чтобы отличаться от других колосков, и они действительно почти не отличаются друг от друга. Зерно образует некоторую целостность с физической точки зрения, но не с социальной.

Для человека основополагающей выступает именно социальная точка зрения. Наша личность — внутренняя работа по формированию целостности и обособленности сначала с материальной, а затем с социальной точки зрения. В конечном счете именно общество, социум создает личность. Личность — творение, которое мы создаем социально для того, чтобы различаться друг с другом и принимать роль, отличающуюся от роли соседей. Вот особенность личности, к которой мы приходим.

Казалось бы, в программе нашего курса и следует придерживаться этого разграничения на телесный и социальный аспекты. Но в мире существуют и другие множественности. Их очень много — возможно, гораздо больше, чем известно нам. Есть, в частности, еще одна, которой мы посвятили занятия в прошлом году, — чрезвычайно любопытная, обезоруживающая: множественность событий, фактов, которые неодновременны в одном и том же пространстве и проявляют себя по-разному до и после. Личность существует не только в настоящем, а распространяется на прошлое и будущее, охватывая большие периоды или, напротив, отграничивая себя от множества прошедших событий. Мы каждый раз говорим: «Я был там-то. Я сделал то-то». Если нам приписывают чужую

поездку, мы говорим: «Нет, я там не был. Это другой человек». Мы совершаем ту же работу по созданию целостности и различию в отношении множественности временной, пространственной и социальной.

Наверное, есть и другие множественности, и человечество все время пытается их открыть. Если это произойдет, личность должна будет обрести целостность и дифференцированность в отношении новых множественностей. Для сегодняшнего человека мы знаем уже три их вида: личность предстает перед нами не только как внешняя, но и внутренняя работа, как совокупность действий, слов и других видов работы, направленной на обретение телесной, социальной и даже временной целостности и обособленности.

Такие размышления определяют общую структуру курса, которую я бы хотел вам представить, прежде чем мы начнем.

Ранее, когда мы говорили о личности, мы пользовались довольно простым методом и планом, достаточно хорошим и состоящим в том, чтобы придерживаться привычного разделения психологических феноменов. Поскольку факты можно как угодно классифицировать, мы условились говорить о пяти-шести ступенях психологических операций. Это — рефлекторные операции, существующие уже в самом начале жизни, возможно, даже у эмбриона; перцептивные операции, куда входят столь важные акты отсрочки, составляющие отправной пункт для инстинктов у животных; социальные действия — ведущая группа, которой суждено стать началом важнейшего преобразования всех последующих операций (появляются уже у некоторых животных). Затем это — интеллектуальные операции, первые утверждающие верования, рефлексивные верования, рациональные и экспериментальные действия и, наконец, действия прогрессивные — категория инноваций, добавившиеся к предшествующим психологическим операциям.

При исследовании личности мы придерживались этого плана, изучая, что представляет собой личность с точки зрения элементарных операций, рефлексов, перцептивных действий, верований, рефлексии, разума и т. д.

Эта программа неплохая, но довольно длинная. Она побуждает нас к повторам и долгим пояснениям. Вы теперь

ПСИХОЛОГИЧЕСКАЯ ЭВОЛЮЦИЯ ЛИЧНОСТИ

знакомы с различными психологическими классификациями и их функциями, и мы можем воспользоваться этим для деления курса на три части, о которых я вам говорил.

Первая часть будет посвящена телесной личности, общей у человека и других живых существ, но которая отделяет нас от неорганических тел и заключается в достижении внутреннего единства и отличия в мире объектов. Исследование телесной личности предполагает изучение проблем чувствительности, движений. Однако мы сможем лишь вскользь остановиться на них.

Вторая группа исследований, должен сразу вас предупредить, займет основную часть курса, план которого, к сожалению, неравномерен. Некоторые части будут более важными — возможно, не с точки зрения реального положения вещей, но с точки зрения представляющего их исследования и производимой работы. Большинство лекций будет посвящено второй части — социальной личности.

Завершая, мы мельком коснемся третьей, очень интересной части — личности во времени, временной организации личности. Она дополнит прошлогодний курс и займет несколько лекций.

В следующий раз мы начнем первую часть с проблемы ощущений и, в частности, синестезии.

6 ДЕКАБРЯ 1928 Г.

2. СИНЕСТЕЗИЯ

Сегодняшняя лекция поможет уточнить те общие мысли об исследовании личности, которые мы высказали в прошлый раз. Мы начнем с философии личности и вкратце представим ее методы и концепции в сокращенной форме.

В связи с этим я бы хотел обратить ваше внимание на то, что веками в философских трудах объяснение строилось особым образом. Этот метод объяснения, господствовавший в античной философии и преобладавший еще в эпоху Декарта, можно назвать параллелизмом, или объяснением через отражение.

Попробуем на простых примерах понять, в чем он состоит. Предположим, вы находитесь в закрытой комнате

и знаете, что ее стены сплошные, в них нет отверстий. Вдруг посередине одной из этих стен вы с изумлением видите появляющуюся голову человека. Вы удивлены, вы спрашиваете себя, как эта голова могла появиться в сплошной стене, в которой нет ни окон, ни отверстий. Ваше недоумение проходит, когда предлагается очень простое объяснение: «Вы просто не обратили внимания. На этой стене есть зеркало, которое отражает того, кто стоит позади вас. Обернитесь и увидите его».

Вы удовлетворяетесь этим с первого взгляда приемлемым и достаточно убедительным ответом и больше вопросов не задаете. Однако является ли это объяснение полным? Не совсем. К нему, безусловно, можно предъявить претензии. Апелляция к отражению в зеркале просто переместила проблему. Вместо вопроса о появившейся в стене голове возникает вопрос о человеке позади вас: откуда он взялся и почему он стоит так, чтобы отражаться в зеркале? Однако обычно человеческое любопытство не заходит так далеко. Как только нам предлагается первое объяснение, мы успокаиваемся и полагаем, что теперь все прояснилось. Именно так работает объяснение отражением.

У меня создается впечатление, что долгое время философы ограничивались подобными объяснениями. Они придумывали зеркала и помещали сзади или перед ними объект, который якобы дает такое отражение.

Вспомните, например, объяснение восприятия внешнего мира эпикурейцев, Демокрита или Лукреция. Почему мы воспринимаем тела? Почему мы воспринимаем объекты обладающими такой-то формой, цветом, местоположением? «Это очень просто, — говорит Эпикур. — Объекты внешнего мира *обладают* этими свойствами, у них *есть* цвет, форма, запах, и от самих этих предметов исходит тоненькая пленка, которая и достигает нашего глаза. И поскольку она исходит от предмета, имеющего определенную форму, цвет, запах, она доносит до вас форму, цвет, запах этого тела». Вам понятно, что такое восприятие? Это очень просто.

Рассмотрим другой пример, более сложный и красивый. Вам известны идеи Платона. Он изучает проблему не восприятия, а разума. Мы находим в себе, замечал

он, очень глубокие, важные общие идеи: причинности, целесообразности, целостности и т. д. Что это за идеи? Истинны ли они? Какова их ценность? Откуда они берутся? Вы не задумывались? — спрашивает Платон и отвечает: идеи существуют во внешнем мире, в реальности. За объяснением не надо далеко ходить: идеи блага, красоты, целостности, причинности, как и все рациональные мысли, существуют во внешнем мире. Благодаря механизму отражения, называемому здесь реминисценцией (анамнезисом), эти идеи в вас отражаются: ваши понятия — отражение вечных идей.

Тот же метод — объяснение отражением — использовался и в отношении нашей сегодняшней проблемы. Личность веками объясняли как отражение. Отражение чего? — О, это элементарно: души. — А что такое душа? — Вы задаете слишком сложные вопросы. Душа — это личность. Она обладает абсолютно теми же характеристиками. Мы отмечали отличие людей друг от друга. Мы говорили о постоянстве личности во времени, но теми же свойствами обладает и душа. На свете столько душ, сколько индивидов: все эти души не смешиваются между собой и, как монады, отделены друг от друга. Есть и единство во времени: душа развивается, но это всегда та же душа, та же монада. Если душа описывается таким образом, получается, что личность — отражение души. Вот вы и получили определение личности, и веками она объяснялась именно так. Все теории личности проецируют ее свойства вовне, в метафизический, неизвестный мир. При этом создается как бы особая ипостась, именуемая «душой», и как только она вводится, личность рассматривается как ее отражение. Все предельно просто, и этот перевертыш можно крутить как угодно: личность — копия души или душа — копия личности.

Если вы рассмотрите через призму этой общей идеи даже современные философские труды, то увидите, что в большинстве случаев мало что изменилось. Я недавно прочел работу профессора Грассе, врача-философа, чрезвычайно интересного, хотя и очень спиритуалистически настроенного. Он неоднократно говорит о личности — по этой причине я и перечитал его книгу в связи с нашим курсом. Грассе ни что

не затрудняет в объяснении личности. Личность — это восприятие того, какие мы есть на самом деле. Живое существо видит себя самого с теми особенностями, которыми обладает. Характеристики, которые вы видите в личности, — это отличительные особенности человека, его сущность. Вы видите целостность, но это и есть сущность человека. Вы видите идентичность, но сущность человека и заключается в идентичности. Человек видит себя в зеркале — вот и все объяснение всей этой философии.

Это продолжалось очень долгое время, но и лучшие шутки когда-то устаревают. В результате через полвека или три четверти века после рождения психологии, по мере обретения ею научного статуса в правомерности такого объяснения усомнились. Философы и психологи один за другим его критиковали, но, с моей точки зрения, так и не разорвали заключенный в нем порочный круг. Например, говорилось: «Что это за так называемая душа, к которой вы апеллируете для объяснения личности? Она — двойник, перевод личности на другой язык; в ней ничего нет и, следовательно, она нас ничему не учит, ничего в себе не несет. Антропология и психология показывают нам, что идея души, напротив, исходит из понятия личности и в большей или меньшей степени является ее религиозным преобразованием. Но поскольку душа исходит из понятия личности, она не может ее объяснить».

Можно предложить и другую критику, более интересную с психологической и научной точек зрения. Объяснение через отражение покоится на одном постулате: качества объекта даны в восприятии. Когда объект имеет некоторые качества, мы его видим с этими качествами. Чтобы мы их видели, достаточно, чтобы он ими обладал. Но этот постулат совершенно недоказуем. Например, если человек хороший, значит ли это, что вы его видите все время хорошим? Или оттого, что он плохой и обманщик, видите ли вы его всегда обманщиком и мерзавцем? Не было ли у вас иллюзий и ошибок в отношении людей и вещей?

Всегда ли восприятие соответствует характеру объекта? Легко догадаться, что нет. Даже если вы предположите, что в глубинной реальности у каждого из нас существует одна-единственная душа, самотождественная

и отличная от других, достаточно ли этих качеств, чтобы сознание их восприняло? Целостность — не вещь, которую можно увидеть. В реальности мы видим множество вещей. Когда я говорю, как в прошлый раз: «Эта лампа целостна», — вижу ли я целостность? Ничего подобного. Я вижу только множественность, различные предметы, и только сам по утилитарным соображениям придаю этой лампе целостность. Если вы рассматриваете душу как единое целое, — предположим даже, что она на самом деле такова, — вы не увидите ее целостности. Перед вами предстанут ее проявления через функции и разнообразные качества. Ее целостность надо еще раскрыть.

Еще хуже обстоит дело с идентичностью. Идентичность — это целостность во времени, среди множества событий и феноменов. Предположим, что душа обладает идентичностью. Я это допускаю. Но сегодня, завтра, послезавтра она проявляется последовательно в постоянно изменяющихся феноменах. И вы сами должны открыть ее целостность. Это как если бы мы сказали, что литературное произведение — трагедия Расина — имеет целостность. Да, у нее есть единство, но лишь постольку, поскольку вы его открываете, ищете, и надо еще суметь показать его ученикам, чтобы они тоже его увидели. В действительности трагедия раскрывается разными персонажами, актами, сценами, отделенными друг от друга, и присущая ей идентичность, возможно существующая, не возникнет, если зритель ограничится простым прослушиванием. Он должен сюда что-то добавить. И даже если бы душа обладала целостностью и тождеством, из этого бы еще не следовали целостность и тождество личности. Вы по-прежнему предполагаете, что зеркало точно отражает качества объекта и что оно не кривое. Однако, к сожалению, когда мы имеем дело с сознанием человека, зеркало нашего разума склонно к искажениям: оно изменяет объекты, и недостаточно приписать тем некоторые качества, чтобы найти их отражение в зеркале.

Многие современные исследования опровергают эту давнюю метафизику. Все антропологические, исторические, психологические работы неустанно нам повторяют: мы создаем себе иллюзии относительно личности. Философы придают ей теоретические, абстрактные качества,

всегда одни и те же. Все души, говорят они, имеют те же свойства, ту же целостность, глубинную идентичность. Но что мы видим на самом деле? Мы видим, что личность постоянно меняется. Если мы возьмем человека традиционного общества или дикаря, мы встретимся с иным понятием личности, примитивным и странным — множественной личностью. Помните знаменитые описания дикарей, у которых существует так называемая билочакия: они считают, что могут одновременно находиться в разных местах. Они говорят, что в них живут духи, и пока один из их духов охотится, другой сидит дома. Душа не сведена воедино, она разделенная, составная.

Изучение ребенка дает те же результаты. Личность ребенка бесконечно изменчива. В год, два, три она — не та же самая, что при рождении. Помните наши лекции о языке и элементе языка, с моей точки зрения, чрезвычайно интересном — личных местоимениях? Почему дети до трех лет не используют личные местоимения? Ребенок говорит маме: «Малыш хочет пить. Дай попить малышу», — тогда как должен был бы сказать: «Я хочу пить. Дайте мне попить». Он не употребляет ни «я», ни «мне», а только собственное имя. Он должен достичь возраста четырех-пяти лет, чтобы научиться оперировать личными местоимениями. Если вы обратите внимание на больных в сумасшедшем доме, на слабоумных разной степени тяжести, то встретите этот феномен даже в зрелом возрасте (а я наблюдал его даже у женщины тридцати двух лет). Они используют только третье лицо или собственное имя, а не личное местоимение первого лица, говоря «малыш хочет пить» — вместо «я хочу пить». Таким образом, изменения в языке человека соотносятся с эволюцией личности.

И наконец, патология полностью переворачивает эту теорию. Она уже полвека свидетельствует: нет ничего переменчивей личности больного. Есть больные, теряющие свою личность, или такие, кто не узнает себя, говоря: «Я умер тогда-то. И теперь меня нет, я не существую». Вам известен маленький больной доктора Сегла, который был чрезвычайно растерян на прогулке и сказал няне: «Будьте внимательны. Вы меня забыли там-то. Сходите за мной. Я остался там, сзади». И его надо было искать, потому что он сам себя не нашел. Некоторые больные говорят

не о смерти, а о раздвоенности. Достаточно вспомнить знаменитые средневековые случаи одержимости, которые столетиями описывались в истории религий. Речь идет о людях, одержимых демоном или несколькими демонами. Демон также имел личность, и две личности спорили: что лучше для человека, боролись друг с другом. Таким образом, у этих людей было несколько личностей и душ.

Учитывая эти обстоятельства и рассматривая эволюцию личности в разных группах, изменения в детском и взрослом возрасте, а также многочисленные вариации у больных, можем ли мы продолжать считать личность отражением неизменной сущности — души? Вряд ли. Учитывая названные мною моменты — наивные представления о душе как особой ипостаси, трудности восприятия целостности и идентичности души, постоянно меняющиеся идеи о личности, — можно сказать, что понимание личности как простого отражения души с теми же свойствами наивно и ненаучно.

В ходе эволюции философских взглядов появляется другая психология, которая стремится стать научной и преодолеть постулат отражения. Она претендует на то, чтобы видеть факты такими, как они есть, — и за последние полвека физиологическая психология заменила давнюю теорию личности. Наилучшее воплощение этой теории мы находим у Рибо. Эта психология с гордостью заявляет о себе как совершенно отличной от прежней. Предыдущие теории искали личность в идеальной, метафизической душе. Новая психология дерзко утверждает: личность заключена не в душе, а в теле. Именно в своем собственном теле мы находим личность. Она не сводится к данным чувств, ощущениям, которые во множестве исходят от внешних тел. Когда я открываю глаза, я вижу формы и цвета. Я не утверждаю, что они — это я, а говорю, что это что-то другое. Таким образом, среди данных чувств существуют ощущения элементов, которые не входят или кажутся не входящими в личность. Но из этих ощущений достаточно сделать выбор. Кроме того, речь идет не о внешних, но о внутренних ощущениях. Одним словом, мы ощущаем наше тело через все происходящее: его кожу, его тепло, внутренние органы, и ансамбль связанных с нашим телом ощущений и дает нам личность. Свойства личности —

целостность, идентичность, обособленность — происходят от свойств нашего тела.

Представляя эту философскую идею эпохи Рибо в самом общем виде, я испытываю определенные сомнения: так ли уж она отлична от предыдущих? Рибо позиционировал себя как революционер и полагал, что объясняет личность совершенно по-иному, противоположно тому, как это делала метафизика прошлого. Следует, однако, остерегаться противоположностей, которые могут оказаться все тем же. Самые различающиеся люди и расходящиеся мнения часто оказываются одинаковыми. Вспомните враждующие религиозные течения или непримиримых братьев, — по сути, очень похожих. Боюсь, что это объяснение личности через тело может оказаться гораздо более схожим с прежним метафизическим объяснением, чем сначала кажется, поскольку представляет собой тот же метод объяснения через отражение.

И правда, что представляет собой предложенное Рибо объяснение через телесные ощущения? В нем та же общая идея: качества личности уже существуют в теле. Вы найдете подобные утверждения в его книге «Болезни личности» (1885). «В действительности, — говорит он, — человеческое тело обладает целостностью. Все органы объединены под одной кожей и в едином целом. Органы нашего тела отличны от органов другого организма. Мое тело не смешивается с вашим, оно годами остается тем же самым. У него всегда одни и те же заболевания, предрасположенности, химический состав. Следовательно, личность с ее целостностью, обособленностью, идентичностью происходит из тела». Добавлю, что она оказывается отражением тела. Итак, мы совсем не продвинулись, не ушли от объяснения с помощью зеркала, а лишь поменяли предмет, поставив организм на место души, и теперь находим свойства личности в организме.

У меня была возможность немногим ранее, во второй части книги «Тревога и экстаз», раскрыть эту иллюзию психологов в отношении другой проблемы — чувств. В истории философии существуют две теории чувств, кажущиеся противоположными, как две противоборствующие религии. Существует философское понимание чувств, представляющее их как чисто внутренние явления, факты

ПСИХОЛОГИЧЕСКАЯ ЭВОЛЮЦИЯ ЛИЧНОСТИ

сознания, невидимые, неуловимые для органов чувств. Ему противостоит теория эмоций Уильяма Джемса, в которой они предстают периферическими телесными изменениями. Мен де Биран и Гарнье говорят нам, что чувства — отражение надорганической силы, состояния души. Джемс подводит нас к тому, что чувства — отражение вазомоторных рефлексов, состояния организма.

Я с сожалением отмечаю, что и в том и в другом случае чувства предстают не сами по себе, а как отражение чего-то. Идет ли речь о метафизике или психологии, эта теория отражения имеет очень большое неудобство с физиологической или медицинской точки зрения: феномен, преобразованный в отражение, больше ни на что уже негоден. Для жизни важен реальный человек, а не его образ в зеркале. Отражение пассивно; в отличие от человека оно могло бы и не существовать. Если чувства — лишь отражение в зеркале, они не нужны, их можно упразднить.

Сегодня на каждом шагу говорят: нет физиологических или психологических явлений, которые не были бы целесообразны. Однако целесообразность — обманчивая идея, когда ее применяют к материальному миру: говорить о целесообразности вращения Луны абсурдно. Целесообразность — характеристика физиологических феноменов, биологии; поскольку чувства существуют, они имеют функцию, они — не простое отражение.

Можно сказать то же самое и о личности. Но так как проблема важна и определяет совокупность лекций, которые нам предстоят этой зимой, мы немного остановимся на объяснении через ощущения тела, господствовавшем в работах философов пятьдесят-шестьдесят лет назад. Сегодня у философов оно почти исчезло, но остается еще у группы ученых, которые, к сожалению, — скажем тихо, чтобы они не услышали, — отстали. Это врачи. Они всегда отстают в науке лет на пятьдесят, только через полвека открывая для себя новые идеи. Сегодня медицина открыла объяснение через ощущения, и во всех медицинских работах вы встретите теорию душевной болезни, объясняющую болезнь изменениями в организме. Только вот срок годности этого объяснения истек, и сегодня проблема стоит совершенно иначе.

Но поскольку теория эта все еще используется, следует уделить ей внимание.

Эта теория отталкивается от существования определенных ощущений, возникающих в отношении нашего организма, желудка, кишечника, — а именно висцеральных. Она объединяет все висцеральные ощущения в один блок и называет его внутренним. Философ и психолог, некогда очень известный в Германии, А.А. Герцен назвал это *панестезией*, или общей чувствительностью. Другие философы, — по-моему, впервые термин был предложен Гамильтоном, — именуют этот ансамбль внутренних ощущений *синестезией* (от греч. *koinos* и *aisthesis* — общая чувствительность). Будем использовать для краткости слово «синестезия», которое, впрочем, сегодня звучит повсеместно. Нет ни одного уважающего себя медика, который бы не объяснял синестезией все, что угодно. В момент, когда произносится это слово, все сразу становится ясно. Деменция, мания величия или ипохондрия — все объясняется синестезией.

Итак, синестезия связана с внутренними ощущениями. Эти внутренние ощущения были известны и описывались в прошлом. О них говорили Аристотель и Гиппократ. Их учения получили наибольшее развитие в XVIII веке. Я обращаю ваше внимание на книгу Кабаниса, а также на комментарии к ней доктора Пейса. Далее, в конце XVIII века и особенно в первой части XIX века мы сталкиваемся со скрупулезным исследованием телесных ощущений. Я мог бы надиктовать вам целый список авторов, что заняло бы около получаса. Все авторы начала XIX века писали о висцеральных ощущениях. Это работа Сэза в конце XVIII века, труд Пейса, о котором я только что сказал, бесчисленные страницы у Мен де Бирана, Александра Бэна, Генри Моудсли, многие труды Жоффруа, работы Поля Жане. Последний вслед за Мен де Бираном говорил о так называемом фундаментальном (глубинном) чувстве существования, связанном с функционированием нашего тела, к которому он добавлял более определенные понятия о личности. Это — работы Тисье о внутреннем я, многочисленные труды Рибо, полностью принявшего понятие синестезии, а также — Германна, Рише, Буйе, Бертрана. Обратите внимание на резюме диссертации

Бертрана «Апперцепция человеческого тела сознанием» (1880). Все эти труды, лишь сотую часть которых я сейчас перечислил, развивают идею восприятия тела, внутренних, или висцеральных, ощущений, вкладывая в нее гораздо менее определенные, чем кажется, понятия. Когда перечитываешь эти прошлые труды, удивляет неопределенность идей, когда-то вызывавших столько энтузиазма. Эти авторы считают, что дают научное описание, но фактов у них очень мало, да и те не проанализированы.

Что нам дают висцеральные ощущения? В первую очередь — общие ощущения удовольствия или неудовольствия. Болит ли желудок, живот или спина или же мы хорошо отобедали — у нас возникает довольно размытое ощущение боли или удовольствия. Иногда подобные ощущения становятся очень острыми: боли в кишечнике, колики в почках, печени, желчном пузыре. Есть совокупность ощущений, исключительно болевых, проявляющихся покалыванием, резью, жжением — явлениями, которые в целом напоминают наши внешние ощущения.

Кроме расплывчатых представлений об удовольствии, неудовольствии, боли все эти авторы — в частности, Рибо или Анри Бонис в книге «Внутренние ощущения» — используют понятие органа. В целом сегодня все мы знаем, что обладаем легкими, сердцем, желудком и пищеварительным трактом, довольно длинным и часто доставляющим неприятности. У нас есть представление об этих органах: мы знаем, что у нас есть толстый кишечник, нас этому учили, и если я вас спрошу о них, большинство даст по крайней мере краткую справку, например «мой желудок имеет форму волюнки», и будут весьма довольны своими словами. Вы можете уточнить, что печень находится справа, селезенка слева, а кишечник — внизу. Мы постоянно оперируем понятиями, хорошо разработанными в трудах, о которых я только что говорил, и связанными с висцеральными ощущениями от наших органов.

Эти органы могут функционировать хуже или лучше, и у нас есть по их поводу соответствующие ощущения: голода, нужды в туалете, потребности в дыхании. Наряду с потребностями у нас есть ощущения от работы органов. Меня, например, огорчает тот факт, что я ощущаю

свое пищеварение, чувствую работу моего желудка, его сокращения и спазмы. У нас есть ощущение завершения действия: мой желудок пуст.

В упомянутых работах об этом говорится вскользь, главное же место уделяется другим идеям. С висцеральными ощущениями связываются некоторые общие, расплывчатые чувства. Например, в книге Бертрана есть странная, на мой взгляд, глава. В ней говорится о том, что дети ощущают свой рост, а пожилые — старение. Возможно, — даже весьма вероятно — так оно и есть. Но ощущения старения или роста, по Бертрану, восходят к висцеральным ощущениям, которые, в свою очередь, вызывают более сложные эмоциональные состояния — грусти, болезни, здоровья и радости. Рибо постоянно повторяет, что меланхолия, радость — это отражение (!) состояния организма и функционирования наших внутренностей.

Вот понятия, которые связываются с висцеральным сознанием. Все ли здесь научно и ясно? Боюсь, что в этих описаниях больше наивной беллетристики, чем клинических наблюдений. Действительно ли доказано, что чувства грусти, радости, усталости, усилия соответствуют органическому функционированию, состоянию кишечника или желудка? Первый же врач подтвердит, что есть множество больных, которые расскажут какие угодно нелепости о состоянии своих органов. Есть больные (в начале развития маниакального расстройства), которые светятся от радости. Недавно я видел любопытный тому пример: несчастный человек, два года страдавший депрессией, слабостью, отсутствием воли, отвращением к жизни, сказал мне, что он наконец-то удивительно хорошо себя чувствует. Врачи не верят в благосклонность судьбы, так что просто вынуждены говорить, что все плохо. Я тоже не находил ничего хорошего в том, что человек страдал депрессией два года, но его счастливое состояние меня не порадовало, а встревожило. Странно было то, что его ничем нельзя было обеспокоить. Взяв на себя эту незавидную роль, я попытался ему сказать: «Но, в конце концов, вы помните, что два с половиной года назад ваша серьезная меланхолическая болезнь началась именно с безграничного веселья. Вы были так довольны собой, что меня это очень беспокоило, и внезапно вы впали в

меланхолию. Не настораживает ли вас ваша дряхлящая два месяца радость? Мне кажется, что когда у человека уже были, как у вас, три больших приступа депрессии, следует опасаться четвертого и не пускаться в такое веселье». Но его было невозможно озадачить: он светился от счастья. Через три дня у него началось состояние острой мании с ажитацией и бредом — предвестник ступора, в который он впал через несколько дней.

Вот доказательство того, что чувства радости и грусти не соответствуют органическим состояниям. К тому же, как я отметил в психиатрической больнице, этот человек был очень болен; у него была инфекция пищеварительного тракта, разного рода интоксикации. В моменты веселья он много ел и пил спиртное, что усугубляло интоксикацию организма. Плохое состояние этих функций не мешало его небывалому подъему.

С усталостью дело обстоит сходным образом. Кому из нас не знакомы вечно усталые, слабые люди, неспособные сделать десяток шагов без чувства истощения и которые при этом обладают совершенно здоровым организмом?

Чувства гораздо сложнее, чем феномены органических нарушений. Весь второй том «Тревоги и экстаза» является попыткой объяснения сложного механизма чувств. Это целый мир — мир нервной системы, реакций одного органа на другой, неизвестных феноменов нервной силы. Это в первую очередь реакции мозга и органов на основе работы мозга, множество регуляторных реакций, которые перекодируют органическое состояние в эмоциональное. Но эмоциональное состояние отнюдь не объясняется состоянием организма.

Остановимся ненадолго на связанном с внутренними ощущениями понятии органа. Вы серьезно думаете, что мы ощущаем желудок в форме волюнки? Ведь на самом деле он намного более удлиненный. Что мы действительно чувствуем местоположение печени или кишечника? Когда современный ребенок говорит, что знает, где находится его сердце или печень, я спрашиваю, что именно они проходили на уроке анатомии. Он просто повторяет известные понятия. Он сам их не ощущает. Истинный неуч вообще не знает, что у него есть сердце, не чувствует его. Эти висцеральные понятия чрезвычайно рудиментарны.

Однако все, о чем вы говорите, существует не иначе как в отношении ощущений внешних. Вы говорите о жжении, покалывании, рези — но это кожные ощущения, появляющиеся при действии жжения, покалывания; у вас нет никакого действительного ощущения собственно органа, оно вам не известно.

Правда, остается трудность, которую невозможно обойти. Это ощущение боли при органических болезнях. Есть почечные, печеночные колики; органы могут доставлять нам беспокойство. Я отсылаю вас к недавним исследованиям, сделанным в Англии, в частности профессором Хэдом и его коллегами. Большинство этих работ опубликовано в журнале «Brain».

Эти авторы провели чрезвычайно интересное исследование органических страданий. Они показали любопытную вещь, заключающуюся в том, что висцеральный орган сам по себе ничего не ощущает и вовсе не страдает. Есть поражения, развивающиеся в печени, затрагивающие селезенку, разрушающие легкие, которые совершенно не ощущаются. Некоторые не очень честные хирурги, работая на открытых органах, пытались вызвать чувствительность, пользуясь периодом, когда человек просыпается от наркоза, или же исследовали внутреннюю чувствительность в местах поражений органов. Все эти исследования показали, что органы ничего не чувствуют: твердую оболочку мозга можно долго щекотать, даже мучить без какого-либо результата. Органы почти ничего не ощущают.

Тогда почему мы страдаем? В этой связи Хэд и его ученики проводят красивейшие опыты и анатомические исследования. От пораженного, болезненного органа исходят воспаление или интоксикация, раздражающие соседние области. Так как по соседству находятся очень важные органы и особенно чувствительные периферические нервы, идущие к рукам, груди, различным частям тела, те оказываются раздражены. В них происходят поражения, вызванные воспалением нерва. Более того, Хэд предполагает, что не бывает органической болезни без соответствующего поражения ганглия спинного мозга. Ганглий раздражается, когда больны легкие, печень, желудок. То, что вы ощущаете, — отголосок расстройств чувствительности на периферии тела. Как иначе могли бы

вы объяснить, что человек с камнями в желчном пузыре или раком печени жалуется врачу на правое плечо? Это оттого, что раздражение печени воздействует на нервы, связанные с некоторыми моторными нервами, которые ответственны за болезненные спазмы.

Действительно, большинство так называемых висцеральных феноменов лишь косвенно вызывают ничтожную чувствительность во внешних органах. Висцеральные органы открываются к периферии: желудок связан с зевом, глоткой и ртом, кишечник — с анальным отверстием и т. д. На периферии осуществляется связь внутреннего мира с внешним, и мы испытываем смутные ощущения в расположенных по соседству кожных покровах. Эти внутренние ощущения — синестезии — очень незначительны и не могут, с моей точки зрения, многого объяснить. Когда вы сталкиваетесь с расстройством всего поведения при меланхолии или мании, что-то вам подсказывает, что дело здесь не только в простой боли в желудке. Состояние организма только косвенным образом может воздействовать на мозговые регуляторы и вызывать самые разные явления.

Из всех этих соображений следует, что теория личности, к которой мы должны вернуться после этого отступления, не может быть такой, какой она несколько упрощенно представала у философов и психологов эпохи Рибо. Эти авторы помещали объяснение феномена в прошлое. Если они пытались объяснить человеческую мысль, то объясняли ее уже готовой душой, которую Провидение создало когда-то давно и навсегда. Объяснить личность пытались из уже готового, данного. Это — другая сторона теории формирующего инстинкта у эмбриона, о которой я рассказывал в прошлый раз. Объяснение личности всегда сводилось к более древним биологическим феноменам.

Моя внутренняя позиция приводит меня к иному видению. Разгадка, мне кажется, таится в будущем, а не прошлом. Вещи не даны готовыми изначально, а создаются, конструируются, созидаются. Уже эмбрион — это некая целостность; организм создается, когда мы приходим в этот мир. Но личность не задана заранее. Над единством организма предстоит надстроить бесконечные

конструкции, чрезвычайно сложные, в которых огромную роль будут играть воспитание, общество, философия. Личность — не отражение, а творение, постепенное и противостоящее заданному — как метафизически, так и биологически.

Мы займемся разными этапами этого созидания. В следующей лекции, которая также будет связана с вопросом об ощущениях, мы рассмотрим то, что называем личностью, — вернее ее зародыш в регуляционных механизмах мышечного чувства и чувства равновесия.

10 ДЕКАБРЯ 1928 Г.

3. ЧУВСТВА ПОЗЫ И РАВНОВЕСИЯ

Одну из основных трудностей в науках о человеке составляет то, что можно назвать непрерывностью явлений. Как бы того ни желал человеческий ум, явления не отделены друг от друга четко и ясно, а переходят одно в другое постепенно, через неуловимые нюансы, не давая возможности точно выделить начало и завершение. В то же время гуманитарные науки основаны на языке. Я часто повторяю, что вся собственно человеческая жизнь покоится на языке, что психология есть не что иное, как приложение языка к поведению. А язык состоит из отдельных, изолированных друг от друга слов, которые нуждаются в определении и которые не следует смешивать. Как же можно приложить эти грубые и дискретные слова к явлениям, различающимся очень незначительно, лишь нюансами, с тонкой и неуловимой границей между ними?

Мы отчетливо ощутили эту трудность в самом начале исследования личности. Уже некоторое время мы занимаемся изучением истоков личности — того, что можно считать ее зародышем, и это позволит нам затем лучше понять ее развитие, прежде всего ее социальное развитие. Но где искать начало человеческой личности? Это очень туманно и трудноопределимо.

Если говорить в общем — о разуме, мысли, о единстве отдельных явлений, — можно сказать, что личность есть везде. В прошлый раз мы познакомились с автором, ко-

торый помещал психологию в формирующийся эмбрион. Хорошо. Можно не останавливаться на этом, дойти до растений и даже далее — до кристаллов — и, видя их целостность и координацию, говорить о личности. Это может продолжаться, пока человека не разложат на атомы. Вероятно, здесь есть доля истины, но это абсолютно бесполезно. В психологии мы должны говорить о чем-то точном, а не о туманных вещах, применимых ко всему. Поэтому к настоящему моменту у нас сформировалась привычка, которую, полагаю, нам следует сохранить. Собственно психологические феномены появляются в особой ситуации. Они возникают у живых существ, которые двигаются в пространстве, у существ перемещающихся. Вероятно, можно говорить об истоках психики еще до изучения движущихся существ, но это уже метафизика, а не область психологического изучения и эксперимента. Психологическое действие предполагает движение существа в пространстве — движение, которое перемещает тело, его меняет, трансформирует и которое к тому же воздействует на объекты. Именно в этот момент у нас могут родиться элементарные психологические феномены. Но можем ли мы утверждать, что в этой ситуации речь уже идет о личности?

Возьмем движения ребенка сразу после или незадолго до рождения — простые движения рук и ног, движения той или иной части его тела. Наиболее простые движения мы определяем как рефлекторные. Есть ли личность в рефлексах? В некотором смысле — да, если понимать под личностью только целесообразность, связь с жизнью, со всей системой существования. Порядок, целесообразность присутствуют уже в простейших рефлексах, и мы снова оказываемся перед трудностью, с которой столкнулись, говоря о формирующемся организме. Но рефлекторное движение изолированно, в нем самом по себе нет целостности. Если взять простые рефлексы — коленный и зрачковый, — эти два движения не зависят друг от друга, не связаны в единое целое, не скоординированы, не производят работу по разграничению от других существ; в них еще нет личности.

Итак, в простейших рефлексах личности нет. Необходимо что-то еще. Надо, чтобы эти рефлексы подчинялись

некоторой организации, контролировались, были скоординированы друг с другом. Исток этой координации, которой суждено в будущем разрастись и наполнить собой жизнь, я надеюсь найти в двух группах весьма интересных феноменов, изучать которые начали уже давно. Особенно активно это делали в конце прошлого века: речь идет о феноменах, которые можно сгруппировать под названием кинестетических ощущений (от греч. *kinēsis* и *aisthēsis* — чувство движения), дающих начало чувству равновесия, которое также является модификацией движения и общего чувства движения.

Знаменитое кинестетическое чувство исследуется давно и под различными названиями. Можно было бы привести целый список терминов, предложенных для его обозначения. Вам было бы полезно с ним ознакомиться, чтобы узнавать. Назову несколько: мышечное чувство Чарльза Белла, чувство силы Вебера, чувство активности Жерди и Ландри, мышечное сознание Дюшена де Булонь, чувство движения Бэна, чувство иннервации Вундта, локomotorная способность Гамильтона, кинетическое впечатление Бастиана, сегментарное чувство позы Боннье. Мне нравится этот последний термин, он очень точный и позволяет различить кинестетическое чувство и чувство равновесия. Чувство равновесия управляет телом в его целостности — это управление всем единством движений, — тогда как мускульное чувство относится к отдельным движениям, например движению руки, во время которого мое тело остается в состоянии покоя.

Эти ощущения, описываемые такими различными понятиями, синонимичны. Считается, что уже в XVI веке, в 1557 г., в трудах Скалигера и Чезалпино из Ареццо можно найти размышления о понятии сопротивления объектов. Уже эти авторы говорили: мы обладаем не только пятью известными органами чувств (слухом, зрением и т. д.), но и обычно не упоминаемым чувством, которое позволяет нам оценивать сопротивление предметов.

Как бы то ни было, об этом чувстве много спорили. Его обсуждали такие философы, как Мальбранш и Юм. Позднее о нем упоминал Кондильяк, и начиная с его эпохи интерес к изучению мускульного чувства возрос. Можно привести множество имен: Дестют де Траси, работавший

ПСИХОЛОГИЧЕСКАЯ ЭВОЛЮЦИЯ ЛИЧНОСТИ

после Кондильяка, Мен де Биран, Гамильтон в Англии, Бастиан, физиолог Чарльз Белл, Ландри, Жерди, Вебер, Флурнуа, Клапаред и др.

Как я уже говорил, эти исследования были особенно популярны в конце XIX века. В то время практически во всех журналах ежемесячно появлялось множество статей о знаменитом мышечном чувстве. Тогда же Виктор Анри опубликовал общую библиографию работ по мышечному чувству («L'Appée psychologique», 1898, с. 399, 567), которая к концу XIX века выглядела весьма внушительно.

После такого расцвета работ по кинестетическому чувству мы вновь констатируем один любопытный факт: несмотря на то, что изучение этой проблемы не завершено, дискуссия продолжается, и до сих пор остается много непонятого, в исследованиях наметился явный спад. С начала века количество работ по кинестетическому чувству значительно уменьшилось. Полистайте современные философские, психологические, неврологические журналы: статьи по мышечному чувству стали редкостью. Вы найдете одну статью за год или даже два-три года, — а недавно каждый месяц выходило несколько. Я вам уже говорил об этом историческом феномене, это банально и повторяется со многими исследованиями. Так было с исследованиями внушения, чувства усилия, эмоций. Научные исследования подчиняются моде; в какой-то момент они оказываются на гребне волны, а потом их забывают и говорят о чем-то другом.

Полагаю, что это явление роста энтузиазма в одну эпоху и исчезновения в другую имеет психологические причины. Оно показывает, что проблема ставится в определенную эпоху и определенным образом: проблема, которая рассматривалась до того под особым углом, теперь видится по-другому, и о ней много говорят; потом этот интерес ослабевает. Через некоторое время все, что могло быть об этом сказано, оказывается сказанным; все последующее оказывается повторением. Следовало бы сменить ракурс, отойти, посмотреть со стороны, но это очень трудно, и наблюдатели не всегда умеют это делать. Не дождавшись новой точки зрения, проблема затихает, о ней больше не говорят. Раз уж мы оказались свидетелями спада в исследованиях, можно предположить, что дело

в исчерпавшей себя точке зрения. Попробуем понять, в чем заключалась неполнота исследования мышечного чувства во второй половине XIX века.

Это чувство, как следует уже из самого слова, рассматривалось как особое ощущение. В общем, ощущение называют — по крайней мере в старой философии — внутренним феноменом, берущим начало в возбуждении, идущим извне и направляющимся к центру, где он и прекращается. Например, при тактильном ощущении возбуждение приходит через кожу, направляется к чувствительным нервам, приходит в спинной и головной мозг — в центр, связанный с сознанием; там происходит процесс ощущения, и там, как полагали, все прекращается.

Подобное изучение мышечного чувства дало любопытные находки. Во-первых, это исследование на периферических органах. Мышечное чувство должно было приходиться извне, поскольку это чувство, идущее к центру, феномен центростремительный. Оно должно действовать через особые органы: зрение действует через глаз, слух — через ухо. Надо было, чтобы и мышечное чувство имело свой особый орган; пытались найти, где он может находиться.

Первая гипотеза, как в трудах невролога Дюшена де Булонь и физиолога Чарльза Белла, помещает его в мышцы. Именно мышцы делают возможным движение, поддерживая тело. И именно мышцы должны играть роль рецепторов. Здесь есть своя правда, частично есть в этом и роль мышц.

Далее приводятся уточняющие замечания. Оказывается, не вся мышца играет роль, но прежде всего мышечные окончания, сухожилия и в еще большей степени поверхности суставов. Немецкий автор Гольдшейдер, например, провел по этому поводу много интересных опытов, вызывая разными методами анестезию суставов. При анестезии суставов мышечное чувство исчезает, даже если сохраняется мышечная чувствительность. Таким образом, мышечное чувство помещают то в суставы, то в мышцы, то в разные части окончаний кости; все они служат рецепторами. В этих органах были гистологически выявлены особые аппараты (органеллы), такие как

частицы Пачини, служащие для восприятия движения. Эти импульсы достигают затем чувствительных нервов, спинного мозга и, возможно, основания головного мозга, куда они должны поступать и, как говорят, трансформироваться в ощущения.

Все это небезынтересно с физиологической и анатомической точек зрения. И тем не менее я полагаю, что это исследование крайне неполно. Нам неизвестны сегодня физиологические явления, которые бы ограничивались периферической частью и центростремительным органом. Мы не знаем феноменов, которые были бы чистым ощущением, происходящим в нервных центрах без какого-либо движения вовне. Нам представлена лишь первая часть процесса — чувствительная, центростремительная. Но все физиологические процессы двойственны. В них есть не только центростремительная, но и центробежная часть и моторная реакция.

На протяжении всех курсов я говорил вам, что психологические явления начинаются с реакции, движения. Ограничиваясь изучением процесса возбуждения, вы занимаетесь не психологической жизнью, а физиологическим анализом, расчленяющим факты на части, видите лишь половину феномена. В зрительном ощущении, например, очевидно, что все зрительные явления являются рефлекторными реакциями. Нет света, если нет сокращения зрачка. Нет зрительного объекта, если нет движений глаз. Я недавно просматривал старую, но интересную книгу Ньюэля о зрении. Ньюэль говорит, что все так называемые зрительные ощущения — не что иное, как движения внутри глаза, движения глаза в целом и движения головы. Если вы подавите эти рефлекторные движения, зрительных ощущений не будет. Следовательно, к концу XIX века исследовалась только половина феномена кинестезии; убрав движение, следствием которого является этот феномен, его невозможно было понять. Основной вопрос, над которым стоит задуматься, полагаю, заключается в понимании движения, соответствующего кинестетическому ощущению.

Позвольте мне для ясности привести пример из патологии, который преувеличивает этот кинетический феномен, делает его несколько гротескным и превосходно

показывает, в чем его важность. Я бы хотел рассказать о явлениях, которые раньше назывались катаlepsией или кататонией. Вкратце вот в чем они состоят. Когда врач обследует определенных пациентов, — я объясню, каких именно, — с ними можно производить довольно странные действия с удивительными результатами. Говоря с больным, его берут за руку и спокойно, не привлекая к этому внимания, продолжая с ним говорить или его слушать, поднимают его руку и перемещают ее, оставляя в воздухе в определенном положении, желательно как можно дальше от центра зрительного поля. Затем очень спокойно без предупреждения свою руку отпускают. Если вы проделаете это с нормальным человеком, он не поймет, в чем дело, и подумает, что это шутка; как только вы отпустите свою руку, его рука упадет. Однако у вышеупомянутых больных рука остается в том же положении, в котором вы ее оставили. Создается впечатление, что человек этого не замечает: он продолжает говорить о своем, а его рука висит в воздухе. Эта процедура может быть проделана с запястьями, руками, ногами, пальцами; вы можете складывать по-разному пальцы, и они останутся в том положении, в которое вы их приведете, как если бы речь шла о манекене или актере, части тела которого сохраняют приданное им положение.

Эти явления были описаны у многих больных. Стоит прежде всего отметить группу больных, изучавшуюся с огромным энтузиазмом с 1880 по 1895 г.: больные истерией в сомнамбулическом состоянии. Итак, речь идет о катаlepsии.

В отношении этих исследований было много критики и недовольства. Говорили, что эти люди чрезмерно внушаемы. Они улавливают и повинуются вашему малейшему желанию. Они чувствуют, что вы хотите, чтобы они оставили руку на весу, и делают это, чтобы доставить вам удовольствие. Это простой феномен внушения.

Возможно, при определенных случаях сложной катаlepsии в этом есть доля истины, но не стоит преувеличивать. Сегодня, возвращаясь к ним, замечают, что истерические состояния катаlepsии и многие другие сходны с явлениями, наблюдаемыми при летаргическом энцефалите, и что они по своей природе гораздо более физические,

чем полагали. Во всяком любом случае отметим, что явления поддержания позы есть и у другой группы больных, не столь рассудительных и внушаемых как истерики. Они наблюдаются в состоянии деменции и, в частности, при раннем слабоумии, описанном Эмилем Крепелином и названным *démence précoce*. У этих больных почти нет чувств, нет желания повиноваться, слушаться. Напротив, в них силен негативизм и сопротивление всему, о чем их просят; они ничего не понимают и не хотят делать того, что им говорят. И тем не менее у больных в состоянии глубокой деменции наблюдаются похожие явления. Для этого несколько меняют терминологию. Наука часто состоит в изменении слов, а не идей, и тому же явлению, но уже не у внушаемых истериков, а у неподдающихся внушению слабоумных дают название кататонии.

Я бы хотел привести пример, который буду рассматривать подробно. Я часто возвращаюсь к этим больным; вы их знаете, и это упрощает дело.

Довольно давно я наблюдал в больнице одного из пригородов Парижа двух сестер-близнецов с ранним слабоумием. Это — катастрофа семейная, как часто бывает с психическими заболеваниями. Болезнь проявилась у обеих сестер с интервалом в две недели, когда им было чуть более шестнадцати лет; в дальнейшем состояние ухудшалось, расстройство становилось все более тяжелым. Сейчас, по прошествии более чем двадцати лет, когда им сорок пять, близнецы находятся в состоянии сильно выраженной деменции. Они сидят неподвижно в своих креслах целыми днями, и лучше их не трогать, потому что, как только их пытаются заставить что-нибудь сделать, это вызывает сцену жуткого, неистового, иступленного гнева. Сестры не совершают никаких действий и практически находятся в маразме. Они ограничиваются лишь нескончаемым бормотанием сквозь зубы старых упреков, относящихся к их юности, ругая почем свет свою первую сиделку, которая за ними присматривала, когда им было по восемнадцать лет. Это — всегда реминисценции прошлого без какого-либо интереса к настоящему. Я описывал их в разных работах под теми же именами, назвав их Адель и Агата.

Любопытно, и я к этому еще вернусь, что у Агаты кататония отсутствует. Когда с ней говорят, она совершенно

не слушает, но когда пытаются переместить какую-либо часть ее тела, она тут же возвращает ее на место. Если поднимают ее руку, она кладет ее на колени, и если попытки становятся настойчивыми, проявляет гнев.

Адель же совершенно другая. Если, пока она говорит — в основном жалуясь на прошлое и протестуя против няни и врачей, — переместить ее руку или даже ногу, она останется в этом положении весьма долгое время. Я наблюдал, оставаясь около нее более двадцати минут, что пальцы одной руки сохраняли положение, которое им придали, совершенно неподвижно, тогда как другая рука и рот были подвижны. Я изучил на этой больной множество явлений кататонии. В прошлом августе у меня была возможность на конгрессе по психиатрии в Антверпене, на котором обсуждался вопрос о кататонии, рассказать об этой больной и описать некоторые свойственные ей явления.

Этот феномен кататонической обездвиженности представляется целиком и полностью физическим: хочется сравнить его с жесткостью, ригидностью манекена, рука которого остается механически недвижимой. Это неточно: рука очень гибка, ее можно двигать как угодно, в ней нет никакой ригидности. После возвращения в исходное положение вы можете придать ей другое положение без какого-либо сопротивления.

И к тому же к этому явлению примешиваются психологические факты. Неподвижность обнаруживает возможность адаптации. Например, пока рука в воздухе и разговор с Адель продолжается, я беру свою шляпу и вкладываю ей в руку. Рука остается в воздухе, она может поддерживать физический объект. Я могу добавлять различные предметы к шляпе — однажды даже поместил в руку Адель два тома форматом в одну восьмую листа. Рука оставалась в воздухе пять минут вместо двадцати из-за усталости, но она приспособилась к двум томам, которые держала. Таким образом, у больных деменцией есть некоторая предрасположенность членов организма, нервных рефлексов, которые побуждают их сохранять позы.

Но, скажете вы мне, вы обращаетесь к странному больным, имеющим психические проблемы, довольно сложные, подчас плохо известные нервные заболевания. Речь идет не о психике в норме.

Я с вами не соглашусь. Думаю, не стоит быть слишком тщеславными: все мы в чем-то похожи на этих больных. У нас — аналогичные предрасположенности. Если мы обратим взор на самих себя, мы увидим множество кататонических состояний, которые есть у каждого.

Позвольте мне рассказать вам небольшой случай из жизни. Если он покажется нелепым, вы сможете с чистой совестью сказать, что с вами такого не бывает. Время от времени мне приходится опускать письмо в почтовый ящик, и совершенно добросовестно, написав письмо и уходя из дому, я беру его в левую руку большим и указательным пальцами. Я держу письмо в руке, потому что знаю, что очень рассеян и могу забыть о письме, продумывая предстоящую лекцию. По прошествии некоторого времени я возвращаюсь домой и, снимая пальто, замечаю удручающую вещь: письмо все еще у меня в руке.

Этот случай обнаруживает множество психологических фактов: первое, что приходит в голову, — это отвлечение, рассеянность. Да, по пути я думал о другом и прошел мимо почты, не остановившись и не заметив, что у меня в руке письмо. Но это не все, и более того, рассеянность здесь не главное. Самое удивительное, что я все-таки не потерял письмо. Ведь моя рука в состоянии рассеянности могла бы перестать его держать. Получается, я уделял внимание письму: будучи отвлечен, я продолжал его держать.

Со всеми нами происходят явления такого рода. Например, у нас есть привычка держать руку в кармане. Очень часто эта рука не остается инертной, а имеет определенное положение. В зависимости от человека она может быть сжата в кулак, полураскрыта или сжимать кусочек ткани. В течение получаса или часа рука остается в кармане в том же положении, не выпуская ткань. Это — чрезвычайно важное продолжение действия.

Скажу больше: по сути, мы все время кататоничны. Вы слушаете меня и принимаете какую-то позу. Голова немного наклонена — у одних вправо, у других влево, а кто-то оперся головой на руки. Все эти различные позы требуют мышечных движений. В конце концов, ваша рука не имеет ни малейшего желания оставаться на весу неопределенное время сама по себе. Ваша голова

не должна оставаться наклоненной, она должна была бы упасть вперед под собственной тяжестью. Она держится прямо, поскольку вы сохраняете движения. Все наши позы суть явления кататонии.

В чем отличие бедной Адель от вас? Оно невелико и состоит в том, что вы можете чаще прерывать кататонию. Вы прерываете кататонию каждый раз, когда поза может показаться нелепой, смешной. Вы поддерживаете подбородок руками: это положение негротескно, но если бы вы держали в воздухе руку, другие люди были бы удивлены и посмеялись бы над вами. Поскольку вы чувствительны к нелепости, вы останавливаете кататонию. Что нелепого в том, чтобы держать письмо двумя пальцами? Дело не в обычном держании, но в держании письма перед зданием почты — в том, чтобы пройти мимо и не опустить его в ящик.

От больных деменцией нас отличают те обстоятельства, которые останавливают кататонию, а не те, которые ее вызывают; разница заключается в негативном действии — остановке. Вы меняете позу гораздо чаще, чем больные, но есть и общий, всегда неизменный элемент — неопределенно долгое сохранение позы.

Очень немногие исследователи изучали этот феномен. Я бы хотел напомнить вам статью профессора Грассе из Монпелье в «Научном обозрении» («Revue scientifique»). Он называет это силой удерживания позы, силой фиксированной позы, замечая, что фиксированные и постоянные позы есть у всех. В этой связи он упоминает впечатляющий эксперимент, считая его удивительным проявлением фиксированной позы: его демонстрировал в одном трудновыполнимом опыте Милон Кротонский, обладавший недюжинной силой. Он брал в руки фрукт, который легко раздавить, — согласно легенде, это был гранат. Замените, если хотите, его на персик, абрикос или яйцо. Итак, он осторожно держал яйцо, а затем сжимал кулак и просил всех желающих разжать его пальцы и забрать яйцо. Все великие герои Греции пытались получить приз и разжать его пальцы, но никто не смог этого сделать. По окончании состязания на его ладони лежало целое и невредимое яйцо или гранат. Но, скажу вам, это очень трудно, поскольку, чтобы противостоять усилиям

других, необходимо затратить массу сил, что повышает риск повредить яйцо. Таким образом, необходимо, чтобы эта сила точно фиксировалась в определенной точке, не вызывая посторонних движений. Грассе описывал этот опыт, говоря о фиксированной позе, и напоминал, что основатель школы Монпелье Бартез в XVIII веке также описывал этот любопытный феномен.

Итак, следует задаться вопросом, что собой представляет постоянство позы. От чего оно зависит? Здесь мы возвращаемся к нашим кататоническим больным и бедной Адель. Что с ней происходит, когда она сохраняет приданное мной положение руки?

Врачи-психиатры делают вид, что все очень просто. Я сомневаюсь. Если внимательно посмотреть, выясняется, что этот феномен чрезвычайно сложен, поскольку допускает множество любопытнейших вариаций. Прежде всего есть вариации, зависящие от испытуемого. Я уже говорил вам, что этих проявлений, которые у Адель обнаруживались в самой высокой степени, никогда не было у ее сестры Агаты. Далее, это зависит от человека, проводящего опыт. Довольно долго я был на особом положении, чем чрезвычайно гордился: только я мог вызвать кататонию у Адель. Я мог как угодно изменять положение ее рук, ног, головы; она сохраняла это положение около двадцати минут. Другие люди — врачи-интерны санатория — не могли добиться ничего; как только они прикасались к ее руке, она начинала сердиться и возвращала ее на колени.

Но удача отвернулась от меня. Я наблюдал больную все меньше, а она становилась все более слабоумной и постепенно отвыкла от меня. Ее больше интересовал мой хороший друг доктор Арно (как это ни печально, он умер полтора года назад): с ним она разговаривала и видела его каждый день. Я больше не мог вызвать у Адель кататонию, а Арно делал это гораздо успешнее меня. После смерти Арно я несколько восстановил эту способность, что утешает. Сейчас мне немного легче удастся вызвать кататонию. Но я заметил относительно этой больной кое-что очень странное. Я поднимаю ее руку, и она остается в таком положении, как мы уже знаем, двадцать минут. Если я нахожусь около нее в комнате, записываю

что-то рядом с ней или смотрю на ее руку, рука остается в воздухе по меньшей мере в течение двадцати минут и к концу этого времени медленно опускается. Но однажды по рассеянности я вышел из комнаты, не опустив из вежливости ее руку. Мне стало совестно, и, заглянув в приоткрытую дверь, я увидел, что рука тотчас же упала. Я повторил этот опыт: стоило мне выйти, как рука мгновенно опускалась.

Таким образом, феномены чувства вежливости, внимания и чувства присутствия, о которых мы говорили в прошлом году, существуют. Все это играет роль, не отменяя основное явление, состоящее в следующем. В организме есть определенный рефлекс — рефлекс положения, поддержания позы. В жизни нам важно не повторять бесконечно одно и то же произвольное действие. Когда мы совершаем произвольное действие — например, слушаем, подперев рукой подбородок, — было бы неуместно повторять его каждую секунду; это бы нам помешало слушать. Мы прекрасно можем не задумываться больше о нем, положившись на рефлекс, который способствует его продолжению, — рефлекс поддержания позы.

Это подводит нас к началу того, что мы можем назвать регуляторными рефлексам. Мы не только совершаем движения, но и управляем ими, постоянно их регулируем. Машина имеет разнообразные регуляторы, и мы вновь сталкиваемся здесь со знаменитым интроцептивным рефлексом, о котором говорил Шеррингтон. Есть экстрацептивные рефлекс, берущие начало в стимуляции, исходящей из внешнего мира: меня щиплют за руку, и я руку отдергиваю. Есть проприоцептивные рефлекс, зависящие от внутренних органов. В прошлый раз мы говорили о синестезии. Но существуют также интроцептивные рефлекс, определяющиеся самими нашими движениями. При совершении движения возникает нервное возбуждение, которое это движение регулирует.

Поддержание позы необходимо, но следует добавить еще кое-что. Когда рассуждают о рефлексах, говорят: рефлекс характеризуется некоторым внешним возбуждением, которое приводит к движению. Например, нам известен элементарный рефлекс, который есть у всех маленьких детей: если дать младенцу какой-нибудь предмет, конфету

или просто погремушку, он сразу тянет его в рот. Этот обычный рефлекс считается очень простым. Между тем есть одна сложность, которую не додумывают в достаточной мере: рука ребенка может принять различные положения, в зависимости от чего движения, с помощью которых ребенок подносит погремушку ко рту, также различаются. Если рука лежит на столе, ребенок должен ее поднять, если вверху — опустить. Движения совершенно разные, однако это все тот же рефлекс поднесения предмета ко рту. Все эти рефлексы ведут к завершающему действию — открытию рта и глотания, но совершаются в различных условиях в зависимости от изначальной позиции органа. Если голова наклонена, акт глотания будет иным, нежели в прямом положении. В зависимости от положения руки рефлекс чесания, о котором говорит Шеррингтон, совершается различным образом. И Шеррингтон показывает, что рефлекс является сочетанием действия, которое должно быть совершено, и предшествующего положения. Исходное положение, поддерживаемое рефлексом позы, само по себе рефлекс, который сочетается со следующим и определяет движение.

Я бы сказал больше. Мы совершаем движения, которые кажутся нам очень простыми, например подносим руку ко рту. Но это движение гораздо сложнее, чем мы думаем; оно преодолевает среду, и если воздух не оказывает сопротивления, то ветер может отклонить руку. Когда животное находится в воде, течение и волны смещают части его тела. Если ограничиться лишь продолжением прежнего движения, животное никогда не достигнет цели. Рука находится на уровне рта, к которому направлено движение. Если по пути какое-то перемещение опустит нашу руку, продолжая движение, мы попадем не в рот, а ниже.

Таким образом, для достижения результата необходимо, чтобы мы поддерживали направление движения. Поддержание позы, сочетание движения с исходной позой, поддержание направления — вот регуляторы, которые оказываются существенными элементами знаменитого кинестетического чувства. Кинестетические ощущения — результат осознания, слов, убеждений, которые накладываются на эти элементарные движения. Кинестетическое

чувство — не просто ощущение, а прежде всего некоторая совокупность движений.

Времени уже много, а мне бы хотелось все же сказать несколько слов о чувстве равновесия, которое представляет собой феномен того же рода.

Тело человека и животных — сложный организм. Оно обладает свойством, которое мы считаем лишенным оригинальности, поскольку привыкли к нему, но которое, по сути, довольно странно: у человека есть желудок и кишечник, и не только для нашего удовольствия. Мы наполняем желудок и кишечник едой; мы позавтракали и сохраняем завтрак внутри; гуляя, мы расходует наш собственный завтрак. Какая поразительная идея, что за привычка! Мы перемещаемся в пространстве, и нам важно наше передвижение, а не завтрак. Мы носим его в себе, подобно машине: можно сказать, мы похожи на обыкновенный железнодорожный локомотив. Локомотив работает не на энергии электрического тока, как это начинает происходить сегодня; он везет свою провизию в себе самом. Мы тоже носим свои запасы в себе, что довольно грубо и странно! Эти запасы подзаряжают наш организм, состоящий не только из мышц, но и из множества органов. Это завод, который перемещается как локомотив! И завод непростой. Когда вы передвигаетесь, вы изменяете его положение, его сотрясаете. Это прямо-таки идущий по рельсам локомотив. Будет ли он продолжать движение столь же хорошо, если опрокинется и перевернется вверх тормашками? Локомотив больше не сможет ехать и будет разбит. Между тем человеческий организм исправил этот недостаток, поскольку несет в себе свой завтрак. У него сформировалась замечательная привычка спокойно функционировать, даже перевернувшись. Даже если мы встанем на голову, завтрак останется на своем месте. Перемещаясь, мы регулируем положение наших органов.

Я как-то приводил это сравнение: представьте себе бочку, наполненную разными предметами: водой, песком, щебнем, кусочками стекла. Эта бочка скатилась со склона холма и лежит неподвижно. Совершенно ли она неподвижна? Нет, поскольку все внутри нее организуется: тяжелые предметы погружаются на дно, легкие оказываются сверху и т. д.

Так же и с человеческим организмом: мы организуем нашу внутреннюю среду, чтобы сохранять желаемую общую позу. Речь идет не просто об отдельных положениях, как говорил Боннье, а о целостной позе. Мы претендуем на то, чтобы сохранять положение стоя или сидя. Это гораздо сложнее, чем может показаться, поскольку все внутри нас, по идее, должно раскачиваться, падать из стороны в сторону и может нас опрокинуть. Мы регулируем все наши движения так, чтобы сохранять общее положение.

Таким образом, кроме элементарных движений, простых рефлексов, есть еще кое-что: а именно, регуляция самих этих рефлексов кинестетическим чувством. Каждое наше движение регулируется так, чтобы оно могло учитывать предыдущую позу, длиться, несмотря на течения, приливы и отливы. И мы также обладаем общими регуляторами всего тела — регуляторами равновесия.

Вот в чем я вижу зародыш личности, зародыш органической целостности, которая регулирует физические движения и которая отлична от физиологической целостности, регулирующей только внутреннее строение.

Это — отправной пункт личности. Мы сможем подробнее его рассмотреть в следующий раз, изучая поведение собственного тела. Я беру слово «собственный» в его латинском значении *proprius*: тело, которое есть у всех, — ибо, как бы бедны мы ни были, у нас все же кое-что есть, — мы обладаем своим телом и связанными с ним формами поведения. Вот что нас ожидает на следующей лекции.

13 ДЕКАБРЯ 1928 Г.

4. ТЕЛО СОБСТВЕННОЕ

Сегодня много спорят о вечной проблеме: есть ли у личности душа? Но можно задать и другой вопрос, ответ на который кажется очевидным: есть ли у личности тело? Каких бы взглядов — идеалистических или материалистических — мы ни придерживались, какие бы иллюзии ни питали, мы знаем, что личность обладает телом. Ей всегда присуще тело, красивое или безобразное, но в конечном итоге — некое тело. Достаточно поздно в истории

мы приходим к довольно сложной мысли о человеке без тела, но это вторично. Вначале все, кого мы знаем, имеют тело, и мы различаем их по телам. Даже пытаюсь просто представить, можем ли мы обойтись без понятия тела? Мы представляем себе человека как красивого старика или как прекрасную даму, придаем воображаемые черты и, думая о человеке, не можем обойтись без телесного образа.

Эта особенность мне представляется фундаментальной. Говоря, что личность зависит в первую очередь от социальных условий, реализованных в существующем воспринимаемом нами обществе, мы исходим из того, что люди для нас прежде всего — отличные друг от друга тела.

Итак, существует фундаментальное свойство личности, которое невозможно назвать иначе как телесностью человека. Мы принимаем как само собой разумеющееся, что люди не смешиваются, отдельные друг от друга. Есть г-н А., г-н Б., г-жа Я., и это различие не просто используется в отношении личности, а ей предшествует. Мы применяем его к множеству объектов: лампе, столу, скамье, разным предметам в аудитории. Мы привыкли отличать предметы друг от друга, поэтому прилагаем то же действие к личности, — и действительно личности, представленные исключительно духовной своей стороной, гораздо менее определены. Мы легко объединяем идеи в общую идею, в систему. Если бы личность была для нас чисто духовным понятием, мы могли бы объединить их, смешать, собрать воедино. Но мы этого не делаем. Мы всегда говорим, что один человек отличен от другого, и у истока этого стоит телесность человека, не допускающая разъединения человека и его тела.

Следовательно, невозможно продвинуться в исследовании личности без понимания того, что значит обладать телом, отличным от других тел.

Это свойство обладания телом, несомненно, связано с общими идеями о живых телах. Человек является живым телом, или живым существом. Но живые существа — лишь часть более общей системы. В конечном счете личность представляет собой объект этого мира. Как ни грустно в этом признаться, мы не слишком отличаемся от

лампы или стола. Мы друг для друга — внешние объекты, и исследование личности начинается с изучения внешних объектов.

Таким образом, если мы хотим, чтобы наш курс был полным, мы должны вернуться к вопросу о внешнем восприятии. Как мы воспринимаем тела? Воспринимаем ли мы их отдельными от нас, на некотором расстоянии от нас? Как отличаем одно тело от другого? Одним словом, как мы создаем объекты?

Именно здесь лежит начало представлений о личности. Именно к этому пункту мы возвращались в течение многих лет — к теории восприятия внешнего мира, столь сложной и становящейся сегодня делом все более и более непростым. Думаю, совершенно необходимо кратко резюмировать в одном занятии наши курсы последних двух лет, посвященные восприятию внешнего мира и психологической характеристике объектов, изложив эти вопросы в свете нашей теории — психологии поведения.

Вопрос о последовательности глав кажется мне часто не менее важным, чем сама теория. Если мы взглянем на психологические теории прошлого, трактующие восприятие внешнего мира, то увидим, что проблема обычно разделена на три части, следующие в определенном порядке. Философы, — если мы вновь обратимся к Декарту и его эпохе, — помещали в основание понятия об объекте психологические феномены ощущения и восприятия. У нас есть некое впечатление, некий связанный с внешними объектами совершенно нематериальный феномен: назовем его, если хотите, образ; при этом о том, как именно он возникает в нашей голове, не говорится. Образ описывается как внутренний, — и удивительно поэтому, как он может создавать объект. Это приводит еще к одной проблеме: назову ее проблемой внешнего мира.

Философы бесконечно ее обсуждали: проецируем ли мы на внешний мир то, что на самом деле происходит внутри?

Для примера напомним вам апелляцию к принципу причинности в школе Виктора Кузена. Философы того времени говорили: у нас есть внутренние восприятия, мы вынуждены искать их причины, и оттого, что мы ищем эти причины во внешнем мире, мы эти восприятия

экстериоризируем. Будучи экстериоризированы, они уточняются, отделяются друг от друга, преобразуются в объекты.

Выделялось три группы проблем, приводимых в следующем порядке: 1) внутреннее ощущение и восприятие, 2) внешнее (внешний мир) и экстериоризация, 3) объективация, конституирование объекта.

Думаю, мы бы существенно продвинулись, если бы изменили последовательность вопросов. Эволюция психики человека происходит иначе. Маленький ребенок не начинает с внутренних восприятий и не говорит: я чувствую, я внутренне мыслю, я сам — ощущение аромата розы, как говорил Кондильяк. Ребенок не рассуждает, следуя принципу причинности, чтобы перейти к внешнему миру.

Я предлагаю изменить порядок глав. Работа психики начинается с объективизации. Конституирование объекта предшествует осознанию его внешнего характера или, иными словами, проблема внешнего с самого начала не стоит. Маленький ребенок знаком лишь с объектами и не задается заковыристым вопросом: существует ли объект во мне или вне меня? У ребенка даже *я* еще нет. Он не различает, что вне, а что внутри, для него есть только объекты: сначала конструируется объект. Что касается внешнего, оно за этим следует. Объекты существуют до того, как появится понятие внешнего. Они становятся объектами внешнего мира, уже став просто объектами, и механизм этого достаточно понятен. Только потом, значительно позже (а иногда — как в случаях рудиментарного ума — вообще никогда), появляются внутренние феномены, образы объектов, чувства по отношению к объектам, чувства, которые мы помещаем внутрь нашей личности, после того, как ее создали.

Таким образом, мы должны начать с объекта. Как формируются объекты и как впоследствии они становятся внешними? Это понимание мы применяем, в частности, к живым телам, похожим на нас, что позже помогает нам построить их личность.

Как формируются объекты? Я не говорю о реальном объекте — так, как он существует в мире, — я не знаю, что это такое и существует ли он вообще. Как конструиру-

ется то, что мы называем объектом, представляем себе таковым?

Объекты являют собой группу поведенческих форм, сподчиненных, сгруппированных определенным образом рефлексов. Наиболее элементарные акты — рефлексы. Удар по коленному сухожилию приводит к небольшому движению ноги; глаза воспринимают свет, происходит небольшое движение зрачка. Движения изолированы друг от друга. В ходе эволюции жизни, опыта и особенно благодаря колоссальным приобретениям животных и наших предков, множество рефлексов сгруппированы вместе, связаны друг с другом. Можно, вероятно, понять эту связь, вспомнив известные вам идеи русского физиолога И.П. Павлова об условных рефлексах или же наши собственные исследования, которые мы приводили по поводу так называемых каскадов рефлексов, последовательных рефлексов.

Рефлекс вызывается идущей извне случайной стимуляцией. Внезапно молоточек ударяет по коленке, и коленка вызывает движение трехглавой мышцы. Это случайное движение. Но представьте, что движение, определенное рефлексом, само определяет второй стимул, приводит, в свою очередь, к другой стимуляции, вызывающей новый рефлекс, который своим движением приводит к третьему: рефлексы следуют каскадом.

Мы когда-то приводили простой пример собаки или какого-нибудь другого животного, преследующего добычу. Собака, бродя где-нибудь в окрестностях деревни, вдруг ощущает запах дикого зверя, например, зайца; возбуждение слизистой оболочки носа приводит к определенному рефлексу. Это рефлекс — преследование, бег в заданном направлении: запах вызывает движение. Движение благодаря взятию следа и следования ему приведет к событию: собака увидит зайца. Видение зайца — новый стимул, который присоединится к первому. Этот новый стимул ускоряет бег и приводит, в свою очередь, к особым рефлексам. Бег заканчивается тем, что заяц оказывается у собаки в зубах. Теперь она чувствует вкус зайца, что приводит к жевательному рефлексу: она кусает зайца. Когда заячье мясо попадают ей в рот, запускается глотательный рефлекс, и собака начинает есть зайца.

Особенность перцептивного акта, на которой мы настаивали и которая чрезвычайно важна для нас, состоит в том, что он в то же время является актом суспенсивным, актом отсрочки. Раз начавшись, первичные рефлексы неуклонно идут к завершению: за ударом по коленному сухожилию незамедлительно следует движение трехглавой мышцы. Акты отсрочки, являющиеся действиями целостной системы, обладают свойством, которое сформировалось благодаря многовековой эволюции: они могут быть отложены. Их можно назвать рефлексам отсрочки, запаздывания. Первичный рефлекс запущен, но совершается не до конца: акт не завершен, находится в подвешенном состоянии и разворачивается лишь к самому концу.

Вернемся к примеру с собакой, преследующей зайца: схема съедания зайца существует изначально, но акт еды не осуществляется сразу. Если собака начнет жевать, она будет жевать пустоту: ведь есть пока нечего. Таким образом, у акта поедания пищи дано начало, но завершится он гораздо позже, когда серия вторичных рефлексов последуют друг за другом.

Формирование схемы действия, сложных рефлексов начинается с колыбели, а может, и раньше. Маленький ребенок с самого начала жизни создает объекты, осуществляя особое поведение в отношении бутылочки с молоком или груди кормилицы. Со своей одеждой и с грудью кормилицы он ведет себя по-разному: по отношению к кормилице появляются движения рук, головы, рта, которые он не совершает с другими объектами. Это — уже создание объекта.

Конституируемый таким образом объект не всегда один и тот же. Он меняется, и очевидно, что он должен меняться, поскольку состоит из множества рефлексов, связанных друг с другом, — движений рук, ног, рта, глаз, всего тела. Эти движения многочисленны и по-разному группируются. Даже у ребенка в колыбели появляется некоторое количество сформировавшихся схем: грудь кормилицы, соска, игрушка, колыбелька, пеленка и т. д. Схем много, и постепенно психика обогащается, формируя все более разнообразные схемы.

Схемы объектов очень разные, их многообразие неисчерпаемо. Думаю, что большинство философских

проблем во многом связано с тем, что мы не знакомы в достаточной мере с разнообразием объектов и элементарными объектами, которые формируются у маленького ребенка. Он конструирует объекты на основе различных действий с ними: предметы питания, питья, объекты для жевания. Несколько позже к ним прибавляются сексуальные объекты, вбирающие в себя разные элементы, опасные объекты, которые следует обходить стороной, а также привлекательные предметы, дотрагиваться до которых приятно и т. д.

Этих объектов бесконечно много. Я советую вам хорошенько их изучить и различать. Многие из них станут отправным пунктом сложных интеллектуальных операций. Я вам напомню только один пример, который довольно долго занимал наше внимание лет десять назад: множественный объект. Множество — феномен не только счета и арифметики. Чтобы сказать: один, два, три, — необходимо уже обладать понятием множественности. Множественность знаменует появление того, что будет определять неидентичные друг другу формы поведения.

Представим себе собаку, которая встречается один на один с волком. В этом случае у собаки есть особое, хорошо известное поведение: она начинает драться, сопротивляться, бороться.

Но вот та же собака встречает сотню волков. Будет ли ее поведение тем же? Отнюдь. Она не начнет драку, а будет спасаться бегством: это совершенно иное поведение. В обоих случаях объект один — волк, но предстает он то в единственном, то во множественном числе. Множественность сама определяет объект, а реакции на нее, постепенно совершенствуясь, приводят к счету, арифметике и всем математическим наукам.

Объекты, таким образом, чрезвычайно отличны друг от друга. Но есть одно особо важное и серьезное различие. Фундаментальное свойство объектов — их обособленность, отдельность друг от друга. Когда философы изучают проблему внешнего, они занимают определенную, как им кажется, наиболее интересную точку зрения: рассматривают внешнее по отношению к особому объекту — я. Они всегда говорят о различии между я и другими вещами. Аудитория, которая меня слушает, — не я, она

внешняя по отношению ко мне. Изучение внешнего мира начинается с отношения к я, к собственному телу.

Это интересная и принципиальная проблема, но она кажется мне вторичной. А вот первичную по отношению к ней проблему часто забывают. Вы никогда не поймете внешнее по отношению к вам, если сначала не изучите его в гораздо более простом, банальном виде: внешний характер одних объектов по отношению к другим, внешний характер лампы по отношению к аудитории. От чего это зависит? Прежде всего от разных форм поведения. Совершенно очевидно, что ребенок не путает соску с пеленкой в своей кроватке или же путает только изредка: начав сосать уголок пеленки, он быстро понимает, что сделал ошибку, недоволен этим и сердится. Таким образом, благодаря рефлексам эти объекты различаются. В случае с пеленкой рефлекс сосания достигнет меньшего эффекта, чем в случае с соской. Таким образом, существует разница в природе рефлексов, и, по сути, многие объекты различаются только так. Животные опасные и неопасные разделяются именно по нашему в отношении к ним поведению.

Но есть еще нечто. Мы говорим, что рефлекс создается совокупностью действий с объектом: взятие соски в рот, сосание, прикосновение к пеленке, укладывание в кроватку.

Эти движения очень сложны, но среди них есть две очень важные категории, которые, говоря о психологии, следует разводить. Первая включает движения частей тела, совершаемых на месте: движения рук, рта, туловища, когда ребенок остается в кроватке. Движения на месте, возможно, являются примитивными. Первые существа с этого начинали: у них были щупальца, доставляющие морскую воду и питательные частицы, и это все. Первые моллюски могли двигаться, только не сходя с места. Эти первые движения развивались и характеризовали объект. Это — наиболее важные движения: питания, отступления при болевом раздражителе, размножения.

По прошествии времени появились другие движения, о которых мы уже много раз говорили: движения перемещения тела в пространстве. Животные много всего изобрели, — как говорил в своем курсе г-н Ле Руа, объяс-

няя всю эволюцию через понятие изобретения (впрочем, вполне обоснованно, поскольку это единственная метафора, учитывающая реальность). Животные — существа странные: это растения, которые отказались от корней, выдернули свои корни, приковывавшие их к одному месту. Животные (и человек с ними) ходят, перемещаются, преодолевают пространство, но остаются привязанными ко времени и поэтому стареют.

Эти перемещения — движения, но движения совершенно новые, особые, предполагающие координацию при помощи чувства равновесия, о котором я вам рассказывал в конце прошлой лекции. Эти особые движения повлияли на всю систему рефлексов, на схемы объектов.

Заметьте, что движения по перемещению тела никогда не задают четко и определенно конкретные объекты. В мире нет объекта, определяющегося только фактором удаленности, расположением на некотором расстоянии от меня. Близкие и далекие объекты могут оказаться одними и теми же. В отличие от элементарного акта, перемещение моего тела в точности объект не определяет. Оно добавляется к характеристике объекта, но не существенно. И еще: это движение имеет одно заметное неудобство — оно чрезвычайно изменчиво. Иногда для достижения объекта питания или сексуального объекта вообще не нужно двигаться, а иногда приходится пройти километр. Здесь есть значительные различия и многочисленные промежуточные варианты.

Движение перемещения, таким образом, придает вторичный характер объекту, присоединяется к нему, его усложняет. Вскоре у нас появляется столько движений перемещения, что все объекты оказываются связанными с ними. Чтобы взять мел, необходимо переместиться, чтобы взять лампу, надо подойти к столу. Перемещения повсюду, и они чрезвычайно разнообразны. Они не конституируют объект, поскольку нерегулярны; они его характеризуют вторично, добавляются к нему. Можно было бы сказать, что перемещения придают особый тон объекту. Они начинают серию феноменов, которыми мы займемся через несколько лекций, — феноменов чувств. Эти перемещения всего тела придают некоторое чувство, добавляющееся к объекту.

Как перемещения изменяют понятие объекта? Очень просто. Чтобы перейти от одного объекта к другому, необходимо передвижение. Объект характеризуется не только особыми рефлексам, которые вызывает, — он также отличается от других движениями. Все объекты различаются перемещениями, но изменчивым и нерегулярным образом, который не заложен в их строении. Так, перемещение важнее для контакта, чем для зрения. В поле нашего зрения попадает много объектов, но до многих мы не можем дотронуться, не сходя с места. Добавляясь к большинству объектов, придавая им особый тон, перемещение отделяет их друг от друга. Объекты различаются по своей природе и по перемещению, которое необходимо предпринять, чтобы перейти от одного к другому.

Однако объекты отделены друг от друга не только нашими, но и своими собственными движениями. Движение объектов во многом меняет их природу. Есть неподвижные объекты, которых вследствие этого легко достать. Есть движущиеся объекты. Их собственное движение, как и наше, является их свойством, которое их усложняет и выделяет среди других.

И здесь мы подходим к различению предметов, перемещаемых нами и движущихся самих собой. Вы знаете, насколько важную роль движение объектов играет у маленьких детей. Обратимся еще раз к недавним книгам Жана Пиаже из Женевы, описывающего идеи маленьких детей об объектах: озере, снеге, солнце, луне. Вы увидите, что для ребенка все движущиеся объекты хорошо отделены друг от друга. Объект, который двигается сам или объект, требующий перемещения, уже отделен, отличен от других. Ребенок использует самое банальное различение живого и неживого: для него все, что движется, — живое. Снежинки живые, листы бумаги, поднятые ветром, тоже становятся живыми; поднятая пыль, солнце и луна — живые существа. Вы увидите все эти описания в работе Пиаже и словах детей.

Существа, которые движутся сами, и те, которые требуют от нас перемещения, — совершенно отличны друг от друга. Таким образом выделяется группа живых и движущихся существ. В этой группе будет происходить

нечто особенное. Я вам напомню в связи с этим довольно давние работы американца Джеймса Болдуина.

Болдуин много изучал, что именно характеризует восприятие живых существ. Почему уже самые маленькие дети отличают живой объект от неживого? Как они замечают разницу и как именно ее ощущают?

Болдуин излагает довольно интересную, хотя, по-видимому, усложненную гипотезу: дело в нерегулярности движения. Сначала дети путают все, что движется: все, что движется, — живое. Затем приобретается опыт, пока еще неосмысленный, — опыт регулярности движения. Некоторые движения все время одни и те же; их можно предвидеть, добиться. Другие движения, напротив, обладают некоторой озадачивающей нерегулярностью. Перечитайте у Болдуина любопытный абзац о маленьком ребенке и его кормилице. Маленький ребенок в отчаянии от своей кормилицы, существа подвижного и странного: никогда не знаешь, что она сделает. Иногда она мила и приносит поесть, временами, наоборот, может отшлепать и становится опасным объектом. Этот объект вариативен, бесконечно изменчив. Живые существа являются среди движущихся объектов особо нестабильными и нерегулярными. Мне очень нравится эта мысль, поскольку самое лучшее и наиболее философское определение живого существа вбирает в себя эту нестабильность, новизну, открытие, которые добавляются к полученным по наследию автоматическим актам.

Итак, как видите, внешние объекты составляют очень пеструю группу, в которой особая важность придается живым существам. Следует добавить новую категорию объектов: тело, и в частности тело, которое особенно отличается от всех других. Какое? Наше собственное. Не забудьте, что собственное тело вначале дано нам в тех же условиях, что и тела внешние. Иными словами, мы видим самих себя так, как видим свое окружение. Мы ведем себя в отношении к себе так же, как с другими, осуществляя те же действия, те же схематические конструкции. Собственное тело — тело внешнего мира, одно из живых тел мира.

Между тем существуют некоторые специфические особенности, вызывающие замешательство. Речь идет о

свойствах, определяемых различными органами чувств, особенно висцеральными ощущениями. Я говорил вам, что не следует приписывать исключительную важность в восприятии тела внутренним ощущениям: они к нему присоединяются. С моей точки зрения, ребенок узнает свое тело извне прежде, чем изнутри, добавляя к объекту, образовавшемуся в его воображении, ощущения со стороны рта, горла, ануса; но эти ощущения — не основополагающие.

Спрячьте и о роли зрения. Мы видим наше тело как другие тела, но видим довольно плохо; из-за этого у нас возникает иллюзия о нашем собственном лице, которое кажется нам гораздо милее, чем на самом деле. Вы все пережили изумление, смотря на себя в двустороннее зеркало и видя свой профиль: он не нравится нам потому, что мы к нему не привыкли. Есть части лица и тела, которые мы не видим никогда, — такие как спина, которую мы знаем меньше всего. Таким образом, мы обладаем визуальным знанием: оно не столь полно, как знание других людей, и не простирается на все части нашего тела.

Подобным образом философы, например Мен де Бриан, приписывали огромную важность слуху. В одной из его книг есть целая глава о том, что мы себя слышим, и что между звуком произносимых нами слов и нашими движениями есть связь. Это интересно и важно. Однако я полагаю, что слышание нашего собственного тела не настолько существенно. Вы все — по крайней мере те, кто не обладает тонким музыкальным слухом, — испытывали изумление, услышав свой голос на фонографе: «Вот это да, неужели я так говорю? Забавно, я и не подозревал».

Замечательные исследования слепых и глухонемых детей свидетельствуют, что знание тела через слух и зрение не так важно. Вам известны работы о Лауре Бриджман и Хелен Келлер в Америке: они не могут слышать и видеть, между тем им удалось стать разумными людьми, обладающими полноценной личностью. Таким образом, зрение и слух довольно второстепенны.

Гораздо важнее тактильное чувство. Мы дотрагиваемся до себя. Иногда отмечают любопытное свой-

ство тактильного чувства — так называемое двойное прикосновение, описанное уже в XVIII веке в школе Кондильяка и также Мен де Бираном. Когда мы дотрагиваетесь до видимого объекта, такого как стол, вы чувствуете касание только в ваших пальцах. Когда вы дотрагиваетесь до тыльной стороны своей руки, у вас возникает ощущение двойного касания — одного в вашем пальце, другого — на коже руки, к которой вы прикасаетесь. Это верно для всех частей тела и играет важную роль.

Я когда-то часто говорил о чувстве, которое испытывают парализованные или люди с анестезиями. Когда левая половина тела нечувствительна, человек дотрагивается до нее и повторяет: «Что случилось с моей левой рукой? Как будто я дотронулся до дерева». Это неточно. Левая сторона тела имеет ту же температуру, что и правая, дает такое же касание, но для самого человека она иная; это не его рука. Почему? Потому что нет двойного прикосновения.

Все это добавляется к еще более важному аспекту: наше несчастное тело имеет очень странное свойство — не знаю, замечали ли вы его. Его больше замечают в молодости, чем в старости: мы не можем избавиться от тела. Это свойство тела может стать невыносимым. Другие тела обладают свойством перемещения, то есть мы можем отойти от одного и подойти к другому. Попробуйте проделать это с вашим собственным телом — выйти из кожи вон. У вас не получится. И это — тяжелая сторона бытия. Мы всегда в себе, всегда со своим телом. Это полное или неполное восприятие создается схемами, подобными тем, о которых я вам рассказывал. Восприятие нашего тела, даже плохое и неотчетливое, все же неотступно и постоянно. Оно сопровождает все наши действия без исключения, и для того чтобы его иметь, не надо совершать никаких движений. Чтобы достичь другого тела, необходимо более или менее далеко переместиться, к нему подойти. Чтобы достичь себя, не надо совершать никаких движений: за собой не нужно далеко ходить. Тело всегда здесь и всегда одно и то же.

Вы видите: это фундаментальная особенность. Она еще не получила достаточного освещения, хотя я считаю ее

важнее, чем двойное прикосновение, зрение и слух. Свойства перемещения нашего собственного тела отличаются от свойств перемещения других тел. Мы не можем выйти из тела, избавиться от него: оно постоянно.

А вы прекрасно знаете, что происходит, когда мы имеем дело с константой: она становится точкой отсчета, нормой. Мы все измеряем, отталкиваясь от постоянных ощущений и восприятий.

Наше тело становится мерилom в отношении внешнего мира. Оно имеет свойства всех других живых тел, но от них отделено. Мое тело отделено от стола, от ваших тел. Чтобы подойти к одному человеку, надо совершить одно движение, чтобы дойти до другого, нужно другое движение. Одним словом, наше тело внешне по отношению к другим телам так же, как другие тела внешние по отношению друг другу. Знаменитая философская проблема вынесенности восприятия вовне кажется мне простым следствием того, что наше тело — внешнее по отношению к другим. Прежде всего внешними являются объекты: сперва один в отношении другого, а затем по отношению к нашему телу. Вся Вселенная создается вокруг нас, и мы всегда говорим: «Этот человек ко мне ближе, чем тот». Мы всегда говорим в терминах нашего перемещения.

Эти общие понятия о восприятии, конституировании объектов и нашего тела все больше изменяются, совершенствуются при помощи воспитания. В завершение я упомяну небольшое свойство, призванное сыграть важную роль в восприятии местонахождения объектов, их локализации. В соответствии с внешними объектами есть движения более или менее значительные и сложные — в частности, есть две различные позиции. Мы совершаем движение, чтобы достичь человека. Затем, когда мы до него добрались, чтобы дотронуться до него, нам больше не надо двигаться всем телом. Мы можем продолжить движение с места, дотрагиваясь до разных частей его тела, головы, руки, груди.

Таким образом, у нас есть движение полного перемещения, чтобы дойти до человека, — а когда мы дошли, мы осуществляем частичные движения на месте без перемещения в целом. Это дает начало различению частей тела. Живое тело не состоит из неподвижных блоков,

а формируется из частей. Все, что я вам только что говорил об отличных друг от друга объектах, следует повторить в отношении частей тела: головы, рук, ног, живота: все это разные части, которых мы по-разному касаемся. Маленький ребенок очень быстро научается различать голову и грудь кормилицы. У него есть общая идея кормилицы как объекта, но объекта, имеющего разные части.

Подобным же образом разграничение происходит и в нас самих, и мы выделяем части в нашем теле. Первоначально мы выделяем части тела сообразно их функциям. Есть специфические функции — рта, органов экскреции, ног, рук, — которые отличают один орган от другого. И также есть движения, которые их различают. Очень важно направление частей тела в движении. Мы привыкли идти вперед, поскольку наши глаза впереди. Есть часть тела, которая всегда впереди и первой касается объектов. У разных существ она различна. У многих животных прикосновение начинает кончик носа, который, и у нас еще обладает особой чувствительностью, как если бы это был роющий орган, который должен быть впереди. Есть органы, которые всегда позади; есть латеральные органы. Все эти различные части организованы в единое целое.

В итоге мы создаем особые целостности: тела других и свое собственное. Вначале другие люди сводятся для нас к своим телам. Можно назвать это словом «человек», хотя это будет достаточно амбициозно. Первые люди, которых мы узнаем, — это просто живые тела, части которых соединены общей схемой. Наша личность — не что иное, как определенные позы и поведение в отношении собственного тела, — поведение, которое будет совершенствоваться и примет общий вид. У нас есть общие формы поведения по отношению к тому или иному человеку, которого мы боимся или любим. И прежде всего мы обладаем общим поведением в отношении собственного тела.

Собственное тело имеет различные свойства, о которых я вам только что рассказывал. Есть еще одно, более приятное: наше тело обычно не делает нам больно, не бьет и не ранит нас. Оно — не враг нам, как люди извне или как свирепые животные. Напротив, тело оказывается источником разнообразных удовольствий, служит для питья и питания, его части играют роль в удовлетворении

ПСИХОЛОГИЧЕСКАЯ ЭВОЛЮЦИЯ ЛИЧНОСТИ

потребностей. Из этого берут начало чувства, зародыш которых мы с вами сейчас видели. В конце концов, мы — возможно, напрасно — привязываемся к своему телу, начинаем ему потакать, не бьем его и не мучаем и прилагаем усилия для его сохранения.

Мы постепенно подходим к проблеме чувств, которые присоединяются к общим движениям тела. В следующей лекции мы в качестве вступления поговорим о расстройстве личности — деперсонализации, характеризующейся отсутствием чувств.

17 ДЕКАБРЯ 1928 Г.

5. ДЕПЕРСОНАЛИЗАЦИЯ

Конечно, личность не сводима к тем простым феноменам, о которых мы с вами говорили: чувству движения, равновесия, кинестетическому чувству или даже к целой совокупности чувств, связанных со знанием и защитой собственного тела. Ничто так хорошо не раскрывает недостаточность элементарных функций, как чрезвычайно любопытное психическое расстройство. Оно показывает, что личность — нечто более сложное, многоуровневое и может исчезать, несмотря на полную сохранность элементарных функций. Феномен, который я имею в виду, можно обобщенно назвать потерей чувства личности, или деперсонализацией.

В науке, как в жизни, мы то и дело возвращаемся к ранним увлечениям. Феномен деперсонализации оживляет в моей памяти яркие впечатления молодости, когда я начинал заниматься психическими болезнями. Он напоминает мне, в частности, изумление, которое я испытал при знакомстве с одним патологическим симптомом, простым и вместе с тем чрезвычайно странным, интересным с психологической точки зрения. Напомню вам об одном наблюдении, описанном мной давным-давно, в 1898 г., во втором томе работы «Неврозы и фиксированные идеи» (с. 61). Это наблюдение вводит нас в проблему.

Речь идет о девушке лет двадцати, простой труженице без образования и — что, с нашей точки зрения, важно — с полным отсутствием философских идей. На протяже-

нии нескольких месяцев у нее были довольно близкие отношения с живущим по соседству молодым человеком, выходящие за рамки простого флирта. Родители об этом ничего не знали, что ее совершенно не беспокоило. Однажды утром она прочитала в журнале романтическую историю, случившуюся с влюбленными. Девушка и молодой человек поженились без ведома родителей, и в семье начались всевозможные неприятности, крах, самоубийства и т. д. Она не могла не заметить сходства этой истории со своей и сильно взволновалась: ей стало не хватать воздуха, и она пошла на улицу. Но там, без всякого недомогания, ее охватило состояние, которое потом не оставляло ее в течение двух лет и объяснения которому она не находила. На нее нахлынули мысли: «Где я? Что со мной случилось? Куда подевалось мое я? Меня здесь нет, я себя больше не узнаю, не знаю, кто я, у меня больше нет я. Это не я ем, говорю, хожу. В действительности я ничего не делаю. Мое я исчезло».

Практически в то же время я слышал подобные слова от не менее странного молодого человека двадцати семи лет, мелкого служащего, чрезвычайно эмоционального, которому, как ему казалось, угрожал его хозяин. Хозяин замахнулся на него, что было понято как угроза удара. Наш молодой человек был сильно напуган. Сразу же после этого у него появилось чувство, которое его больше не покидало, и которое он описывал следующим образом: «Мне кажется, что это не я иду, разговариваю, это не я живу, ем; даже когда я сплю, — как если бы это происходило не со мной. Я могу сколько угодно смотреть на себя. Мне мешает мое тело, как будто оно не мне принадлежит, мне чуждо, как будто я живу в стороне от самого себя».

Этот довольно странный язык описания удивил меня в самом начале моего пути в психологии. Ведь молодые люди такого рода и из такой среды обычно не имеют привычки размышлять о личности, о своей персоне. Что они могут рассказать нам о своем я? Они не вычитали эти истории в философских книгах. И что за странное переживание потери я, когда перестаешь быть собой? Когда наши подопечные сообщают нам нечто определенное о собственной персоне, о личности, которая до сих пор оставалась

ПСИХОЛОГИЧЕСКАЯ ЭВОЛЮЦИОННАЯ ЛИЧНОСТИ

чисто философской теорией, эта теория, если можно так сказать, материализуется, приобретает тело.

Эти первые наблюдения всколыхнули мой интерес, и я исследовал подобные случаи около сорока лет. С того времени я видел их многократно, практически ежедневно. Я собрал коллекцию примерно из трехсот случаев такого рода, более или менее различающихся и вместе с тем сохраняющих одно ядро. Несчастные больные затрудняются объяснить свои переживания и прибегают к одним и тем же выражениям: «Это не я иду, не я говорю, — как если бы это был другой. Я больше не знаю, где я, ищу себя и не нахожу». Как же понимать этот симптом?

Сорок лет назад исследований на эту тему было немного. Я упоминал имена Гринингера, Лере, Бриэра де Буамона и, конечно, Кришабера (который в 1873 г. дал имя синдрому, назвав его церебробкардиальным неврозом, — что, впрочем, мало что объясняет), а также имена Фридмана, Сегла, Штерринга, за которыми последовали многие другие.

Мне кажется, что сегодня можно достичь некоторого прогресса — по крайней мере в медицинской классификации, — а возможно, и в психологической интерпретации столь странного и замечательного явления, как деперсонализация.

Прежде всего этот симптом весьма распространен и даже банален. На самом деле, странно прежде всего его отношение к личности, использование человеком слова «я». Но в целом это форма выражения психического расстройства, которое во втором томе нашей последней книги «От тревоги к экстазу» названо чувством пустоты, — или, если хотите, отсутствия, недостатка чувств.

К этой области относится значительная группа нарушений, приобретающих различные формы. Чувство пустоты появляется в самых разных обстоятельствах. Оно неспецифично для больных каким-то определенным расстройством и означает прежде всего депрессию, снижение психологических сил, сужение сознания. Так, оно может появиться в начале серьезного меланхолического расстройства и исчезнуть по мере его развития, уступив место чувству меланхолии и грусти. Оно есть в начале навязчивых состояний, психастении и, к сожалению, часто

характеризует начало раннего слабоумия. Сразу отмечу, что в особой форме оно также существует в начале развития систематизированного и депрессивного бреда. Таким образом, расстройство это — довольно общее.

Почему же это расстройство не всегда узнают? Потому что оно принимает разные формы, затрагивает разные функции и объекты. Чаще всего оно касается внешних объектов, — что не должно нас удивлять, поскольку личность укоренена в теле, которое само — внешний объект. Расстройства личности входят в общую группу нарушений предметного восприятия. При возникновении различных депрессивных состояний больные испытывают комплекс проблем с восприятием объектов. Впрочем, достаточно часто эти проблемы относят к расстройствам различных органов чувств, и людей, жалующихся, что стали плохо видеть, слышать, что у них появились звездочки в глазах, посылают к врачу-окулисту или лору. Окулист же находит, что состояние глаза отличное, и больной видит хорошо.

Напомню вам небезынтересное для психологии наблюдение, некогда меня поразившее. Двадцать пять лет назад в лабораторию Сальпетриера поступила девушка пятнадцати-шестнадцати лет, которая ходила, вытянув перед собой руки, чтобы избежать столкновения с объектами. Она жалобно повторяла: «Так ужасно стать слепой в моем возрасте. Я навсегда останусь слепой? Смогут ли мне вернуть мои глаза?».

Услышав эти слова, люди взволнованно смотрели ей в глаза — очень красивые и совершенно здоровые. Рефлексы оказались в полном порядке. Если ей показывали пальцы или карточки, сразу можно было заметить, что она все видит. Она могла читать журнал или таблицу Веккера на расстоянии пяти метров. Она видела значительно лучше меня, и было странно слышать, как она повторяет: «Неужели я навсегда останусь слепой?» У этой девушки было ощущение слепоты при реальном отсутствии таковой.

Чаще всего речь идет о нарушениях не функции восприятия в целом, а характера восприятия объектов. Классическая проблема состоит в том, что человек не находит в объектах никакого интереса или красоты, они кажутся ему искусственными. «Все — механическое, нет ничего естественного, нет ничего настоящего». Один больной мне

говорил с грустью: «Париж сильно изменился. В Париже больше нет красивых женщин». Я был вынужден ему сказать, что он несколько преувеличивает, и что красивые женщины ему еще встретятся, но ему казалось, что все уже в прошлом. Таково начало симптома.

Затем объекты начинают казаться не просто искусственными, но еще и бесполезными и бессмысленными. Например, больной вам говорит: «Эта скамейка странная. Этот стул странный». — Чем же? — «Она ни на что не годна. Когда-то скамейка служила для того, чтобы на нее садились, стул был сделан, чтобы на него можно было сесть. Эта же имеет четыре ножки, но ни к чему не пригодна». Назначение объекта пропадает, как и его красота, шарм, совершенство.

Знаменитый симптом, который когда-то многие изучали, — отдаление. Эти больные все время повторяют малопонятную фразу: «Предметы и люди находятся далеко от меня, удаляются. Все — далеко. Почему вы держитесь на таком расстоянии?» Не подумайте, что этот симптом незначителен: он имеет прежде всего психологический, а уж затем физический характер. Сколько людей испытывают удаленность и одиночество — чувство, что между ними и другими людьми пролегает огромное расстояние. Вспомните сонет Сьюлли-Прюдона о звездах, которые вечно несчастны, поскольку так далеки друг от друга. То же самое — с человеческим сердцем. Это та же проблема, только приобретающая материальное воплощение, — когда кажется, что люди и объекты отдаляются, уплощаются, становятся невыразительными, лишены интереса.

Я часто приводил слова больной, объяснявшей, что «теряет» людей: «Ночью у меня случилось большое несчастье — я потеряла Эрнестину». Это была одна из ее подруг, которая отнюдь не умерла и продолжала питать к ней прежние чувства. Тем не менее больная ее потеряла, — как потеряла свою мать, как потеряла Бога: «Они так далеко, что не имеют ко мне никакого отношения, они потеряны».

Крайней формой этого расстройства является, как вы можете догадаться, феномен ирреальности. Объекты становятся нереальными, существуют только в грезах, мечтах, снах: «Я вижу вещи как бы нематериальными,

как будто я грежу, и совершенно не понимаю, настоящие они или это галлюцинации. Этот свет, существует он или нет? Должен же быть где-то реальный мир. Где он теперь? Я, несомненно, вижу вас, ваш облик, но все изменилось. Вещи для меня больше не существуют».

Важная разновидность чувства пустоты заключается в его распространении не только на физические объекты, но и на живых существ, на людей. Только что я упоминал больную, которая «потеряла Эрнестину». Для нее непомерно далеки не только объекты, но и люди, и эта отдаленность людей объясняется аналогичным образом. Многие все время повторяют: «О, это так печально — никто мной не интересуется, никто меня не любит. Я одинок, другим нет до меня никакого дела». Столь обычная идея, которую так долго изучали моралисты, распространенное чувство оказывается началом патологического процесса.

Иногда в более тяжелых случаях это чувство принимает любопытную форму. Я видел даму, которая жаловалась на совершенно новую, выдуманную ею болезнь. Она жаловалась, что стала невидимой. Невидимкой в мире быть очень неудобно. Когда-то люди мечтали о том, чтобы стать невидимыми, обладать кольцом Гигеса¹⁵. Она же, напротив, страдала от этого: «В салоне, на встрече, везде, куда я прихожу, меня не видят, я невидима, как будто бы меня и вовсе нет». Постепенно появляется бредовая конструкция, и ей кажется, что она действительно невидима. Это все тот же феномен: люди отдаляются, исчезают. Наконец, на последней ступени появляется расстройство, которое когда-то сильно озадачило психологов и нашло отражение в размышлениях Рибо и его книге о личности — это чувство смерти.

Многие больные жалуются, что их окружают мертвые люди, вокруг них все — мертвецы. Я рассказывал вам историю молодого человека, который должен был выступить на публике. После выступления он пришел ко мне уставший, истощенный затраченными усилиями, почти в отчаянии, жалуясь, что он пропал, поскольку с

¹⁵ Имеется в виду перстень лидийского царя Гигеса, будто бы обладавший чудесным свойством делать человека невидимым. О кольце Гигеса Платон рассказывает в «Государстве», II, 359 d–360 a. — *Прим. ред.*

момента его выхода из конференц-зала ему встречаются только мертвецы: люди, собаки, лошади — все, кого он встречал, были мертвы.

Я упоминал также о больной, которая была уверена, что находится не в больнице, а на дне могилы, мертвая и окруженная трупами. Она могла прекрасно вести разговор на интересующие ее темы и вдруг резко оборвать: «Я бы очень хотела с вами поболтать. Но что вы хотите: ведь вы мертвы, и все люди вокруг меня мертвы. И я тоже мертва».

Не буду продолжать, но не забудьте, что эти чувства широко известны, и что тема эта породила целое направление в литературе. Напомню вам романтическую литературу и проникновенные описания мертвого мира, умирающей Вселенной с головами мертвецов. Есть чувства патологического плана и все же более или менее понятные и важные.

Сегодня эти проблемы восприятия социальной реальности вызывают особый интерес, когда речь идет о психических заболеваниях. Я имею в виду работы очень известного психиатра Г.-Г. де Клерамбо. Он отмечает появление при развивающейся мании преследования так называемого чувства неполноты, — впрочем, уже давно известного. В этом случае оно принимает особую форму — чувства кражи мыслей: «Мою мысль украли, что-то важное во мне убито». Есть больные, отказывающиеся есть, утверждая: «У меня украли мои пищеварительные функции». Это первая ступень, наиболее простое нервное расстройство. На более тяжелых стадиях больные говорят, что кто-то украл их мысль: «Мой сосед напротив отобрал мое пищеварение и мой аппетит».

Я знал молодого человека, который не мог есть, когда его мама сидела напротив него за столом, по очень серьезной причине: он чувствовал, как желудок сжимается, а пищевод закрывается. Отсюда один только шаг до утверждения, что мать отнимает у него аппетит; и действительно, у молодого человека постепенно развился бред преследования.

От больных, у которых украли мысли, перейдем к тем, чью мысль разгадали. Это еще удивительнее, и болтовня этих больных заинтересует тех, кто занимается психо-

логией и моралью. Человек вам говорит: «Моя жизнь так ужасна потому, что я ничего не могу подумать про себя. Сразу появляются соседи, которые догадываются обо всем, что я думаю. Я не имею права даже на какую-нибудь глупую или неприличную мысль, — ведь соседка сразу о ней узнает». Это кажется плохой шуткой; между тем чувство прочитанных мыслей очень близко чувству кражи мыслей, часто с ним смешивается, и его не так просто объяснить.

В основании всех этих чувств — преследования, открытости мысли, похищенной мысли — лежит утрата личной собственности на мысль. Если вам интересно, отсылаю вас к лекциям двухлетней давности, посвященным внутреннему мышлению и секрету. Разгадка связана с потерей секрета и мыслей, которые в большей или меньше степени принадлежат только нам.

Потеря чувства реальности внешних объектов и людей связана, разумеется, с расстройствами нашей собственной личности. Деперсонализация, о которой мы говорили в начале лекции, — всего лишь одна из ее форм. Больные применяют к себе то же, что и к другим: они сами неральны, мертвы. Эти больные говорят: «Я мертв, потерял, меня больше не существует, я исчез». Можно выделить разные степени: потеря памяти, интеллекта, разных функций, потеря чувств (они больше никого не любят, не способны любить), наконец, потеря собственной жизни (они объявляют себя мертвыми).

Совокупность этих расстройств и особенно феномены деперсонализации очень интересны для нашего исследования личности. Рассмотрим, что они означают и как их можно понимать.

Первое замечание, хотя и критическое, представляется мне весьма серьезным: невозможно объяснить эти проблемы просто потерей элементарных психологических функций. Первые объяснения — их приводит и Рибо — слишком упрощенные. Вам говорится, что речь идет о больных с более или менее выраженной анестезией, потерей чувствительности. Когда мы действуем, ходим, говорим, едим, у нас есть некоторые слуховые, зрительные, мышечные ощущения; они уведомляют нас как о том, что мы делаем, так и о том, что мы реальны. Итак, все

ПСИХОЛОГИЧЕСКАЯ ЭВОЛЮЦИЯ ЛИЧНОСТИ

объяснялось потерей тех или иных ощущений, и одни авторы писали об одних ощущениях, другие — о других.

Немецкие авторы различали внешние ощущения и ощущения тела. Последние они называли прекрасным греческим словом *соматогнозис* — знание о теле. Во всех упомянутых выше расстройствах, считали они, происходит утрата соматогнозиса. Мы имеем дело с анестезией, потерей определенных ощущений, соответствующих внешнему миру или телу.

Я пытаюсь бороться с этим устаревшим объяснением — чисто теоретическим и не выдерживающим проверку реальностью — уже на протяжении сорока лет. У человека, демонстрирующего подобие анестезии, отрицание личности своей или других, можно обследовать одно за другим изменения всех чувств. Так вот, в обследованных мною трехстах случаях настоящая анестезия не встретилась ни разу. Эти люди прекрасно все ощущали, чувствительность всех частей тела была в норме.

Я уже упоминал случай, несколько анекдотичный, но хорошо иллюстрирующий феномен, о котором я вам рассказывал. Речь идет об одной старой пациентке из Сальпетриера, названной мною Vul., которая считала всех мертвыми и представляла себя в виде трупа в глубине темного склепа. Однажды утром я подошел к ее кровати. Как и всегда, она заявила мне, что все мы мертвы и лежим с мертвецами в черной могиле. Вдруг она прервалась и очень вежливо попросила разрешения встать и выйти на минуточку, сказав, что ей дадут по утрам слабительное, и она ощущает результаты его действия. Она вышла, вернулась и могла уже гораздо спокойнее продолжать быть мертвой.

Свидетельствует ли этот случай об анестезии, о висцеральной анестезии? Или же наш мертвец все очень тонко и точно чувствует?

Впрочем, здесь уместно одно общее соображение. В жизни следует различать так называемые первичные и вторичные действия. Первичные действия возникают в связи с внешней стимуляцией: со мной заговаривают и я отвечаю, здороваюсь. Первичными являются все жизненно важные действия. Нам приносят еду на тарелке, мы едим: внешний объект вызывает реакцию питания.

Как правило, больные, страдающие чувством пустоты, сохраняют все первичные действия. Они хорошо все понимают и отлично говорят. Если бы они не понимали, не видели, не ощущали собственные движения, то не могли бы столь успешно совершать первичные действия.

Именно здесь возникает проблема, связанная с личностью. В прошлый раз мы говорили, что личность зависит от некоторых элементарных психологических явлений — синестезии, ощущений регуляции движений с помощью кинестетического чувства, регуляции равновесия. Личность зависит также от чувства тела, ощущения общего телесного благополучия или дискомфорта, физической защищенности. Так, наши больные нормально ходят: следовательно, у них все в порядке с равновесием; они знают о своих движениях, контролируют их, изменяют; у них есть кинестетическое чувство и ощущения от тела, поскольку они жалуются, что приняли слабительное и теперь им надо выйти. К тому же, если их уколут, сделают им больно, они отдергивают руку и отлично защищаются: у них есть элементарное чувство тела и его защита. У наших больных есть все элементарные феномены, но нет личности.

Итак, вы видите, что личность — очень сложная конструкция и формируется постепенно, шаг за шагом. Мы упомянули первый этап — элементарную телесную личность. Над ним надстраивается второй, тоже относящийся к телесной личности, но более сложный, чем предыдущий. От чего он зависит?

Вернемся к страдающим чувством пустоты больным и посмотрим, чего им не хватает, чего они лишились с появлением чувства пустоты.

Здесь я вновь обращаюсь к наблюдению, подсказавшему мне метод, и которому я уделил много внимания четыре или пять лет назад в связи с теорией чувств. Мне нравится, когда философские теории берут начало в конкретных хорошо известных фактах.

Я время от времени навещал одну молодую женщину в санатории в Нейи. Раз я вошел в ее комнату, бросил пальто и шляпу на кресло и обратился к ней, как обычно. Женщина лежала, и выражение ее лица было странным. Она удивленно смотрела на пальто и повторяла свои

обычные жалобы: «Ваше пальто на кресле очень странное. Я никогда такого не видела. Оно так экстравагантно и так далеко. Можно сказать, что оно не на земле, а на луне, очень далеко от меня. К тому же оно ненастоящее. Это сон. Неужели ваше пальто и правда существует?».

Я попытался уточнить: «Что вы имеете в виду? Что в пальто странного? Прежде всего, вы хорошо его видите? — Ну да, я его прекрасно вижу, даже могу сосчитать пуговицы, если хотите. Я вижу все детали. — Обратимся к вашим воспоминаниям. Начнем сначала. Представьте, что вы у себя в квартире. Врач входит в комнату, кладет пальто на кресло. Находите ли вы какие-нибудь различия в сравнении с тем, что происходит сейчас? — А, я знаю, что бы я сделала. Прежде всего мне кажется нелепым, что пальто брошено на кресло; это абсурдно, ведь оно не на месте. Я бы его взяла и повесила на вешалку или же позвала прислугу».

Этот ответ был для меня показательным. Хотя на уровне ощущений изменений не было, в поведении они были, и обследование этой больной, продолжавшееся несколько недель, ясно это показало. Действительно, больные не ведут себя так, как раньше.

Та же женщина рассказала мне весьма показательный случай, происшедший в начале болезни. Она сидела в кресле в гостиной. Около ног на ковре копошилась ее маленькая трехлетняя дочка. Взгляд матери был неподвижен: с безразличием, характерным для этих больных, она глядела на нее и не видела.

Девочка вертелась и наткнулась на стул. Ей пришлось в голову на него забраться, только по своей детской неосмысленности она неудачно решила залезать со стороны спинки. «В этот момент, — говорит мать, — я испытала очень странное чувство, как будто я далеко от земли, на звездах, в эфире; это было невероятное, совершенно нереальное зрелище».

Но почему это нереальное зрелище? Задумаемся и поставим себя на ее место. Настоящая мать семейства при такой сцене не просто бы смотрела, а действовала. Она бы сразу же встала, взяла ребенка и поставила его на место, понимая, что ребенок может опрокинуть стул на себя. Она бы испугалась возможного падения и по-

пыталась подхватить ребенка. Для нашей же больной это был спектакль, и только. Ей не пришло в голову что-то сделать.

Если не ошибаюсь, это — начало чувства нереальности. Смотреть на ребенка, который может вот-вот упасть и серьезно пораниться, без всякого желания вмешаться, что-то сделать — вот что странно и нереально, вот где мы теряем связь с миром. В материальном мире, когда мы видим что-то, у нас всегда есть желание вмешаться. И мы — хорошо или плохо — вмешиваемся, что-то предпринимаем; в отличие от этого для таких больных типично ничего не делать и никак не вмешиваться в происходящее.

Это наблюдение направило мои исследования многих пациентов и помогло найти множество подтверждений: во всех случаях чувства пустоты психика сужена, а так называемые вторичные феномены подавлены. Если первичные феномены нашего поведения связаны с фактом восприятия, то вторичные — с тем, *что именно* мы воспринимаем. Мы видим человека на улице: непосредственное восприятие позволяет узнать человека и вызывает реакцию приветствия. Но это не все. Почти всегда, когда мы видим кого-нибудь на улице, у нас возникает либо приязнь, либо неприязнь. Мы рады или не рады встрече. Эта совокупность вторичных реакций придает особый характер, важную ноту феномену, который мы воспринимаем впервые. Если вы уберете вторичные феномены, оставив только первичные, действие внешне покажется правильным, но в действительности будет совершенно неверным.

Возьмем в качестве примера больного с чувством пустоты одну девушку, которая, лежа в больнице, как-то сказала мне: «Мои братья пришли меня проведать». — Почему вы так думаете? Откуда вы знаете? Я никого не вижу. — «Я слышу их шаги во дворе». Узнавание работает очень тонко, это отличный первичный феномен. Но она сразу же добавляет: «Как жаль, что они не существуют, что они ненастоящие!» — Но, говорю ей, почему же не существуют, если вы слышите их шаги во дворе? Она отвечает следующее: «Вот уже три месяца, как я их не видела. Если бы я была здорова, то не лежала бы, как дурочка, в кровати, а прыгнула бы и побежала к ним.

ПСИХОЛОГИЧЕСКАЯ ЭВОЛЮЦИЯ ЛИЧНОСТИ

Я показала бы свою радость, расцеловала бы их. А я совершенно ничего не делаю, не шелохнусь, и у меня нет желания ничего делать».

Эта потеря всякого желания что-либо делать — существенная характеристика, которую мы находим во всех феноменах чувства пустоты. Первичные реакции безупречны, а вторичных нет.

Та же девушка, о которой я вам только что рассказывал, говорила: «Я не узнаю вас. Вы для меня что-то нереальное, чего не существует, что есть только в воображаемом мире. Вас на самом деле нет». Что это значит?

Нам прекрасно известен психологический механизм узнавания людей. Он заключается в совершении при встрече с человеком первичного очень простого акта, который мы называем приветствием. Как мы говорили, изучая когда-то имя собственное и язык, имя несет в себе совершенно особое приветствие. У нас есть приветствие, соответствующее каждому знакомому человеку. Мы не здороваемся одинаково с родителями, возлюбленной, незнакомцем; приветствие характеризует наше узнавание.

Так вот, у больной в Сальпетриере, которую я называю соней, поскольку она спала пять лет, было совершенно адекватное приветствие в отношении ко мне. Она знала меня пять или шесть лет, часто видела и питала дружеские чувства; в результате ее приветствие не было обычным приветствием больного. Это не мешало ей при этом добавлять: «Я вас совсем не знаю». Мне хотелось ей сказать: «Но если вы меня совсем не знаете, почему так со мной здороваются? Новый больной, который никогда меня не видел, не здоровается со мной так, как вы. Это неестественно».

У нее было правильное приветствие, но не было вторичных актов, которые добавляются к этому приветствию: удовольствия или неприязни, желания что-то сказать.

Таким образом, в созидании личности следует учитывать не только примитивные феномены — движения, акты адаптации, регуляторы равновесия или мышечного чувства, но и группу вторичных регуляторов, добавляющихся ко всем нашим действиям.

Как их обозначить? Что я имею в виду, говоря о совокупности вторичных действий?

Те из вас, кто слушал мои лекции четыре года назад, хорошо это знают. С моей точки зрения, вторичные действия есть не что иное, как чувства — вся совокупность чувств.

С первого взгляда чувства представляются необъяснимым явлением. Они кажутся чисто внутренними психологическими феноменами, которые происходят в сознании, независимо от действия. И, правда, чувства не являются действиями. Мы можем совершать одни и те же действия — идти, есть, говорить весело или грустно. Таким образом, говорили прежде, чувство есть нечто внутреннее, нематериальное.

Мы попытались показать, что это неточно. Чувство не является чем-то нематериальным. Его можно описать как регулятор действия, форму осуществления действия, отражающую в большей или меньшей степени его правильность. Недостаточно просто действовать, здороваться, идти или есть: надо совершать действие тем или иным образом. Можно идти быстро или медленно, есть второпях или спокойнее. Действие регулируется самыми разными способами. Если мы сравним, как часто делают, человека с усовершенствованной перемещающейся машиной (очень полезно сравнение с автомобилем), то увидим, что в автомобиле есть не только мотор, но и регуляторы — акселератор скорости, тормоза. Они играют столь же существенную роль, что и сам мотор. В действиях также есть регуляторы, тормоза и акселераторы: это — всякого рода чувства.

Я так подробно говорил сегодня об этом, чтобы в следующий раз начать изучение чувств. Мне представляется, что личность строится на чувствах в гораздо большей степени, чем на тех элементарных актах, которые мы описывали в самом начале курса.

20 ДЕКАБРЯ 1928 Г.

6. ФУНДАМЕНТАЛЬНЫЕ ЧУВСТВА

Мы условились поговорить сегодня о чувствах в целом. Конечно, было бы претенциозно резюмировать в единственном занятии все теории чувств, ведь каждая из

них достойна отдельного курса. В свое оправдание напомним вам, что мы посвятили чувствам целый годовой курс. Во втором томе моего труда «От тревоги к экстазу» вы найдете обзор исследований чувств и историю вопроса, о которой я сегодня не буду говорить. К тому же мы будем рассматривать чувства лишь с особой точки зрения: их отношения к личности, в особенности личности телесной, которой мы сейчас занимаемся.

В конце прошлой лекции я высказал одну мысль, которая кажется мне достаточно важной, чтобы ее повторить: в поведении живых существ можно выделить две группы действий.

Основные действия живых существ заслуживают названия первичных.

Что представляет собой живое существо? Совокупность молекул, которые благодаря различным комбинациям обладают свойством действовать особым образом, — таким, который предполагает новизну, изобретение, адаптацию ко времени. В конечном счете жизнь характеризует именно реакция. Труп не реагирует в витальном смысле этого слова — в смысле нового действия, прежде не существовавшего и отвечающего на внешнюю стимуляцию. Все живые существа реагируют, оказываясь в среде, которая на них воздействует так или иначе: жжет, колет, по-разному возбуждает. Они что-то делают, совершают первичные реакции. Я называю реакцию первичной, когда она прямо следует из внешней стимуляции.

Но жизнь была бы проста, если бы у нас были только первичные реакции. Так функционируют лишь примитивные существа: у моллюсков, возможно, только и есть, что реакции на внешнюю стимуляцию. Но у более сложных живых существ, состоящих из многих частей, есть еще нечто. Действуя, они выходят из состояния покоя и становятся иными: привычный порядок нарушается уже самим фактом действия. После реагирования следует привести себя в порядок. Этот отклик на первичную реакцию мы называем вторичной реакцией.

Вторичная реакция — это также поведение, но берущее начало в первичной реакции, когда мы совершаем первое движение. Нас ущипнули справа, и мы отходим влево: это первичная реакция. Отходя влево и на-

рушая равновесие, мы отклоняемся от вертикали, и если останемся слева, то упадем. Таким образом, после этой реакции необходимо восстановить равновесие. Вторичная реакция как раз и восстанавливает равновесие.

Первоначально вторичные реакции очень просты. Я пытался вам показать их исток в кинестетическом чувстве и чувстве равновесия. Эти ранние вторичные реакции возвращают тело на место и восстанавливают порядок после реакций первичных.

Но вскоре вторичные реакции — эти поведенческие формы уравнивания — бесконечно усложняются и, как в случае первичных реакций, возникает целая их палитра.

Существует две ветви человеческого поведения: первая исходит от первичных реакций на внешние стимулы, а вторая берет начало во вторичных реакциях, приводящих тело в порядок. Эти две ветви ведут к двум разным формам познания.

Серия первичных реакций, если мы проследим их во всех вариациях и ответвлениях, приводит к познанию внешнего мира и в конечном счете к науке.

Вторичные реакции схожи с предыдущей группой, также представляя совокупность форм поведения, берущих начало в реакциях тела. Но они создают нечто иное — внутреннюю жизнь. Личность в конечном счете и есть род внутреннего синтеза и разграничения внутренней жизни своей и других.

Таким образом, важно учитывать природу вторичных реакций. Именно в них, если не ошибаюсь, — важный источник личности. Другой источник — социальная жизнь, но внутренняя жизнь уже дает начало личности. Так вот, лучший пример вторичных внутренних реакций — это чувства. Нам следует здесь напомнить вкратце — чтобы не впасть в бесконечное исследование — теорию чувств, на которой мы останавливались несколько лет назад.

Возьмем для начала самое обычное и простое примитивное чувство, называемое эмоцией, эмоциональным шоком, о котором столько сказано и в отношении которого все так же мало ясности.

Мне бы хотелось для формулировки мысли привести пример эмоции совершенно элементарной, практически

неосложненной. Вот случай, который у меня будет перед глазами во время обсуждения.

Речь идет о девушке лет двадцати пяти, которая потеряла мать и осталась с отцом. Она ведет тихую и спокойную жизнь. Девушка здоровая, нормальная и адекватно ведет себя при различных житейских обстоятельствах. И вот, накрывая на стол, отец бросает фразу, с первого взгляда не имеющую большого значения: «Что-то я очень устал сегодня и вообще мне не по себе. Не знаю, что со мной. Мне кажется, что левая рука очень тяжелая, и я не могу ее сдвинуть». И добавляет полушутя: «Неужели у меня будет паралич?».

Примем эту фразу за отправную точку, за внешнюю стимуляцию. Тут же девушка меняется в лице, бледнеет, на глаза наворачиваются слезы; она начинает трястись, падает и бьется в конвульсиях. Эти конвульсии продолжаются три четверти часа, во время которых девушка ломает стулья, все крушит, расшвыривает в разные стороны. Она хрипит, произносит слова, не имеющие никакого смысла, хотя время от времени попадают некоторые осмысленные фразы: «Мой отец парализован, мой отец мертв! Что я буду делать совсем одна? Я пропала!»

При этих конвульсиях, естественно, происходят всевозможные висцеральные изменения: бешеное сердцебиение, рвота (довольно редкий феномен), нарушение дыхания. Девушка задыхается или учащенно дышит со всхлипываниями, иканием, зевотой, резкими движениями диафрагмы. Наконец она приходит в себя в своей постели, куда ее переносит отец, забывший о своей руке и занявшийся уходом за дочерью.

После этих конвульсий около двух недель у нее наблюдается недомогание, а затем начинаются различные проблемы: нервное истощение, головные боли, отказ от еды, фиксированные идеи и пр.

Этот случай прост, поскольку ясно его начало — фраза, которая ничего не значила, поскольку у отца не было никакого паралича, и он чувствовал себя вполне хорошо.

Этот незначительный случай — тривиальное наблюдение, доступное любому и встречающееся в самых разных формах, — представляет множество проблем для врачей

и психологов. Что же произошло? Видимо, эта девушка имела множество нарушений, которые долго перечислять. Любому органу можно было бы в истории болезни посвятить целую главу. Можно говорить об эндокринных железах, щитовидной железе и всевозможных других секретах. Налицо самые разные нарушения: значительные моральные расстройства, перемена мировоззрения: в конце девушка уже не та, что прежде, — ведь человек в здравом уме не будет кататься по полу, ломать стулья и кричать три четверти часа. Есть нарушения характера, памяти. Можно было бы изучать все, что угодно, — например, нарушение воспоминаний во время приступа или их потерю и восстановление после приступа. Весь спектр изменений. Но что все это в целом означает?

Ответ пытались найти в физиологических нарушениях. Я согласен, что они есть, но ими дело не исчерпывается. Они даже не главные, поскольку в конце концов физиологические нарушения — сердцебиение, изменения давления — у девушки не столь значительны.

Полагаю, мы лучше всего охарактеризуем ситуацию, сказав, что она отражает некоторое психологическое поведение, способ реагирования. Эта девушка должна была реагировать на слова отца определенным способом, сказав или «да», или «нет» или сделав еще что-то. Речь идет о реакции, и, следовательно, о сфере психологии. Это целостная реакция, но на что?

Здесь мы сталкиваемся со словом, к которому прибегают все психологи на протяжении двух-трех веков. Оно просто и, как кажется, используется для прояснения вопроса. Должен заметить, что оно приводит меня в полное замешательство. Психологи скажут вам: «Ну, это просто: она испытала эмоциональный шок». Эти расстройства окрестили шоковыми эмоциями, чтобы противопоставить эмоциям-чувствам.

Термин «эмоциональный шок» создает образ, что, в конечном итоге, делает это слово довольно удобным. Девушка испытала шок. В результате она упала на пол, как будто от удара. Но если задуматься, слово «шок» нас сбивает. Под шоком понимают материальный толчок, воздействие на организм чего-то сильного — физическое удар, воздействия на тело. Однако в действительно-

ПСИХОЛОГИЧЕСКАЯ ЭВОЛЮЦИОННАЯ ЛИЧНОСТЬ

сти были только слова. Могут ли вызвать сильный шок слова, эти небольшие вибрации воздуха? Это трудно понять. Предположим, те же слова были сказаны на иностранном языке, который девушка не понимает: с ней ничего бы не произошло. Итак, физического шока, вызванного движением слова, движением воздуха, не существует. Но вы скажете, что это моральный, психологический шок.

Будьте осторожны с выражением «психологический шок» и несчастными прилагательными «моральный» или «психологический», которые все, а особенно врачи, используют каждый раз, когда чего-то не понимают. Например, говоря о людях, страдающих меланхолическим расстройством, утверждают, что они испытывают страх. Страх и печаль характерны для меланхолии. Но врач остается в затруднении, спрашивая себя, чего боятся эти больные. Больным перечисляют обстоятельства, которые могут оказаться пугающими: больной отвечает, что не видит никакой опасности; в конечном итоге при изучении меланхолии не находят никаких причин страха. И врач заявляет студентам: «Этот страх — моральный». Всем все понятно, и студентам тоже, все очень довольны: это моральное страдание, «моральный шок».

К сожалению, я по природе своей скептик и полагаю, что «моральный шок» ровным счетом ничего не объясняет. Какой шок испытала наша больная, даже морально? Его не было. Так что же произошло?

Я добавлю еще одно слово и скажу: наша больная произвела реакцию. Она сама создала свой шок, преобразовала услышанную фразу в шок. Мы говорим, что нас бросило в шок. Мы неожиданно упали на улице и пережили шок. Мы видим упавшую девушку, или она сама видит, как падает и говорит, что она в шоке. Но это всего лишь выражение. В действительности ее бросил на землю не шок, а она сама. Она совершила определенную реакцию, определенное психологическое поведение.

Итак, как бы это ни показалось странным, я бы сказал, что шоковая эмоция, простая конвульсивная эмоция является разновидностью поведения. Все, что мы наблюдали в момент эмоции и после нее — лишь части или последствия этого поведения. В шоковой эмоции есть очень стран-

ный и важный с медицинской точки зрения феномен — отдаленные последствия. Так, после первичных нарушений девушка пережила длившийся две недели период усталости, а вслед за этим у нее начались разные нервные проблемы. Этот третий период является завершающим: период нервных расстройств возникает вследствие эмоции и может длиться месяцами или годами. Но все эти проявления — последствия определенного поведения.

Разного рода поведенческие реакции могут приводить к истощению, усталости, интоксикации. Человек, который съел на рождественских праздниках слишком много гусиной печени и выпил много шампанского, после короткого периода возбуждения может почувствовать себя плохо, и затем у него будет долго болеть печень. Это следствие определенного поведения.

У больной через две недели появляется истощение, связанное с предшествующим поведением. В латентный период происходит подготовка этого истощения, трата сил, которая прямо ведет к последующему утомлению. Все зависит от изначального поведения. Нам трудно понять именно это первичное поведение. Оно нас беспокоит по одной причине: мы не привыкли к такой манере поведения, мы ведем себя по-другому. В ситуации, в которой оказалась эта девушка, мы бы сказали: «На ее месте, я бы так себя не вел. Можно было сделать много чего другого. Например, встать, подойти к отцу, спросить, как он себя чувствует, позаботиться о нем, если он болен, помочь ему лечь, сходить за врачом». Такой была бы наша реакция сегодня.

Девушка так не поступила, хотя была вполне на это способна. Ведь она умна и умеет ухаживать за больными: она уже ухаживала за больной матерью до самой ее смерти. Таким образом, она отказалась от этого нормального поведения, хотя была на него способна. Она заменила его другим, гораздо более странным поведением: бросаться на пол, опрокидывать стулья. Однако это поведение не столь уж странно и необоснованно. Оглянувшись назад, мы увидим, что когда-то оно было более распространенным. Даже сегодня маленькие дети, когда им отказываешь в чем-то, топают, дерутся, устраивают сцены: это оставленный кризис. Устроить сцену без всякого повода

вполне удобно и привычно. У традиционных цивилизаций конвульсивные проявления и бред встречаются гораздо чаще. Если мы перенесемся в более далекое прошлое, к простейшим примитивным животным, какими будут их конвульсивные реакции? Если электризовать лягушку или простого моллюска, произойдет сотрясение органов, висцеральные изменения, расстройства поведения. Это — примитивная конвульсивная реакция.

Таким образом, поведение нашей девушки гораздо любопытнее, чем может показаться. Мы видим у нее подавление нормального поведения и его замену беспорядочными конвульсиями, как у детей и примитивных существ.

Почему я думаю, что в начале жизни это поведение было обычным? Дело в том, что все поведенческие реакции чему-то служат. Чему же служит конвульсивное поведение девушки, которое сегодня ни на что, кроме поломки стульев, не годно? Представьте себе умирающее с голоду примитивное животное: если оно не будет двигаться, ему нечего будет есть. Если же оно конвульсивно баламутит воду своими щупальцами и загребает ил, то имеет шанс донести до рта что-нибудь съедобное. Когда на него нападают столь же примитивные животные, нельзя оставаться неподвижным. Надо биться, сотрясаться всем телом: это может напугать противника, поранить, отбросить назад и, возможно, спасти от смерти.

Складывается впечатление, что конвульсии нервных женщин не столь уж бессмысленны и некогда, в доисторической жизни, имели свое значение. Примитивные, беспорядочные реакции были первыми поведенческими формами при столкновении с жизненными трудностями. Моя гипотеза состоит в том, что формы поведения постепенно организуются. Все — от акта поднесения пищи ко рту до приветствия — было создано, изобретено живым существом. Поведенческие реакции постепенно конструируются и надстраиваются друг над другом.

Организованные формы поведения трудны и поначалу неловки. Когда мы начинаем организовывать поведение, мы никогда не знаем, понадобится ли оно нам. Во всех поведенческих формах есть доля гипотетичности. Когда маленький ребенок впервые подносит ложку ко рту, он

совершает открытие, как мы, выдвигает научную гипотезу. До этого момента он питался сосанием, а теперь сам подносит предмет ко рту. Принесет ли это странное движение пищу? Он еще не знает и пробует: вы увидите его забавное личико, когда он почувствует, что молоко с ложки попало в его рот. Ему это кажется очень странным — раньше было не так.

Всякое организованное движение, таким образом, — движение новое, в чем-то опрометчивое, трудное, деликатное. Когда мы спокойны и у нас есть время на то, чтобы реагировать и думать, деликатные только что выученные движения вполне уместны, мы можем прекрасно ими пользоваться, что и делаем.

Вот мы — в своем рабочем кабинете решаем арифметическую задачу. Поскольку мы никуда не торопимся, мы возьмем логарифмическую линейку и — даже если не совсем знакомы с этим способом — с ее помощью сделаем расчеты. Эти расчеты будут более совершенными, производиться с умом. Но всегда ли мы будем применять этот способ?

Вот мы на рынке перед продавцом, который должен дать нам сдачу. Мы торопимся, он тоже, нас подгоняют. Будем ли мы искать логарифмическую линейку? Есть ли у нас время поразмыслить, каким образом производит вычисления? Мы не можем прибегнуть к более совершенному способу и действуем по старинке, считаем на пальцах. Эта довольно жалкая по сравнению с логарифмической линейкой процедура не делает нам чести, но мы все равно к ней прибегаем, поскольку она дает результат. Мы используем примитивную процедуру.

Также и в жизни в целом. Каждый раз, когда мы спешим или когда ситуация сложная, мы отказываемся от усовершенствованных трудоемких действий и возвращаемся к старым, привычным, доисторическим действиям — пусть даже несколько нелепым, — поскольку более или менее уверены в успехе. Врач обычно пользуется научными трудами и справочниками о дозах лекарств. Когда он один и есть время подумать, он не выпишет рецепт, не проверив всего, без расчетов. Но когда врач спешит и рецепт требуется быстро, он пишет его по памяти — неточно, но быстро. Это избавляет от осложнений, которые

доставляют новые, недавно открытые действия, поскольку именно недавнее действие всегда трудно и избегается.

Теперь предположим, что жизнь еще более усложняется и ускоряется, и что у нас есть скверная склонность не рассчитывать, не совершать усилие, не думать. Мы прибегаем к давнишней реакции доисторических времен, и когда речь идет об ответе на деликатный вопрос, мы катаемся по полу в конвульсиях, как это делает лягушка под действием тока. Это — возврат к примитивной реакции.

Таким образом, заурядная сильная эмоция — поведение, организованное в гораздо большей, чем считалось, степени. Эта реакция — назовите ее, если хотите, реакцией отката назад или упрощения — знаменует возврат к элементарным и примитивным формам реагирования. Полагаю, если изучать эту реакцию, можно найти ключ ко всем проблемам эмоций. Висцеральные расстройства, которым придается огромное значение, — ее последствия. Висцеральные функции — это функции примитивные. Вероятно, некогда именно сердечные, пищеварительные реакции играли наиболее важную роль. Первые животные на множество обстоятельств жизни реагировали рвотой и срыгиванием и только значительно позже стали реагировать движением членов тела. Возврат к висцеральным реакциям — это своего рода регресс, упрощение.

Мы приходим к заключению, что эмоция не представляет собой чего-то экстраординарного. Это такая же реакция, как другие вторичные реакции.

Итак, я мог бы описать происходящее с девушкой следующим образом. Она слышит фразу своего отца, понимает ее: это первичная реакция. Если бы здесь не было первичной реакции, она ничего бы не поняла. Однако она поняла общую мысль: «мой отец говорит о параличе, у него будет паралич». В ответ на это следовало бы совершить сложную реакцию — успокоить отца, позаботиться о нем. Однако эта молодая особа не готова к трудной роли сиделки и резкой перемене в жизни. Поскольку она не может совершить этой первичной реакции, она замещает ее другой, элементарной, которая является регрессией: «Я не знаю, смогу ли ухаживать за ним как сиделка, но, возможно, мне удастся его вылечить, катаясь по полу». Она возвращается к примитивной реакции.

Если вы поняли эту общую идею о примитивных эмоциях, остается только применить ее к другим чувствам. Другие чувства также являются вторичными реакциями, регуляторами действия, но такими, которые постепенно совершенствовались. Мы не все время остаемся на уровне поведения лягушки, достигнут прогресс, и среди наших вторичных реакций есть более совершенные. В прошлый раз я приводил аналогию с автомобилем, в котором есть не только мотор, но и акселератор, и тормоза. Так и у нас есть реакции ускорения и торможения: эмоциональная реакция совершенствуется.

Перейдем к другой группе больных, весьма своеобразной. Этих больных очень много, и в определенные периоды мы все оказываемся в подобном состоянии. Это люди, все время находящиеся под давлением, в напряжении, — иными словами, жесткие. Быть жестким, испытывать на себе давление — это состояние знакомо каждому. У некоторых людей напряженность написана на лице, мышцы которого скованы. Они все — как натянутая струна, их движения походят на движения манекена, и передвигаются они монолитно. Они столь же жесткие психологически, как и физически: им недостает гибкости, мягкости. Их реакции избыточны, чрезмерны: если над ними подшутили, они впадают в ярость или совершенное отчаяние, а если сделали небольшой комплимент, они несказанно горды.

Эти люди становятся жертвами самых разных болезней. Им кажется, что их преследуют, они чрезвычайно злопамятны, придают самой безобидной шутке огромную важность и месяцами — и даже годами — помнят, что им сделали плохого или чего для них не сделали. Они тратят массу сил на борьбу с обществом и по малейшему поводу впадают в болезненное состояние. Это состояние — столь любопытное, что мы уже долго не оставляем попыток его описать, но все еще плохо понятое, — состояние навязчивости.

Страдающие от навязчивых состояний люди слабы, подавлены. Но это не меланхолия и не инертность: напротив, они постоянно напряжены. Человека, страдающего навязчивостью, отличает от человека, спешащего или просто испытывающего давление, то, что его тревожная

поглощенность — его собственный выбор. Вот бедная женщина, которая на протяжении десяти лет тревожно спрашивает: «Что же я могла такого сказать в пятницу в феврале месяце, пятнадцать лет тому назад? В тот момент я, должно быть, сказала что-то опасное, дала обет дьяволу. Принял ли его дьявол всерьез? Это опасно или нет?» Днями и ночами она будет себя этим мучить. Что это за состояние ума?

Эти люди, скажете вы, просто глупы. Нет, они прекрасно понимают абсурдность этого состояния, но у них есть пагубная привычка придавать значение подобным глупостям. Они привыкли относиться и воспринимать все серьезно и трагично и вкладывать эту серьезность в моральные, религиозные или денежные вопросы.

Страдающий навязчивостью напряжен, но разве напряжение мы находим только у этих больных? Увы, нам всем знакома болезнь совершенно естественная и гораздо более распространенная. Возьмем влюбленных. Кто не влюблялся в своей жизни, и не раз? Психологически это чувство легко понять. Что такое любовь? Любовь — прекрасная психологическая иллюзия, вера в то, что определенный человек может заставить нас жить, прибавить жизненной энергии, защитить, придать нам отсутствующие у нас силы и способности. Иллюзия такого рода довольно естественна: это, впрочем, создает социальные отношения людей друг с другом — те пажиты, на которых мы постоянно ищем себе пропитание. Мы ищем силу в чувстве других. Как когда-то говорил Уильям Джемс, наше верование — не что иное, как вера в веру другого. У нас всегда есть потребность на кого-то опираться. Но когда у влюбленных начинаются трудности? Да когда бедный влюбленный принимает это всерьез. Он воображает, что существует только этот эликсир жизни, и что только он даст ему счастье. Влюбленные — это временно одержимые, и их приступ навязчивости проявляется в точности таких же условиях и с теми же проблемами, что и у настоящих одержимых.

На что психологически похоже это состояние? Оно, как и предыдущее, представляет собой реакцию на житейские трудности. Жизнь кажется влюбленному сложной, а он сам — неловким и неудачливым. Он реагирует на эти трудности. Это удивительная вторичная реакция, — но,

в конце концов, не больше того. Навязчивости заключаются в разрастании первичного действия. Женщина, пытающаяся вспомнить что-то из своего прошлого, совершает акт поиска, памяти. Если делать его спокойно и просто, понадобится минута. Вопрос: «О чем я думала в пятницу вечером в феврале пятнадцать лет назад?» — не заслуживает более двух минут размышлений. Но поскольку больная напряжена, тревожна и непомерно упряма, она будет искать ответ до бесконечности. Таким образом, это реакция преувеличения действия. Все это возвращает нас к феномену усилия.

Усилие заключается в увеличении первичного действия. В машине такое устройство называется акселератором. Мы можем ускорять простые реакции, и постепенно устройство для ускорения выделилось из примитивной эмоциональной организации. Внимание, повторение, физическое усилие, психологическое усилие — все это разные формы акселерации.

Но это еще не все. Я предлагаю вам подумать о других окружающих нас людях, которых вы постоянно видите. Кроме напряженных людей есть еще и те, которых я называю мрачными, инертными — или, объединяя оба слова, случаи мрачной инертности. Этих больных можно было бы охарактеризовать типичным для них вопросом: «А зачем?» Сколько людей повторяют это целыми днями! Им скучно дома. Вы предлагаете им надеть пальто и пойти прогуляться, а они вам отвечают: «А зачем? Что толку?» — Предлагаю вам пообедать в городе. — «А зачем?» — Почитайте книгу. — «А зачем?» И так обо всем.

Я вам часто рассказывал о своем наблюдении за молодой иностранкой, у которой была удивительная манера все объяснять. Она объясняла свой характер впечатлениями раннего детства, что было абсолютно химерично, поскольку ее характер отражал нечто другое. В восемь-девять лет она увидела на стене в квартире своей тети очень странную картину, которую не поняла. На картине были изображены соединенные в цепочку кости двух скелетов, а внизу надпись по-английски: «What's the use?» («В чем смысл?»). Девочка была очень озадачена и стояла перед картиной как вкопанная, не решаясь спросить, что она означает. К сожалению, ей казалось, что она нашла

объяснение: скелет символизирует смерть, а фраза внизу означает: «К чему прилагать усилия, зарабатывать деньги, быть добродетельной, получать образование, когда всему конец один — смерть, когда все мы станем высохшими костями?»

С этого момента она всю свою жизнь по любому поводу повторяет эту английскую фразу. Это сформировало ее характер, в котором были дурные и сильные стороны — не только эгоистическое безразличие, но и безрассудная смелость. Я наблюдал у нее странное поведение. Ей пришлось лечь на серьезную и опасную операцию, и я был поражен ее безразличием к болезни, совершенно необычным в подобных обстоятельствах. Она продолжала говорить: «И что из этого? К чему все это?». Я настаивал: «Но, в конце концов, вы же не хотите умереть?» — «Нет, я ничего не хочу. Я больше не боюсь смерти».

Такие случаи очень часты. Мрачная инертность наполняет жизнь многих людей. Иногда она продолжается неопределенно долго, иногда появляется в периоды депрессии. Эта мрачная инертность берет начало в другой реакции, столь же важной, что и усилие, — реакции усталости, отдыха. В нас есть аппарат торможения, как и аппарат увеличения скорости. Первичное действие иногда надо остановить и ослабить, иногда — усилить. Временная остановка, прерывание действия часто необходимы для восстановления сил. Реакция временной остановки — начало мрачной инертности.

Нам остается понять две значительные реакции, два важных чувства, определяющих нашу жизнь. Регуляция действия не ограничивается только изменениями в действии во время его осуществления. Мы должны прежде всего уметь действие завершать. Те из вас, кто слушает мои лекции уже давно, к этому привыкли; я говорю об этом годами. Психологи мало изучают действие или же изучают только его состав, совершаемые нами движения ног, рук, сердца, артерий. Но в действии главное — его выполнение, — как оно начинается, длится, заканчивается. Способный деловой человек — не тот, кто много знает, а тот, кто верно действует, умеет начинать и завершать дело. Уметь заканчивать не менее важно, чем начинать. Многие люди, когда они истощены или в силу случайных

обстоятельств, позволяют действию заканчиваться как попало: они не завершают действие активно, произвольно.

Сколько психических болезней, о которых я вам говорил, оказываются именно болезнями завершения. Лет двадцать назад я уже рассказывал, как в Сальпетриер привезли бедную девушку, подобранную на кладбище Пер-Лашез. Почему ее привезли в больницу для невропатов и психически больных? Да потому, что она странно себя вела. Ее нашли около могилы, которую она пинала, била, оплевывала и ругала последними словами. Когда у нее попросили объяснения, она ответила одной фразой: «Но это же могила моей мачехи». Еще можно было бы понять такое поведение, если бы мачеха была жива. Однако она умерла полгода назад. У девушки было расстройство поведения.

Поведение, связанное со смертью, — это поведение завершения, и вся патология и антропология смерти покоятся на психологии завершения. То, что социологи называют ритуалами закрытия, погребения, — не что иное, как церемонии завершения жизни, истории человека. Эта история не будет завершена, если не рассказать ее всему миру торжественным образом.

Итак, важно уметь завершать. И наука завершения покоится на особенном, исключительно важном поведении. Существуют две формы такого поведения: завершение неудачей, поражением и завершение успехом.

Уметь завершать действие поражением — очень сложное поведение. Есть люди, не умеющие проигрывать. Не совершая поведение неудачи, они переживают проигрыш в десять раз тяжелее. Поведение неудачи — особая форма поведения: оно сокращает наши расходы на действие, уменьшает потери: «В этом коммерческом предприятии я потерял много денег. Я с этим покончу. Я не собираюсь бесконечно расходовать». Прекращение расходов очень важно и очень трудно, поскольку после остановки неуспешного действия нужно предпринять другое: поведение неуспеха предполагает способность к трудному поведению изменения.

Поведение триумфа также является вариантом завершения, останавливающим первичное действие, которое на этот раз замещается высвобождением сил. Вместо упраздненного нами первичного действия мы можем заняться

чем угодно: можем развлекаться, тратить силы, расточать их во всем организме. Это особая реакция триумфа.

Реакции поражения и триумфа очень сложны. Уметь печалиться и радоваться — это уже прогресс жизни. У отсталого человека существует только эмоция начинания, — конвульсивная, простая эмоция. В более продвинутых случаях появляется эмоция завершения, эмоция радости или грусти.

Эмоции все больше и больше усложняются, обычные чувства — усилия, усталости, интереса, грусти, радости — совершенствуются. Усложняются также способы их выражения. К разным формам поведения присоединяется язык, а также привычки и церемонии. Когда мы радуемся, мы зажигаем фейерверки, возносим благодарственную молитву, проходим под триумфальной аркой. Действия традиционной церемонии неизменны.

То же самое в отношении усталости и грусти: они организуются, и эта организация создает внутреннюю жизнь, отличающуюся от жизни внешней. Внутренняя жизнь — начало личности. И первый результат, первое следствие этой жизни чувств мы рассмотрим в следующей лекции: речь идет о такой важной и трудной проблеме, как сознание.

7 ЯНВАРЯ 1929 Г.

7. ПРОБЛЕМА СОЗНАНИЯ

В завершение первой части курса об эволюции личности, то есть части, касающейся ее элементов и телесной личности, у нас осталось еще две лекции: сегодняшняя по проблеме сознания, и в следующий четверг — о феномене, который можно назвать осознанием.

Сегодня мы займемся проблемой сознания. На самом деле о ней можно говорить бесконечно, поскольку она рассматривается во всевозможных смыслах. Слово «сознание» используется применительно к душе, бытию, божественности. Считается, что всякое метафизическое существо обладает сознанием. Сознание рассматривается в смысле моральном, социальном — во всевозможных смыслах. Но в то же время существует и психологическая

проблема сознания. В чем же заключается психологический феномен, называемый сознанием?

Вспомним для начала общее представление о сознании: этим словом обозначается знание живого существа о том, что происходит с ним самим и, вследствие этого, в его организме. Как осмыслить это знание, каково его место?

Прежняя психология около тридцати лет назад дала этой старой проблеме любопытную и проницательную трактовку. Вы найдете ее, в частности, у философа Гарнье. В его книге есть глава с малопонятным названием: «Является ли сознание специальной способностью?». Что он этим хотел сказать?

Во времена Гарнье под специальной способностью понималась группа психологических феноменов, обособленная от других, нетождественная им, которую следует изучать отдельно. Гарнье применяет эту категорию к проблеме сознания и задается вопросом: должно ли оно рассматриваться как особый психологический феномен, отличный от других, или же, напротив, сознание является общим свойством всех психологических феноменов, и ему не надо посвящать отдельную главу.

Эта давняя проблема почему-то всегда привлекала мое внимание. Помнится, в юности (сколько времени улетело с тех пор!) на занятиях по философии я писал работу: «Сознание как специальная способность или как общее свойство всех способностей». Я прочитал впоследствии множество докладов на эту захватывающую тему. Она на самом деле еще интереснее, чем полагают, поскольку за этими немного книжными терминами, ставшими уже привычными, стоит само определение психологии, общая проблема природы психологических явлений.

Что представляет собой психологическое явление? Все ли психологические явления характеризуются сознанием? Если это так, то изучению специального феномена, называемого сознанием, нет места, поскольку все психологические явления сознательны.

Таким образом, на карту поставлено само определение психологии, и этот вопрос рассматривался уже у авторов прошлого. Впрочем, его обсуждение часто сводилась, так сказать, к интеллектуальному развлечению, игре словами.

Действительно, для философов эпохи Декарта, Лейбница, Кондильяка и Гамильтона психологический факт нельзя определить иначе как через сознание. Психологический факт — факт обладания сознанием. По этой причине сознание никогда не рассматривалось как специальная способность. Такой проблемы не существовало: ее совершенно исключало само определение психологии.

Наша позиция будет иной: возможно, мы находимся в более выгодной ситуации, чтобы взяться за эту общую проблему.

Для нас психологический факт был определен еще до того, как встала проблема сознания. Лет двадцать назад мы начали рассматривать предмет психологии как совокупность действий человека, которые можно изучать как извне, так и изнутри, оставив сознание в стороне. Я вам тогда говорил: «Простите меня, но мы будем долго говорить о психологии, практически не касаясь сознания. Несомненно, в какой-то момент мы доберемся до проблемы сознания, но когда именно — не знаю». Мы подошли к ней лишь через три-четыре года.

Итак, для нас психологический факт может быть определен, даже если ничего не говорится о сознании. Психологический факт — это поведение живого существа, внешнее, а не внутреннее поведение. Это совокупность движений, действий, слов, всего, что это существо может сделать и что можно воспринять извне, что исходит от организма и достигает внешних объектов. Определение психологического факта как «внешнего поведения живого существа» не зависит от тех или иных представлений о сознании. Существует оно или нет, это ничего не меняет в определении, поскольку речь в нем идет о внешнем поведении живого существа.

Как и все общие определения, это определение весьма непростое: в нем кроется большая проблема. Внешнее поведение живых существ складывается из движений — языка, губ, рук, ног. Вы сразу оказываетесь перед вопросом о различении движений живых и неживых существ. Посмотрите на снежинку. Ее движения очень похожи на человеческие: она опускается, описывает траекторию, следует определенной кривой — одним словом, совершает движения. Наше определение оказывается перед огромной,

плохо решаемой на сегодняшний день проблемой, мало изученной даже физиками: разграничение движений неорганических тел и живых существ.

Можно сказать, что эта проблема не должна быть обязательно разрешена. Мы знаем, что живое существо и его движения изучаются, даже если их природа не очень ясна.

Впрочем, есть некоторые проблески, указывающие нам направление исследования. Думаю, эту проблему можно разрешить, только учитывая вопросы о времени и свободе. Это большая метафизическая проблема, фундаментальная для физических и естественных, биологических наук. Движения физического тела регулярны и детерминированы: каждый последующий момент движения не содержит ничего, чего не было бы в предыдущем моменте. В отличие от этого движения живого существа неизменно предполагают явный или же неразличимый невооруженным глазом прогресс — изменения во времени. Иногда эти изменения становятся заметны только через несколько поколений, но тем не менее они существуют. В движении живого существа всегда есть что-то уникальное.

Как бы то ни было, у нас есть понятие психологического феномена, независимого от сознания. Сознание может к нему присоединяться, но психологический феномен уже существует сам по себе, его можно определять и понимать независимо.

При таком подходе проблема Гарнье имеет смысл. Как нам быть с сознанием? Идет ли речь об общем свойстве всех движений живых существ или же об особой характеристике определенных движений? Мне кажется, проблема Гарнье гораздо яснее сегодня, чем во времена самого Гарнье, когда руководствовались исключительно умозрительными аргументами.

Как она может решаться? От чего это зависит? С моей точки зрения, от одного-единственного слова или вопроса, который можно принимать или не принимать. Сознание будет специальной способностью, если найдутся движения, в сравнении с другими более элементарные и не являющиеся сознательными. Если это так, то проблема решена: сознание добавляется к некоторым движениям и становится особым поведением, — говоря

словами Гарнье, специальной способностью. Если же нет, сознание остается общим свойством, характерным для всех живых существ.

Таким образом, мы возвращаемся к давней проблеме — проблеме бессознательных актов или движений. Она ставилась в философии прошлого, исследовалась уже Лейбницем и вызывает особый интерес, служит для уточнения и определения сознания. Сознание рассматривается либо как общее, либо как специальное свойство, в зависимости от того, отвергаете вы или допускаете существование некоторых явлений, не характеризующихся сознанием. Это знаменитая проблема бессознательного, как говорилось во времена Шопенгауэра и Гартмана, или подсознательного, как говорил позднее я, когда речь шла о феноменах отчасти сознательных, не совсем лишенных сознания.

Итак, перед нами проблема бессознательного. Как нам размышлять над ней?

Мы находим у философов прошлого давнюю дискуссию, пережившую уже свой звездный час. На продолжении ее сегодня мы не настаиваем, поскольку постановка вопроса представляется нам неверной.

Лейбниц, а позднее — Кондильяк, английский философ Гамильтон и многие другие — хотели доказать существование бессознательного тем, что называли малыми восприятиями, которые слишком малы, чтобы осознаваться, но которые все же являются восприятиями. Вот как рассуждал Лейбниц: он рассматривал шум прибоя, волны, набегающие на песок. Каждая волна состоит из маленьких капель. Общий звук, который вы слышите, — это суммарный удар всех капель о песок или скалу.

Однако одна-единственная капля морской воды, падая на песок, не производит никакого воспринимаемого шума. Именно общее действие делает возможным восприятие и, как следствие, сознание, и это общее состоит из огромного множества мельчайших явлений, которые сами по себе не осознаются. Поскольку общий феномен — восприятие шума волн — существует, то и вклад каждой капли также должен запечатлеться в нашем разуме, хотя и без нашего ведома. Это малое восприятие, малое неосознаваемое восприятие.

Гамильтон приводит другое сравнение. Он говорит: в лесу можно услышать гусениц, поедающих листья деревьев: миллионы гусениц, жующих листья, создают некоторый шум, хотя одна-единственная гусеница не производит никакого шума.

Существует множество примеров такого рода, приводимых разными философами.

Этот довод мне не по душе. Он мне не кажется достаточно логичным. Он покоится на постулате, согласно которому наиболее мелкие элементы имеют то же свойство, что их сумма, и десятая часть силы должна привести к одной десятой результата. Это вовсе не столь очевидно. Если вы положите на весы гирию в десять килограммов, гирия опустит чашу весов, и та чаша, на которой лежит меньший груз, поднимется. Если вы положите на чашу весов гирию весом в один грамм, чаши не шелохнутся. Однако один грамм — это одна десятитысячная гири в десять килограммов: тем не менее он не приводит к изменению в одну десятитысячную. Почему? Вследствие некоторых хорошо известных законов причинности.

Для того чтобы причина произвела действие, сначала нужно преодолеть сопротивление. Еще до того, как достигнут результат, как поднимется гирия, следует победить трение, сопротивление весов. Чаши весов держатся на своих цепочках, и это трение должно быть чем-то преодолено. В килограммах, которые мы кладем, есть часть — пять или десять граммов, — которая в действительности служит не как гирия, а для преодоления различных сопротивлений. Одним словом, отнюдь не очевидно, что такая-то часть целого должна воспроизводить такую же часть результата. Волна производит в ухе некоторую вибрацию перепонки, которая дает начало звуку. Если вы снизите шум волны, вы придете к вибрации столь малой, столь слабой, что она не сможет преодолеть сопротивление барабанной перепонки и ни к чему не приведет. Таким образом, все эти рассуждения не доказывают существование подсознательного.

Дискуссии такого рода совершенно недостаточны. Они приняли совершенно особый поворот во времена моей молодости — лет тридцать назад, в период интереса к определенным больным: истерикам, гипнотизируемым,

ПСИХОЛОГИЧЕСКАЯ ЭВОЛЮЦИЯ ЛИЧНОСТИ

внушаемым людям. Отмечали особый характер их действий, в которых иногда проявлялось сознание, весьма отличное от обычного.

Можно было бы привести множество примеров, поскольку мы в то время изучали самые разные случаи. Среди них и хорошо известный вам феномен внушения отсроченного действия. Бернгейм в то время вновь поднял проблему внушения, уже изучавшуюся до него магнетизерами и столь прекрасно описанную профессором Высшей политехнической школы Бертраном, чьи работы по магнетизму и сомнамбулизму гораздо интереснее работ самого Бернгейма и его школы.

Вам известно, в чем состоит феномен внушения. Если некоторым людям дают приказ, внушают определенную мысль или фразу, они это исполняют: слово незамедлительно становится убеждением и действием. Но в некоторых случаях исполнение отделено от слова более или менее длительным интервалом времени. Это и называют отсроченным внушением. Человеку говорят: «Вы выполните такое-то действие, поднимите руку или покажете нос в тот момент, когда встретите господина такого-то».

Одно из отсроченных внушений было особо любопытно и сорок лет назад вызвало бурную дискуссию: речь идет об отсроченном внушении счета. Испытуемому во время гипнотического состояния внушается команда вернуться. Не называется ни даты, ни точного времени. Вы говорите: «Вы вернетесь через восемь дней, только через восемь дней». Затем вы будите испытуемого и больше не касаетесь этого вопроса. Как это внушение может действовать? Каков его психологический механизм?

Заметьте, что слова «восемь дней» не указывают на дату и не предполагают никакого знака на циферблате. Речь не идет об ассоциации идей. Это и не сигнал, который должен пробудить в голове испытуемого мысль о возвращении. Восемь дней — это абстрактная цифра, это число существует только для производящего подсчеты ума, вне разума его нет. Восемь дней могут меняться в зависимости от того, с какого дня начинать отсчет; в этом нет никакой определенности. Чтобы внушение действительно работало, необходимо наличие в мысли человека некоторого числа

элементарных, известных каждому посылок, которые мы постоянно осуществляем. «Команда была мне дана в среду во столько-то часов. Этот четверг — первый день, пятница — второй, суббота — третий». Нужно, чтобы каждый день человек отсчитывал на пальцах число истекших дней, пока не дойдет до слов: «Сегодня — восьмой день». Эта вербальная формула станет сигналом и приведет к выполнению команды. Это будет совершенно естественная ассоциация идей. Но до достижения умозаключения: «Сегодня — восьмой день» — существует целая промежуточная серия размышлений, небольших подсчетов: «это — первый, второй, третий день».

Эти умственные действия и мысли не составляют никакого труда, мы совершаем их все время. Но обычно они обладают особым свойством: они осознаны и существуют лишь благодаря сознанию. Мы вспоминаем дату или отданный приказ и говорим себе: «Приказ был отдан в среду, следовательно, четверг — это первый день». И каждый день мы думаем о дате «это — второй, третий день». В нас совершается целая совокупность психологических операций.

Однако — и тогда, и сегодня — загипнотизированный испытывает нечто весьма странное: знаменитую сомнамбулическую амнезию. После гипнотического сна он полностью забывает все, что ему говорили, утверждая: «Вы мне не назначали никакой встречи. Я ничего не помню». На следующий день у него в сознании ничего не всплывает, он не говорит себе: «это — день первый, второй». Казалось бы, у него амнезия, и он не следит за последовательностью, не считает дни, чтобы прийти на восьмой день. Ведь эти операции обязательны, и если они не выполняются, испытуемый в назначенное время не вернется. Но на самом деле он приходит точно в назначенный день и час. Этому удивительному факту давали следующее объяснение: «Очевидно, психологические операции производились испытуемым, здесь нет ни тени сомнения. Они производились полностью и правильно, но испытуемый не отдавал себе отчета о них, не мог объяснить их, это не было сознательно». Вот то, что сорок лет назад называли феноменом подсознательного, который, с одной стороны, имеет все характеристики психологических операций, по-

скольку счет — это, конечно, психологическая операция, — а с другой стороны, не является феноменом сознания как знания о том, что происходит в тебе самом, поскольку испытуемый совершенно ничего не подозревает.

Такого рода наблюдения многократно повторялись, их огромное множество. Простая сомнамбулическая амнезия — забвение, которое отмечается в случаях сомнамбулизма, — также относится к этой группе явлений, поскольку не является полным. Если бы забвение было полным, ничего из того, что происходит во время сеанса, не имело бы никакого влияния на жизнь испытуемого. Однако многое из того, что оказывает влияние, не отражено в обычной памяти, и все же проявляется в последующих сомнамбулических состояниях. Таким образом, существуют психологические феномены, которые продолжают оказывать влияние после окончания сомнамбулизма, и тем не менее человеку кажется, что он о них ничего не знает.

Когда-то мы описывали эти подсознательные феномены в сложных случаях, где их ранее не находили: при исследовании феноменов паралича и анестезии.

Бернгейм — как обычно, вслед за Бертраном, — описал случаи внушения испытуемому систематической анестезии, ограниченной одним конкретным объектом. Он дал этому феномену странное название: негативная галлюцинация. При позитивной галлюцинации человек видит объект, при негативной — восприятие объекта подавляется. Например, Бернгейм говорил человеку, находящемуся в гипнотическом сне: «Вы не видите эту пачку бумаги, она не существует, вы не можете ее видеть», и тот, пробудившись, подтверждал, что на столе нет бумаги: бумага исчезла.

Я с горячностью доказывал, что это внушение сложнее, чем думают, и, по сути, абсурдно: человек продолжает видеть объект, но не верит тому, что видит.

В 1886 и 1889 гг. я описал опыт, который состоял в выкладывании на столе десятка маленьких квадратиков бумаги. На некоторых я поставил карандашом кресты и внушил испытуемому, что карточки, отмеченные крестиком, не могут быть увидены, что он совершенно их не видит.

Разбудив его, я выложил все карточки на столе и попросил их сосчитать. Он насчитал только шесть, проигнорировав четыре карточки, отмеченные крестиками. Очевидно, чтобы проигнорировать эти четыре карточки, необходимо видеть крест, и если бы он его не видел, то не смог бы их проигнорировать. Следовательно, испытуемый, если бы хотел, мог бы сосчитать все десять карточек. Его зрение не изменилось.

Можно повторить этот опыт весьма потешно, что я и сделал в свое время, взяв десять карточек, написав на одной из них «невидимая» и предложив испытуемому их сосчитать. Он сосчитал их все, кроме той, что была «невидимой». Следовательно, восприятие действительно было полным, совершенно реальным и безусловным, но испытуемый, казалось, его не осознавал.

Эти феномены встречаются при параличах, а также в явлении, о котором мы с вами говорили несколько недель назад в связи с кинестетическим чувством, — при катагонии. Я описывал больную, чья рука, будучи поднятой, оставалась в воздухе и сохраняла это положение сколь угодно долго. Это, однако, не было истерическим феноменом: речь не шла о явлении внушения в собственном смысле этого слова. Я рассказывал вам, как вешал на застывшую в воздухе руку пациентки, вне поля ее внимания, шляпу или же клал книгу большого формата, а рука при этом, оставаясь поднятой, успешно держала все эти предметы. Это не простое физическое явление. Если бы было видимое сопротивление локтевого сустава, как у натурщика, который позирует художнику, вес книг разогнул бы сустав. Чтобы рука оставалась в воздухе, необходима адаптация к новому грузу. Поскольку вес книги иной, чем вес шляпы, необходимо к нему приспособиться, а для этого как-то его почувствовать, иметь ощущение груза в руке. Между тем испытуемая держит руку поднятой, ничего об этом не подозревая, и если ее спросить, то окажется, что у нее нет ни малейшего представления о происходящем.

Эти исследования были повторены, в частности, английскими авторами — такими как Герни и Майерс — и дали начало новой волне интереса к феномену подсознательного. Снова заговорили о существовании в душе

феноменов, находящихся ниже уровня сознания. К сожалению, — поскольку во всех исследованиях есть момент везения или невезения — энтузиазм в отношении подсознательного был, я полагаю, слишком велик. На протяжении трех десятилетий подсознательное видели везде и все с помощью него объясняли. В нем находили чудеснейшие свойства. Именно с подсознательным связывались в эпоху Майерса оккультные свойства человеческой души, ясновидение, чтение и передача мыслей — все что угодно. И хотя при обычных обстоятельствах вы эти свойства не видите, все же беспокоиться нет оснований: наше подсознательное проницательнее нашего сознания.

В подсознательном находили не только оккультные свойства, но и всевозможные добродетели. Мне помнится забавный пассаж из работы Гартмана, довольно характерный для того времени. Гартман говорил: «Когда мы смотрим на себя, мы не очень собой довольны. Мы — существа, обладающие низменными вульгарными страстями, довольно ничтожные, мелочные. У нас мало возвышенных, религиозных идей, и большую часть юности мы проводим, забыв о Боге, который, между прочим, нас хранит. Но утешьтесь: внутри нас, в глубине души существует подсознательный инстинкт, который бдит, молится и возвышается вместо нас. Именно он обладает отсутствующей у нас религиозностью». Это утешает и во многом облегчает трудности существования.

Таким образом, в подсознательное помещались всевозможные чудесные добродетели. А вскоре туда отнесли и все множество физических действий. Именно подсознательное делает нас больными или вылечивает; именно в нем заключен тот формирующий инстинкт эмбриона, о котором я рассказывал вам в одной из первых лекций.

Наконец, недавняя школа психотерапии — психоанализ — помещает в подсознание все, что туда только можно поместить. Она предполагает, что все феномены нашего существования с самого начала жизни оставляют в нас свой след. Подобно тому, как воспоминания сохраняются и в случае видимой амнезии, у нас есть воспоминания обо всем, что происходило в нашей жизни. Все воспоминания существуют, и если мы ничего о них не знаем, то потому, что они подсознательны.

Не будем далеко ходить за примерами: посмотрим, как эта любопытная теория психоанализа объясняет тревогу меланхоликов. Для каждого — и все мы с вами в этом похожи — в самом начале жизни есть неприятный момент, когда мы покидаем чрево матери. Влагалище — место душное, узкое, неудобное: мы чувствуем тревогу, беспокойство. Эта тревога рождения якобы остается в нас, хотя мы явно ее не помним. Каждый раз, когда мы печалимся, испытываем болезненные переживания, тревогу, повторяется момент прохождения через влагалище.

Итак, все объяснялось подсознательным. Оно стало тем удобным ящичком, куда в психологии складывалось все неподвластное объяснению. Я уже много раз пытался протестовать против этого преувеличения, но тех, кто протестует, призывая к умеренности и порядку, слушают редко. Подсознательное подкупает простотой, поскольку оно позволяет объяснить все с помощью невидимых вещей и гипотез, которые невозможно проверить, поскольку они подсознательны.

А затем, как это обычно и бывает, наступило время сильнейшей реакции. Преувеличения доктрин в науке или политике неизменно приводят к противоборствующим бурным движениям, и настала сильная реакция против бедного подсознательного, которое, впрочем, ничего не могло с этим поделать. Первичные, основополагающие опыты были подвергнуты острой критике. Говорили, что эти исследования не столь убедительны, как хотели в то верить, что испытуемые, участвовавшие в них, — люди больные, нервные и чрезвычайно внушаемые, которые все делали и всему верили, чтобы просто сделать врачу приятное.

Эти испытуемые верят, убеждены, что забыли внушение, потому что это доставляет вам удовольствие. Каждый раз, когда вы их спрашиваете, они отвечают: «Нет, я ничего не помню». Эти слова не доказывают, что они действительно забыли. Думать, что забыл, — не то же самое, что действительно забыть; это чистой воды убеждение. На самом деле они ничего не забыли. Также и в случаях, которые Бернгейм считал анестезией. Когда человек вам говорит, что не видит карточки с надписью «невидимая», он говорит искренне. Между тем он кар-

точку видит, зрение продолжает существовать — и даже сознательное зрение, — поскольку, если бы он говорил не о своем убеждении, а о том, что есть, то сказал бы, что отлично знает, что прочитал слово «невидимый». Все объясняется только его верованием.

Вы знаете, что люди могут верить во что угодно. Человека, особенно простодушного, можно заставить поверить всему. Раз уж эти феномены, как утверждается, всего лишь простые верования, они не имеют никакого значения и не доказывают реальность подсознательного.

Эта критика длилась годами. Она была слишком, до нелепости жесткой. Как всегда случается, прежняя мода, сменившись новой, затем возвращается, и мы снова начинаем работать над тем же, что и наши предшественники.

Полагаю, это слишком. В феноменах сомнамбулических и бредовых расстройств есть немало истины. Трудно оспорить факт существования постсомнамбулической амнезии. Вы скажете, что эта амнезия странная? Но это как раз то, что мы отстаиваем, говоря, что она существует лишь в высших, а не в низших, формах сознания. Можно сказать, что она странная, но от этого она не становится менее реальной.

В тысячах случаев из жизни, которые далеки от сомнамбулических переживаний, встречаются подобные амнезии, отвечающие всем критериям истинности. Я часто приводил незатейливый, но показательный пример. Бедная женщина, очень нервная и несчастная в браке, страдала расстройством, называемым фугой: она уходила из дома, исчезала на три-четыре дня, не отдавая себе отчета в собственных действиях, и возвращалась, все забыв.

Во время одной из таких фуг ее нашли в Марселе, где она жила непонятно каким образом, не в силах объяснить, что она там делала. Пользуясь этим обстоятельством, муж намеревался подать на развод, что было очень серьезно: он обвинял ее в измене во время этих фуг. Женщина предстала перед судом, была допрошена, и поскольку суду было не в чем ее упрекнуть, он был к ней снисходителен. Ей предоставили очень простое средство спасения: «Расскажите, — просили ее, — что вы делали с того-то вечера до такого-то. Расскажите, как сели в

поезда, как оказались в Марселе, где поселились и что делали ту неделю. Если вы не сделали ничего плохого, вы без труда скажете, что жили в таком-то отеле, его адрес можно найти и легко навести справки».

Несчастливая женщина очень беспокоилась за себя, своих детей, за все. Она очень хотела ответить на эти простые вопросы, которые сама считала совершенно естественными, но не могла. Наступило полное забвение недели, которую она провела в Марселе. События всплыли лишь некоторое время спустя, когда женщина в гипнотическом состоянии рассказала в деталях все, что делала в Марселе. Это было проверено и оказалось правдой.

Как вы это объясните? А ведь это факт психологический и даже юридический; он разворачивается в судебном присутствии и признается истинным. Не менее очевидно, что какое-то время эта женщина не могла обнаружить эти воспоминания. И даже если мы признаем, что это происходит из-за верования или бреда, сам факт неоспорим. Таким образом, отрицание ранее описанных феноменов во многом преувеличено, и необходимо снова их рассмотреть гораздо более основательно.

Впрочем, даже если признать большую часть этой критики, она не так серьезна, как полагают; в реальности она не отменяет большинство феноменов. Говорят, что эти испытуемые утратили верования. Но не является ли утрата верования частью неизбежных психологических потерь? Не является ли это также частью сознания? Верить, что был в Марселе, — это элемент сознания поездки в Марсель. Утрата этого убеждения и появление убеждения противоположного свидетельствуют о значительном понижении сознания.

Сознание может в той или иной мере исчезать, теряться, и мы видим у психических больных разные степени потери, снижения сознания. Расскажу вам чрезвычайно интересный с патологической точки зрения случай. Сильная эмоция может в большей или меньшей степени вызвать истерические проблемы, о которых мы говорим. Одна женщина дежурила около постели тяжелобольного отца. Ему нужно было подняться, и она его поддержала. Но когда он стоял, поддерживаемый дочерью, с ним случился приступ стенокардии, он упал на нее и умер, а она

не могла его поднять. Молодая женщина была потрясена, у нее не было ни времени ни сил позвать на помощь. Она оставалась неподвижной в течение полутора-двух часов под трупом, который упал на левый бок. И только позднее в комнату вошли и обнаружили ее, поддерживающую умершего отца.

Впоследствии у этой женщины на левой стороне появился ряд невропатических симптомов. Прежде всего возникли нарушения, ставшие сегодня классическими, — психастенические, навязчивые расстройства, описанные мной на предыдущей лекции и называемые чувством пустоты. У этой женщины было впечатление, что ее левые рука и нога, вся левая сторона не принадлежат ей: «Левой рукой двигаю не я. Ущипнули не мою руку, эта левая рука не моя». Любопытная особенность, довольно редкая, заключалась в том, что чувство пустоты дополнялось чувством недовольства и ужаса. Она ненавидела, отвергала левую руку и хотела от нее избавиться, говоря: «Эта рука не моя; я ее боюсь; это что-то чуждое».

Описание похожего феномена вы найдете в «Принципах психологии» Уильяма Джемса.

Хотя сознание левой стороны тела потеряно, если ущипнуть руку, которую женщина считала не своей, она ее отдергивала, — по-видимому, она при этом все чувствовала. Тем не менее она говорила: «Я чувствую, что вы делаете мне больно, меня ущипнули, но вы ущипнули не меня». Иногда с рукой происходили более распространенные нарушения, такие как простой истерический паралич, а иногда рука и нога были полностью парализованы и нечувствительны: можно было их щипать и жечь, без всяких реакций со стороны пациентки.

У этой больной возникали то одни, то другие симптомы: и те и другие свидетельствовали о снижении, изменении сознания. Сознание, таким образом, может быть снижено, редуцировано или даже упразднено. Оно состоит из множества операций, и то, что называют подсознательным, это — сохранение некоторых элементарных операций при исчезновении высших действий.

Следовательно, существование феноменов подсознательного вполне вероятно: мы видели их у больных с пониженным сознанием. Это еще более походит на

правду, если рассмотреть эволюцию психологических явлений. Психологические явления — формы поведения живого существа, в простейшем случае определяющиеся внешней стимуляцией. Внешний мир ударяет по нашим рукам, глазам, ушам и определяет ответные реакции. Но существует много других процессов, происходящих в нас без внешней стимуляции.

Существуют также феномены, которые мы начали изучать на прошлой лекции, — проприоцептивные рефлексy, определяющиеся изнутри нас самих. Например, мы говорили о кинестетическом чувстве: оно берет начало в регуляции наших движений. Я совершаю движение рукой, что вызывает реакции, разными способами управляющие, продлевающие или останавливающие это движение. Можно было бы привести и другие примеры. Все проприоцептивные рефлексy надстраиваются над рефлексами на внешние стимулы.

Можно было бы начать с такого общего представления о сознании. У простейших существ есть только экстрацептивные рефлексy. Если их ущипнуть, ткани на это реагируют. Ожог вызывает отдергивание конечности животного; это движение, вызванное внешним воздействием. Можно предположить, что у примитивных существ, кроме этих движений, долгое время ничего нет.

Итак, я бы сказал, что у этих существ есть психологические феномены, ибо отдергивание при боли, движение руки, подносящей пищу ко рту, пищеварение, экскреция — явления психологические, но в них нет еще сознания. Оно появляется на второй стадии, когда в отношении первичных феноменов, исходящих от внешнего мира, возникают внутренние реакции, когда мы сами приспособляемся к ситуации, вызванной внешним миром.

По поводу каждого нашего действия в нас происходит внутренняя реорганизация. Сознание — то, что мы добавляем, чтобы упорядочить наши действия, перестроить весь организм, побеспокоенный действием, вызванным извне.

Таким образом, можно говорить о специальной способности, называемой сознанием. Но значение слова «сознание» довольно узкое и не охватывает всего множества операций, надстраивающихся над чисто внешними

ПСИХОЛОГИЧЕСКАЯ ЭВОЛЮЦИЯ ЛИЧНОСТИ

действиями. В следующей лекции, посвященной «осознанию», мы изучим основные характеризующие сознание операции.

9 ЯНВАРЯ 1929 Г.

8. ОСОЗНАНИЕ

Мы подходим к проблеме, представляющейся мне довольно любопытной и лишь недавно возникшей в истории психологии. Это — проблема актов сознания, действий, его конституирующих.

Были времена, когда этой идеи не существовало. Как мы с вами убедились на прошлой лекции, сознание понималось как общее свойство, принадлежащее не только всем психологическим явлениям, но и всем существам. Все они характеризуются сознанием; не существует ничего, кроме сознания. Пример — давнее понятие монады у Лейбница.

Однако оставим эту мысль. В ней может быть своя правда. Это, в конце концов, метафора. Метафизики вынуждены представлять существ в знакомой им форме. Поскольку феномены сознания были им знакомы по личному опыту и считались очень важными, то они приписывали их всем другим существам в мире. Это — философская и общая теория сознания, которая, по сути, не имеет никакого отношения к психологии в собственном смысле слова.

Напротив, с психологической точки зрения существование явлений, совершенно не содержащих сознания, очевидно, как и факт, что сознание добавляется к определенным психологическим формам поведения достаточно поздно и с большими или меньшими трудностями. Мы все привыкли к подобным феноменам и говорим: «Он совершает это действие, сам того не сознавая, неосознанно. Он все осознает гораздо позже».

Сколько было споров по поводу чувств! Вы помните давние работы Рибо о чувствах в подростковом возрасте. Сексуальные тенденции появляются и действуют, но сам подросток их не сознает; он осознает их позже, с большими или меньшими затруднениями. Это справедливо в

отношении всех других чувств. Сколько прекрасных описаний рождения любви найдется в трагедиях и романах! Есть влюбленные, которые ведут себя как влюбленные, и иногда даже их родители или друзья могут сказать «он влюблен». Но сам человек может этого не сознавать, не отдавать себе отчет, и только по прошествии некоторого времени понимает, что действительно влюблен, приходит к осознанию чувства, которого раньше в его сознании не было.

Во всех сферах социальных исследований встречаются подобные явления. Несколько лет назад я вам рассказывал о работе, сильно меня заинтересовавшей: это труд протестантского пастора Рауля Алье под названием «Психология беседы у традиционных народов». В этом чрезвычайно любопытном труде, посвященном феноменам веры, в частности трансформациям верований у традиционных народов, есть две главы, следующие одна за другой: о начале веры и о том, что автор зовет кризисом веры. Это очень разные вещи. Автор повторяет на протяжении всей главы: «Дикари, с которыми миссионер общается, уже в каком-то смысле христиане. Это заметно по характеру, манере говорить и вести себя. Они — христиане, верующие, но этого не осознают и не совершают никаких церковных обрядов, не принимают крещения, не называют себя христианами». Далее в следующей главе рассматривается феномен, который Алье назвал кризисом. Этот кризис знаменует трансформацию: прежняя вера становится осознанной. В один прекрасный день человек говорит: «Да, это правда, я христианин, я изменился, у меня такая вера».

Это явление встречается во всех областях психики. Но лишь последние несколько лет философы отмечают его значимость. Лет десять тому назад мы описали эти феномены, и я предложил термин для его обозначения. Неологизмы не всегда оказываются удачными, но они полезны, по крайней мере на определенный момент. Я предлагал вам называть эту операцию актами осознания (*les actes de conscienciation*), добавляя суффикс *-tion* для обозначения особого действия. В какой-то момент действие становится сознательным. Это осознание (*conscienciation*).

Другое понятие, которое стало употребляться несколько позже, в современной литературе пользуется намного большим успехом. В своих работах по психологии ребенка (1916) и психологии интеллекта (1917) Эдуард Клапаред из Женевы предлагает понятие осознания (*prise de conscience*). Этот термин будет вам встречаться чаще всего.

Таким образом, в нашем распоряжении два термина: несколько искусственный *acte de conscienciation* (акт осознания) и более выразительный *prise de conscience* (осознание).

Клапаред в своих первых статьях проводит серию исследований ребенка и описывает интересный пример осознания. Он изучает суждения о сходстве и различии, как потом будет делать Жан Пиаже. Клапаред считает, возможно, справедливо, что дети легче замечают различия, чем сходства, и ребенок довольно долго пользуется суждениями о различии, не зная, что это такое. Ребенка не заботит вопрос, что такое различие, он не задумывается о том, что в такой-то момент производит особое суждение, его не осознает.

Таким образом, суждение может предшествовать его осознанию. Клапаред говорит в связи с этим об осознании суждений. Думаю, как мы уже говорили ранее по поводу осознания, что это понятие необходимо обобщить, это общее правило. Все без исключения психологические феномены — будь то движения руки, внутренние висцеральные акты, сложные рассуждения — могут трансформироваться в феномены сознания. История нам это показывает, разворачивая перед нами непрерывную эволюцию, в которой осознание возникает более или менее поздно.

Оставим ненадолго элементарные феномены, которыми мы в основном сейчас занимаемся, и обратимся к более сложным явлениям. Один из законов развития живого существа — закон прогресса, который по-английски звучит как «закон проб и ошибок». Уже первые живые существа к нему прибегали: они ошибались и начинали вновь, уже по-другому. Они, таким образом, пробовали метод прогресса уже в самом начале жизни. Между тем в какую эпоху человек впервые заговорил о прогрессе?

Когда появилась идея прогресса? По-видимому, в XVIII веке, самое раннее — в XVI веке у Франсуа Рабле, высказавшего некоторые смутные и оставшиеся недооцененными идеи. Но осознание прогресса пришло именно в XVIII веке.

Итак, вы видите, что осознание распространяется на все: элементарные акты — такие как пищеварение, средние — такие как суждение о различии, о котором говорил Клапаред, и высшие — такие как прогресс. Осознание — это общий закон развития духа.

Итак, мы подходим ко второму вопросу. В чем заключается эта операция? Что делают, когда нечто осознают? Мне бы очень хотелось ответить простым и точным описанием этой операции. Можно было бы предположить, что, как память заключается в рассказе, так и осознание состоит в совершении чего-либо и добавлении этой особой операции к операциям предшествующим. Я так не думаю. У меня не получается сформулировать по этому поводу достаточно ясную мысль. Почему? Потому что осознание присоединяется ко всему — простейшим и высшим явлениям, — но в разных случаях не остается одним и тем же. Осознание представляет собой серию операций, направленных на усовершенствование поведения.

Можно выделить еще одну довольно общую особенность: это усовершенствование в большей степени касается поведения внутреннего, чем внешнего. Итак, мы возвращаемся к теории чувств. Усовершенствование, о котором идет речь, проявляется скорее в нюансах чувств, чем во внешнем поведении — это то, что мы добавляем изнутри к нашему собственному поведению. Оно вновь возвращает нас к проприоцептивным рефлексам. Вот что в целом можно об этом сказать.

Отметив эти общие свойства, укажем, что осознание изменяется в соответствии со сложностью поведения и видом действия. Вначале, когда речь идет о простейших актах, например движении, осознание связывается с чувством равновесия или кинестетическим чувством, которые мы изучали несколько лекций назад. Осознать движение для простейшего существа означает управлять им, его поддерживать, продолжать. Кинестетическое чувство — не просто ощущение, а особый регулятор действия,

поддерживающий его форму и направление. Кататония, например, — держание руки в воздухе в определенном положении — представляет собой преувеличенное и изолированное исполнение кинестетического акта. Хотя кинестетическая регуляция здесь работает плохо, тем не менее, это — акт регуляции.

Таким образом, можно сказать, что простые кинестетические акты и более поздние акты равновесия, служащие для поддержания позы, — это акты осознания. Чтобы человек шел, не теряя равновесия, нужно не просто идти, нужно добавить к ходьбе особый регулятор, обладать сознанием ходьбы. Когда равновесие развивается, можно сказать, что появляется осознание ходьбы, осознание внешних движений.

Несколько позже осознание будет осуществляться при помощи одной из операций, которые я недавно описывал и которые считаю основополагающими: феноменов чувств, эмоциональных регуляторов.

Человек не осознает своих действий, когда по их поводу нет чувств. Наиболее простое из чувств — интерес, заинтересованность в том, что делаешь. Интерес — это когда к уже действующим тенденциям добавляются другие. Человек идет с интересом, когда следит за своей ходьбой, продлевая или прерывая ее, если она вдруг становится более или менее затруднительной.

Появление каких бы то ни было чувств — вторая степень осознания, одна из наиболее важных. Впрочем, именно она на самом деле используется нами для характеристики сознания. Мы не обращаем особого внимания на элементарные формы осознания в случае чувства равновесия, но осознанию посредством чувств мы уделяем огромное внимание. Именно наличие или отсутствие чувств позволяет нам сказать, обладает или нет человек сознанием.

Ранее мы приводили пример, до сих пор не ясный: речь идет о двух формах нервного припадка. Их существование очевидно. Это — первое, что сообщается тем, кто изучает болезни нервной системы: есть припадки, сопровождающиеся и не сопровождающиеся сознанием.

Возьмем, например, эпилептический припадок. Больной вдруг резко падает на пол: он может упасть в любую

сторону, удариться лицом, до крови поранить себя или даже упасть в огонь, не думая об осторожности. Затем его тело сотрясается, он совершает более или менее активные движения без всякого контроля.

Я видел когда-то несчастную женщину, упавшую рядом с печкой. Ее рука, двигавшаяся взад вперед, постоянно билась о горячую печку; чтобы остановить руку, больную нужно было поднять. Движение, таким образом, продолжается без всякого контроля. В элементарных движениях нет места чувству. Мы так и говорим: это припадок без сознания, поскольку нет эмоциональной регуляции.

Рассмотрим отдельно классический припадок истерии у нервных женщин, который когда-то описывался несколько преувеличенно, но это описание все еще важно, реально и точно. Женщина падает совершенно особым образом: прежде всего, она никогда себя не ранит. Как можно упасть и не пораниться? Упасть, не поранившись, — значит упасть не резко, не вниз лицом. Женщина оседает на землю, — скорее укладывается, чем падает. Она совершает размашистые движения, но они не ранят и не наносят ей вреда. Более того, еще во времена Шарко отмечали, что ее позы более или менее пристойны, сдержанны, целомудренны и даже элегантны. Красивая женщина, переживающая истерический припадок, не перестает оставаться красивой; если хотите, ей нельзя выглядеть уродливо и в этот момент. Поэтому даже во время припадков она принимает меры предосторожности, чтобы не испортить одежды, чтобы ее позы оставались более или менее гармоничными. Перед нами два разных припадков — истерический и эпилептический, и мы говорим, что один сопровождается сознанием, а в другом нет и намек на сознание. Разница заключается в том, что здесь присутствует как эмоциональный интерес — избежать боли, не повредить себе, не пораниться, так и интерес социальный — произвести хорошее впечатление на других людей, соблюсти деликатность. Мы имеем дело со второй формой осознания.

Но если мы пойдем дальше, — не задерживаясь на этом надолго, поскольку по ходу курса будем очень часто встречаться с этими явлениями, — то придем к исключительно важной форме осознания, известной

ПСИХОЛОГИЧЕСКАЯ ЭВОЛЮЦИЯ ЛИЧНОСТИ

каждому, — языку и речи. Очень часто нам достаточно перевести действие в речь, чтобы сделать это действие совершенно иным.

Вы помните, что когда-то врачи, — такие как Шарко и Легран дю Соль, — изучавшие патологические навязчивости, фобии, выделили этапы в эволюции этих расстройств. Они разделили первый период — перед признанием и второй период — после признания. Больной с навязчивостью меняется в тот момент, когда однажды признается: «Я человек совестливый, меня не покидают религиозные терзания, угрызения совести». Долгое время он был печален, смущен, но не решался сказать, что с ним. Когда его расспрашивали, он говорил: «Это может показаться смешным, но, в конце концов, я не могу так жить». Наконец однажды он признается: «Произошло страшное несчастье. Я полоскал рот, чистил зубы перед исповедью. Я пропал, я проклят. Я живу этим уже шесть лет». Когда он решается рассказать о себе, его психическое состояние меняется, он становится другим. Лечение, психиатрическое сопровождение этих больных до и после их признания различно.

Что же такое признание? Это — словесная формулировка, адресованная в конечном счете другим, но сначала совершающаяся для самого себя. Мы оформляем события в словах: мы не только гуляем, но и говорим про себя: «я гуляю», и это уже другая прогулка, другое поведение. Язык привносит огромную разницу, и дети в особенности осознают феномен, когда называют его, дают ему имя.

За этим следуют бесчисленные дальнейшие операции, в том числе самые важные, социальные, представляющие собой сравнение нашего мнения с мнением других, — дискуссия, спор, верования личные и общие, рефлексивные, которые можно обсуждать с другими, и, наконец, способность суждения. Одним словом, мы видим, что продлевается и добавляется грандиозная работа.

В общем, можно сказать, что осознание действия — это всегда психологическая операция более высокого порядка, чем само осознаваемое действие.

Интеллектуальный прогресс осуществляется двумя способами, с многочисленными вариациями. Сперва действие начинается и совершается. Маленький ребенок учится

ходить, можно даже сказать — уже ходит. Затем следует второй этап, во время которого у него появляется желание ходить, когда он радуется тому, что ходит, когда у него появляется потребность ходить. Второй этап — это добавление к ходьбе чувства, начало осознания. Третий этап, более продвинутый, возникает, когда ребенок говорит: «Я хожу и хочу, чтобы мне дали ходить».

Так обстоит дело со всеми феноменами. Осознание всегда выше, чем предшествующее действие, к которому оно добавляется. Прогресс психики происходит через последовательные акты осознания.

Можно было бы переписать эволюцию человеческой психики таким образом: первичная внешняя стимуляция вызывает действие, которое вначале довольно несовершенно. Затем происходит осознание этого действия. И, наконец, совершается осознание этого осознания — и так далее до появления суждений, убеждений, абстрактных идей, вплоть до оформления в речах и книгах. Книга почти всегда — не что иное, как осознание чувств и идей эпохи. Идеи, изложенные в книге, уже существуют и находят разнообразное выражение, а в книги попадают благодаря особому акту осознания. Наконец, позже возникают еще больше сложные формы осознания.

Эти общие соображения, которыми мы вынуждены ограничиться, уже довольно интересны и показывают, что есть разные степени осознания. Для метафизиков сознание вещь абсолютная: оно либо есть, либо его нет; либо совершенно с самого начала, либо его не существует; либо тварь бессловесная, либо разумный человек.

В психологии по-другому. Осознание постоянно совершенствуется, постоянно прогрессирует. Мы начинаем со смутной идеи, которую выражаем в беседе. Когда мы слушаем курс лекций о каком-либо понятии или психологическом законе, это новое, более совершенное осознание, и человечество бесконечно совершенствует эти акты. Таким образом, сознание эволюционирует, проходит разные ступени, прогрессирует и может стать всеобщим и могущественным.

Далее, поскольку осознание представляет собой операцию, надстраивающуюся над другими, можно задаться вопросом об его объеме. Это наводит меня на мысль,

ПСИХОЛОГИЧЕСКАЯ ЭВОЛЮЦИЯ ЛИЧНОСТИ

о которой я уже говорил, и которая, мне кажется, еще сегодня представляет некоторый интерес, если понимать ее шире, чем раньше: я имею в виду понятие объема сознания.

Осознание — операция, усложняющаяся постепенно и предполагающая последовательное осознание. Она не совершается постоянно и в отношении всего. На прошлой лекции мы говорили о феноменах бессознательного и описали наиболее яркие случаи, которые можно наблюдать у больных. Но за примерами не стоит далеко ходить. В каждом из нас постоянно присутствует нечто неосознаваемое, в чем мы не отдаем себе отчета. Есть тенденции, только зарождающиеся, есть дурные привычки, в которых мы не отдаем себе отчета и не пытаемся от них избавиться. В нас есть идеи, которые только формируются и которые будут более или менее ложными. Мы осознаем лишь небольшую часть мира: на самом деле каждый из нас обладает своими привычками и способами осознания. Наши умы не одинаковы: одних интересуют гуманитарные проблемы, других — математика или физика. В книге, которую вы читаете, вы осознаете лишь несколько строчек, — те, что связаны с вашими обычными занятиями, которые вы можете понять. Все остальное проходит незамеченным. Сколько книг мы прочитали, не поняв даже общей идеи автора, без осознания, поскольку наш разум не настолько широк, чтобы их охватить. Сознание касается большего или меньшего числа явлений вне нас, и, таким образом, можно говорить об объеме сознания.

Что это за явления, по поводу которых может осуществляться осознание? Здесь я подхожу к размышлениям, которые едва решаюсь сформулировать, поскольку они могут вас удивить.

Обычно считается, что мы осознаем только самих себя, свой ум, свою особу, то, что в нас происходит. В конце концов, я уже говорил вам, что чувства — основной элемент осознания — относятся к нашим действиям, к нам самим. У нас нет иного сознания, кроме как сознания самого себя, и наша личность отождествляется с нашим сознанием. В этом есть своя правда, но есть и заблуждение. Не следует преувеличивать. Существует ряд объектов, на которые я бы хотел обратить ваше внима-

ние, поскольку они, с моей точки зрения, представляют любопытную психологическую проблему. Это — объекты, которые мы можем назвать нашей собственностью или принадлежностью, совокупностью того, что нам принадлежит. Каково наше к ним отношение?

Совокупность принадлежащего нам довольно обширна. Мы все имеем собственность: не только тело, лицо, нос, волосы (по крайней мере, до поры до времени), но и одежда, которая тоже составляет часть нашей личности. Часто замечают, что каждый человек имеет свою манеру одеваться, преподносить себя. Все объекты, составляющие часть нашей текущей жизни — наши бумаги, перья, карандаши, письменный стол, библиотека, — принадлежат нам, связаны с нами, без них мы не можем работать. Украшения, которые мы носим, чтобы отличаться от других, татуировки в прошлом — это также принадлежащее нам.

Нам кажется, что мы достигли большого прогресса, и сегодня вы можете услышать: «Татуировки когда-то делали дикари, мы так не делаем». Мы более изнежены и нам не очень нравится наносить рисунки на кожу тонкой иглой и тушью. Это довольно болезненно, и этим занимаются только вульгарные типы. Но мы сохранили множество феноменов, которые, по существу, являются татуировкой. Скажем так: они претерпели изменения и стали более мобильными, временными.

Когда мы носим украшения — это тоже татуировка, с тем единственным преимуществом, что мы можем ее снять. Существует целая категория знаков и объектов, без которых мы не можем жить в цивилизованной стране и которые, с моей точки зрения, также являются татуировкой. Съездите в Северную Америку, прокатитесь по железной дороге. Там существует довольно странный обычай, к которому надо быстро приспособиться, чтобы не показаться чудачком. Мужчины носят свой железнодорожный билет приклеенным к шляпе, и проводник проверяет, есть ли у них татуировка — то есть билет. Итак, когда мы берем билет в метро или на автобус, мы носим татуировку. Когда мы предъявляем свой билет, это означает: «Посмотрите, у меня есть особое свойство человека, оплатившего свой проезд». Но эту татуировку, когда она мне не нужна, я выбрасываю и беру другую.

Таким образом, мы сохраняем множество подобных маленьких объектов, дополняющих наше тело и нас характеризующих. Они в той или иной степени — часть нашего тела и нашей персоны: если вы опустите эти детали, вам будет весьма трудно понять людей.

Так, по-моему, вокруг принадлежности и собственности можно создать целую психологию. Я говорю это тем из вас, кто ищет темы для исследования. Когда изучают собственность, — а сегодня, полагаю, об этом говорят очень часто, — всегда рассуждают с юридической и моральной точки зрения, очень сложной и чуждой субъекту. О праве собственности спорили на протяжении веков. Существует ли право обладания библиотекой, книгами, с которыми работаешь? Что такое право с юридической и моральной точек зрения?

Но заметьте, что до юриспруденции и кодексов уже были люди, имеющие одежду и татуировки. Собственность есть у зверя — это добыча, которую он поймал. Собственность существовала и до вашего гражданского кодекса и права собственности, которое добавилось к совокупности поведенческих форм — поведения собственности, принадлежности. Я хотел бы, чтобы кто-нибудь написал хорошую работу о собственности с психологической точки зрения. Насколько я знаю, пока есть только одна работа, вышедшая в Италии в 1919 г., — труд Этторе Галли под названием «Nel dominio dell' Io».

Эта книга очень интересна и справедлива во многих отношениях, но недостаточно психологична. Основная идея Галли — в том, что философы неправильно подходят к личности. Личность начинают с «я» и «у меня есть» и из «я» выводят то, что впоследствии станет собственностью. А Галли предлагает начинать изучение с притяжательного местоимения «мое»: как вы называете объект, который является вашим? Ваше я конституируется лишь позднее через множество объектов, вам принадлежащих. Тело, затем одежда, собственность — все это, добавляясь одно к другому, и формирует вашу личность, я.

Совершенно справедливо. Существует психология «моего», и очень сложная. Чтобы доказать существование поведения, соответствующего «моему» и «твоему», я все время возвращаюсь к своей обычной аргументации, опира-

ющей на случаи патологии, — к описанию психической функции через констатацию ее нарушений. Если бы этой функции не существовало, не было бы и ее расстройств. Так, в работе психиатра вы часто видите расстройства чувств, идеи собственности, чувства «моего», которые недостаточно описаны и чрезвычайно интересны.

Прежде всего это достаточно известные больные, преувеличивающие свою собственность. Человек, страдающий общим параличом, всегда считает себя собственником того заведения, на лечении в котором находится. Есть, таким образом, люди, чей жадный ум распространяется на великое множество объектов и называет своим очень многое.

Но мне представляется еще более интересной другая категория больных, к которым я многократно здесь возвращался, — те, кто теряет чувство собственности. Эти случаи очень интересны и встречается гораздо чаще, чем думают. Во многих приступах депрессии, во всех случаях уменьшения психических сил мы сталкиваемся не только с чувствами сомнения, нереальности, смерти других или себя самого, но и с чувством потери собственности. Я описал его в своей последней книге «От тревоги к экстазу», во втором томе, где собрано множество примеров, уже публиковавшихся по отдельности.

Вот один из первых отмеченных мною случаев, поначалу удививших меня, не готового к такому необычному явлению. Молодая женщина после свадьбы постепенно начала впадать в депрессию. Свадьба, церемонии, беременность, — все это во многом ее угнетало, и она была в псевдо-меланхолическом состоянии. Замечали, что она ведет себя странно, необъяснимо. Она не хотела ходить ни в чем, кроме своей старой одежды. Она искала в шкафах старое белье и вещи, отказываясь надевать новое белье и платья, сшитые для нее, которые сама и заказала. Когда ее просили объяснить такое поведение, она отвечала: «Но ведь я права, — носят ведь свою одежду, то, что человеку принадлежит. Ну а у меня есть только эта одежда». Интересно, что одежда, которую она признавала, была куплена до свадьбы, а вся отвергаемая одежда была приобретена после помолвки и свадьбы, как если бы связанные с этим эмоции помешали со-

вершиться акту вступления в собственность, обладания новой одеждой.

Многие больные страдают потерей собственности. Я рассказывал вам о человеке, потерявшем чувство собственности загородного дома и своей квартиры; позднее он ощущал собственность лишь на свою комнату; право собственности возвращалось к нему медленно и трудно, по мере выздоровления.

Когда теряют родных, в этой утрате есть нечто близкое к потере собственности. Когда женщина говорит вам, что потеряла своих детей, что у нее больше нет детей, это еще не значит, что она потеряла естественные чувства. Я видел женщину, которая кормила грудью своего ребенка и хорошо за ним ухаживала, говоря всем при этом, что его потеряла. Чувство потери не разрушало элементарных актов, а затрагивало только чувства собственности: ее ребенок ей больше не принадлежал, она больше не признавала своего мужа мужем, поскольку им не владела, он ей не принадлежал.

Наблюдение, которое мы когда-то детально разбирали, касалось вдовы, у которой было навязчивая мысль, что она никогда не любила своего мужа. Муж только что умер. Она говорила: «Как будто я уже тридцать лет вдова. А ведь муж умер только несколько дней назад. Я не испытываю к нему никаких эмоций, которые обычно чувствуют к недавно умершему, как если бы это был не мой муж, и я спрашиваю себя, кто та женщина, на которой он был женат». Она отдает своего мужа другой женщине подобно тому, как другая больная отдавала свою одежду, загородный дом.

Эта потеря чувства собственности очень часто встречается при депрессии и имеет много форм. Итак, в психических болезнях существуют как расстройства, при которых чувство собственности преувеличено, бесконечно расширено, так и расстройства, при которых чувство собственности сужено и подавлено. Таким образом, чувство собственности — это особое действие. Вы изучаете функцию ходьбы, исследуя параличи. Схожим образом вы определяете функцию чувства собственности, рассматривая его расстройства, увеличение или снижение.

Эти расстройства показывают наличие функции принадлежности, представляющейся мне довольно странной. В общем, она аналогична той, которую я только что назвал осознанием. Объекты, принадлежащие нам, — это объекты, в отношении которых мы испытываем такие же чувства и ведем себя так же, как и по отношению к собственному телу. Мы обладаем своей одеждой, как обладаем своим туловищем или головой; эта одежда в какой-то мере — часть нас самих. Собственность является частью личности, это одно из наиболее интересных и любопытных понятий первой части нашего курса.

Действительно, вначале личность предстает перед нами в довольно неопределенном виде. Первоначально она состоит из приписываемых ей чувств, телесных функций, направления движений. Не следует думать, что этой личности будут свойственны все совершенства, имеющиеся у людей, обладающих речью, моралью, сложными и обдуманными законами поведения. Лишь позднее наша личность начнет выделяться; мы будем отличать себя от соседа, как в принципе отличаем себя от своих бумаг: я прекрасно знаю, что мои бумаги — это не я. Но такое различие будет сделано только с вмешательством социальных тенденций, которые мы скоро начнем изучать.

А вначале эти понятия гораздо более туманны, и если вы возьмете первых существ, низших животных, вы увидите, что их личность неотчетлива. Лучший пример — это поведение животных в отношении детенышей и птиц в отношении яиц и птенцов. У самки — птицы, высиживающей яйца или собаки, кормящей щенка, — встречается довольно странное поведение. Собака или кошка защищает своих детенышей и приходят в ярость, если до них дотронуться или поранить, как если бы дотронулись до нее самой, поранили ее саму. Это — та же личная реакция, та же защита, забота о пропитании, о чистоте для детенышей, как и для самой себя.

Я думаю, мы не сильно ошибемся, если скажем, что у собаки личность очень размыта, и когда у нее есть детеныши, они составляют часть ее самой, как и наша одежда, наши украшения составляют часть нас. Таким образом, вначале, когда речь идет о телесной личности, — един-

ПСИХОЛОГИЧЕСКАЯ ЭВОЛЮЦИЯ ЛИЧНОСТИ

→ ственном, что мы до сих пор изучали, — можно сказать, что ей принадлежащее входит в нее как часть.

Как себя ведет разумное существо, нечто присваивая? Думаю, что здесь важен вопрос чувств. Люди, «потерявшие» свою собственность, больше не чувствуют ни интереса, ни радости. Я просил рассказать об этом женщину, которая «потеряла» загородный дом. Этот дом, говорила она, больше не был ее. Я спрашивал, почему так. «Но этот дом не вызывает у меня тех реакций, которые были у меня в отношении дома, мне принадлежавшего. Когда я думала о том доме, я вела себя определенным образом: за ним надо было ухаживать, содержать в чистоте. Я говорила себе: когда я поеду за город, я возьму с собой такой-то предмет, который надо туда отвезти. Одним словом, я занималась домом, он был мне интересен. Этот интерес приносил радость и удовлетворение. Украшая дом, я испытывала удовольствие, — он вызывал у меня интерес, требовал усилий, вызывал усталость, приносил огорчения и радости».

[ПЬЕР ЖАНПЕ] С приходом болезни эти чувства исчезают. Такие люди больше ничем не интересуются и не испытывают ни от чего радости. То, что вызывало радость и интерес, теряет присущие ему черты, становится безразличным и чуждым. Собственность, таким образом, связана с личностью через общий закон развития чувств.

Итак, мы бегло описали первый период эволюции личности, который я мог бы назвать пространственной, или телесной личностью.

Вначале есть только отдельные действия, никак не контролируемые, ничем не управляемые. Постепенно они обретают контроль, руководство и синтез. Существует совокупность регуляторов, направленных на телесные акты. Эти регуляторы применяются к разным объектам, различающимся, как мы сказали несколько лекций назад, поведением, движениями, которые мы по отношению к ним осуществляем. Мы выделяли две категории объектов: прежде всего это чужеродные объекты, которые меня не занимают, так как не являются частью меня, — гора напротив, деревня, далекие деревья не связаны с моей личностью.

Далее, есть множество объектов, чрезвычайно неопределенных, более или менее связанных с моей особой.

Центр телесной личности первоначально сосредоточен в собственном теле. Она локализуется в разных, хотя и не во всех, частях тела. Не думайте, что мы такие уж собственники своего тела, как воображаем себе. По сути, мы его не очень хорошо знаем. Нам известны лишь те части тела, которые находятся у нас перед глазами. Внутренние части совершенно неизвестны, далеки и нас не характеризуют. И даже внешние, но невидимые части тела также нас не слишком интересуют: форма спины, кожа спины, форма пупка не характеризуют нашу особу; мы себя с ними не связываем. Итак, мы привязываем нашу личность к телу лишь отчасти, в некоторой степени.

Но, кроме собственно тела, есть множество объектов, с которыми мы связываем наше тело. Для птиц — это яйца, птенцы, часто гнездо, у человека — дети, домашний очаг, одежда, разные виды татуировки. Теперь нужно идти дальше. Зародыш личности возник, целостность создана. Мы предполагаем, что она связана с особой группой объектов. Однако нужно, чтобы эта группа выделилась и была уточнена, нужно отделить одни объекты от других. Это усилие будет сделано социальной личностью.

Во второй части курса мы приступим к вопросу о формировании социальной личности, и первая лекция будет посвящена чувствам, приобретшим особый статус, — чувствам социальным и, в частности, социальной любви. Затем мы перейдем к индивидуальной любви и рассмотрим постепенно различные новообразования социальной личности.

ЧАСТЬ 2. СОЦИАЛЬНАЯ ЛИЧНОСТЬ

14 ЯНВАРЯ 1929 Г.

9. СОЦИАЛЬНЫЕ ЧУВСТВА ЛЮБВИ

Личность предстает перед нами как творение человека, одно из его изобретений. Люди создают самих себя, как могут, — хуже или лучше. Мы можем спросить: как, когда, каким образом, путем каких последовательных переходов могла быть создана личность?

Возможно, она возникла очень рано: как говорил английский физиолог Шеррингтон, интеграция организма начинается с первых живых существ и прежде всего с их первых движений в пространстве. Эта интеграция долгое время остается неопределенной, нечеткой, и в последней лекции мы убедились на ярком примере, что у нее нет точных границ. В частности, собственность — неразрывная часть человека, неотличимая от его личности. Эта целостность возникает, строится на основе регуляции движений, на основе простейших чувств, но долгое время еще остается слишком примитивной, незрелой.

На протяжении многих лет в философии развивалась концепция, в которой истина перемешалась с преувеличениями и согласно которой личность является творением человеческого общества, творением социальным. Личность, разумеется, создана людьми, но людьми, объединенными в общество, чтобы им отличаться друг от друга и построить определенную иерархию. Именно общество изобрело и создало личность.

Эта идея выдвигалась разными авторами. Вы найдете ее прежде всего у Уильяма Джемса: он утверждает, что личность очень изменчива и существует множество ее форм. Помимо телесной, есть личность моральная, религиозная и в первую очередь социальная, которой он уделяет основное внимание.

Американский философ Джошуа Ройс сделал эту мысль Джемса центральной для всех своих трудов. Человек для него — не что иное, как социальное образование, существующее только в обществе и для общества. Вне общества у человеческой личности нет оснований. Ройс настаивал на важности костюма, о чем мы недавно говорили, социальной ситуации, командования и подчинения другим людям. Он впервые четко описал личность как социальное творение.

Эту теорию, у Ройса метафизическую и философскую, Болдуин в Америке пересмотрел сквозь призму психологии. В его первой книге «Психическое развитие ребенка и расы» вы найдете теорию личности, формирующейся в ходе отношений людей друг с другом, медленно создающейся в обществе. Естественно, социологическая школа, развивавшаяся, в особенности во Франции, под влиянием Дюркгейма, заимствовала этот тезис и придала ему еще больший вес. Вы найдете множество интересных его приложений в книге Шарля Блонделя «Патологическая психология».

Расстройства личности, которые Блондель встречает у больных и которые он находит столь трудными для понимания, происходят оттого, что эти люди недостаточно социализированы. Они больше не принадлежат нашему обществу, изолированы, и потому их личность кажется нам непонятной: мы называем их безумцами. Это расстройство, поскольку они потеряли социальный характер своей личности.

Итак, большую часть курса мы будем говорить о создании личности с социальной точки зрения и средствами общества. Эта работа совершалась очень медленно, но, возможно, началась с очень простой формы, во многом близкой к телесной личности, о которой мы говорили на прошлых лекциях. Телесная личность определялась не только собственным телом и формами его поведения, но в первую очередь чувствами. Именно фундаментальные чувства усталости, боли, усилия, радости, грусти в отношении разных действий придавали первичную целостность личности, строили ее вначале. Первые социальные формы личности — это формы эмоциональные: именно развитие чувств положило начало социальной личности, как когда-то телесной.

Чувство — важнейший источник всей внутренней жизни. Если внешние формы поведения определяются стимуляцией, исходящей извне, внутренние формы поведения всегда связаны с осуществлением наших действий. Внутренние чувства — начало всех новообразований во внутреннем мире человека. Личность — построение внутреннее, а не объект внешнего мира. Она во многом основывается на чувствах, и в ее происхождении простые и примитивные социальные чувства, по-видимому, играют огромную роль. Это обязывает нас посвятить развитию социальных чувств одну-две лекции.

Три-четыре года назад у нас был курс лекций о социальных чувствах. Возможно, он будет когда-нибудь опубликован. В ожидании же этого нам придется резюмировать его в двух лекциях как можно проще, и я бы хотел представить вам общую идею о чувствах в их связи с социумом.

Социальные чувства — включая симпатию и антипатию, любовь и ненависть — всегда рассматриваются как чрезвычайно сложные области психологии. Действительно, в социальных чувствах очень много разных внешних форм поведения и даже физиологических реакций — взять хотя бы сексуальный акт в любви. В то же время, в них есть и оценивание и другие внутренние регуляторы. Социальные чувства представляются чрезвычайно сложными.

У Джемса вы найдете поразительный вопрос: в какую главу психологии, спрашивает он, следует поместить социальные чувства? Следует ли их поместить среди инстинктов, рассматривая как базисные инстинкты, тенденции действовать определенным образом, или же их следует отнести к чувствам — таким как удовольствие или боль? Он колебался между этими двумя трактовками.

С этой трудностью сталкивались все философы, и вы встретите эту путаницу во всех работах по психологии, когда социальные чувства помещаются в разные главы: иногда в главу об инстинктивном поведении, иногда — о чувствах удовольствия и боли.

В подобной ситуации наука обычно делает вывод о том, что мы имеем дело со сложными феноменами, что под единым понятием скрываются чрезвычайно разнородные

процессы и что в интересах научного детерминизма необходимо прибегнуть к операции анализа.

Анализ — это операция, особенно важная для обучения и, в свою очередь, берущая в нем начало; она помогает установить ряд вещей. Если мы возьмем сложное явление таким, каким оно перед нами предстает, то не сможем различить элементы, из которых оно складывается. Следует выделить в нем различные части. Так вы, возможно, обнаружите причины, определяющие каждую из частей.

Под «социальными чувствами» почти всегда понимаются два разных феномена, — две довольно далекие, с моей точки зрения, формы поведения, — которые накладываются друг на друга и смешиваются. Прежде всего к социальным чувствам относятся собственно социальные формы поведения и социальные инстинкты. Поведение определяется для нас в своей отправной точке, вызывающей его стимуляцией. Перцептивное поведение берет начало в стимуляции, исходящей от внешних объектов. Социальное поведение берет начало в стимуляции, исходящей от социальных объектов. Социальные объекты — это живые существа, подобные нам до такой степени, что мы относим их к тому же виду. Социальные формы поведения, таким образом, определяются особыми живыми существами. Подобно нашему поведению в отношении стула или тротуара эти поведенческие формы внешние, определяются объектами. Следовательно, они должны существовать уже у примитивных животных. Первые животные вели себя по-разному в отношении объектов съедобных и опасных, то есть могли различать объекты друг от друга. Они научились отличать особей своего вида и вести себя по отношению к ним особым образом. Эти формы поведения вначале чувствами не являлись и, думаю, никакими чувствами не сопровождались.

Прибегнув к абстракции и анализу, можно легко представить себе социальные элементы нашего поведения, не являющиеся эмоциональными. Почему, к примеру, борьба должна обязательно сопровождаться чувством гнева? Почему животное, поедая другое, должно испытывать чувство ярости? В этом нет необходимости. Это условное предположение, которое мы делаем по аналогии с самими собой. Можно спокойно представить себе борьбу, имеющую

материальный результат, такой как поедание добычи без каких-либо чувств, без гнева в собственном смысле этого слова. Я вовсе не думаю, что тигр, пожирая коосулю, на нее гневается. Вероятнее всего, он вообще ничего не испытывает. Он совершает действие, для него почти рефлекторное, как зрачковый или коленный рефлекс. Это способ пропитания. Разве мы впадаем в ярость, жуя хлеб? Ни коим образом, а между тем мы едим то, что когда-то росло, жило, — как тигр, пожирающий коосулю. Ярость — чувство, накладывающееся на определенные человеческие формы поведения, формы борьбы обладающих сознанием людей.

И то же самое со страхом, испытываемым при столкновении с опасностью, и вызывающим бегство. Связь бегства со страхом — это сложная ассоциация человека, обладающего чувствами и эмоциями. Когда вы подходите к пруду, и от ваших шагов лягушки прыгают в воду, я не уверен, что они испытывают чувство страха: это рефлекс, как при воздействии током на лапку. Этот сложный рефлекторный акт, он формировался на протяжении поколений, и все же это простая мышечная реакция, не имеющая отношения к чувствам.

Подобные вещи можно, кстати, увидеть у человека в случаях патологии. Социальные акты могут оказаться лишенными чувств. Мы всегда возвращаемся к группе больных с разными формами чувства пустоты, анализ которой столь интересен. Речь идет о большой группе эмоциональных расстройств — от простой неврастении до меланхолии, при которых ослабление чувств связано с понижением уровня психической силы. Субъективно они испытывают отсутствие чувств, и нам следует рассмотреть, как оно происходит.

Эти больные постоянно рассказывают нечто невразумительное о мире, который потерял красоту и реальность, о своих родителях, людях, которых больше нет в живых и т. д. Психиатров всегда интересовало и озадачивало то, что, рассказывая все эти сложные истории, больные ведут себя совершенно обыкновенно. Именно это приводит в замешательство многих исследователей.

Так, один молодой человек — я часто о нем упоминаю, — вернувшись из здания суда, рассказал, что по пути ему встречались только мертвецы, что все живые существ-

ва, все животные, лошади, собаки, мужчины, женщины на улице были мертвы. Или женщина, которая совершенно спокойно заявляла, лежа на кровати: «Я говорю с вами, это так, — но вы мертвы, и я тоже мертва и лежу на дне могилы. Мы лишь мертвецы среди мертвецов».

И что же, все эти люди ведут себя как сумасшедшие? Ничего подобного, они вполне разумны, они переходят улицы Парижа, не наталкиваясь на мертвецов, они не подбирают их, не отвозят в морг, не делают никаких глупостей с одеждой мертвых. Они ведут себя совершенно корректно. Есть женщины, испытывающие чувство пустоты после родов; это довольно частое явление. Они расскажут вам, что полностью потеряли эмоции, что у них нет никаких чувств ни к мужу, ни к ребенку: «Это не мой ребенок, он мне не принадлежит, это не я его родила, я его не люблю». И между тем эти женщины кормят грудью своих детей, заботятся о них, ведут себя совершенно адекватно, утверждая, однако, что не имеют никаких чувств.

Что же происходит? Сложная группа социальных форм поведения разделилась. Надстраивающаяся, более совершенная часть исчезла, но базисная осталась нетронутой. Базисная часть — поведение лягушки, прыгающей в лужу, или тигра, пожирающего козую, — это элементарное социальное поведение, определяемое внешним объектом, некоторым его аспектом или особенностью использования, — складывалась на протяжении многих поколений. Ее можно считать социальным поведением, независимым от чувств.

Социальные формы поведения, по всей видимости, довольно многочисленны, и мы когда-то провели специальное исследование. Мы рассмотрели разные социальные формы поведения, которые постепенно усложнялись и привели к возникновению как современных форм управления, так и особых церемоний у примитивных народов, мифов, ритуалов. Но эти формы поведения имели более простое начало. Первые социальные инстинкты были поведением в отношении определенных объектов, слегка изменявшимся в зависимости от характера объектов.

У нас есть определенные формы поведения по отношению к съедобным объектам, но они меняются в

зависимости от того, яблоко это или кусок хлеба, большой это объект или маленький, далеко он или близко. Перцептивные формы поведения изменялись в отношении определенных объектов, являющихся социальными. Среди перцептивных реакций наиболее простыми являются акты нападения и защиты. Примитивные животные всегда настороже, чтобы защищаться, обороняться от разных физических и социальных опасностей, готовые к нападению. Примитивные реакции нападения и защиты постепенно изменялись социумом.

В результате в социуме не существует чистого феномена нападения, как в отношении инертного объекта, или объекта, не являющегося человеком. Впрочем, мы это отчетливо видим у больных, таких как эпилептики, которые во время припадков могут навредить кому-нибудь очень жестоким образом, совершенно не похожим на обычное поведение. Нападение в обществе изменилось из-за того, что нападают на нас нам подобные, более или менее на нас похожие, родственные. Это привело к тому, что незавершенных нападений, словесных атак или оскорблений гораздо больше, чем нападений физических. Нападение изменилось из-за своего социального характера. Изменилась также и защита. Мы не обороняемся от французов так же, как от иностранцев. Мы не защищаемся от члена семьи так, как от совершенно чужого человека.

Нападение и защита изменяются простейшим образом благодаря феномену социального соседства. Возможно, основополагающую роль в этих преобразованиях играет телесное сходство. Общество, должно быть, началось с полного слияния, такого как слияние матери и детеныша, о котором мы говорили на прошлой лекции. Принцип, царящий в обществе, — это принцип принадлежности. Первое личное объединение было перенесено на группы, то есть индивидов, более или менее со мною схожих, и это изменение уже преобразовало примитивное поведение нападения и защиты.

Далее идут специфически социальные формы поведения. И здесь мы сталкиваемся с огромным затруднением. Возьмите работы по социологии, труды о социальных тенденциях. Вы увидите, что они отталкиваются от довольно

неполной психологии. Нам рассказывают о множестве ритуалов и обычаев, называя их при этом формами социального поведения, а я бы хотел, чтобы нам дали определение, описали характер социального поведения, отличающий его от других, несоциальных форм поведения.

Определения исходного явления всегда чрезвычайно сложны, неполны и вариативны, как мы уже видели, когда пытались дать определение психологическому явлению. Мы не очень хорошо знаем, что такое социальный акт. Я бы хотел пояснить это на примере. Акт командования, способность отдать приказ и сделать так, чтобы его выполнили — социальный акт, важный как сам по себе, так и для других форм поведения.

Что характерно для приказа или командования? С моей точки зрения, его суть заключается в следующем. В действии, которое мы выполняем, все его части осуществляем мы сами. Действие состоит из нескольких частей. В частности, в нем есть акты начала, продолжения, завершения. Начало действия, наладка, дебют представляет особые трудности, и это усилие начала иногда отражает особый крик. Продолжение действия также имеет свойственные ему законы, как и его завершение, окончание. Действуя, мы сами осуществляем все эти части. Напротив, отдавая приказ, давая поручение, мы совершаем исключительное преобразование. Если проанализировать его психологическую структуру, приказ — не что иное, как начальный крик. Перед тем как преследовать добычу, собака лает, и лай ее становится сигналом для других собак. Когда мы начинаем действие, у нас тоже есть свой крик-сигнал, и, отдавая приказ, мы этим ограничиваемся.

Как вы помните, мы отстаивали эту мысль, когда размышляли об истоках языка. Язык — это развитие крика, играющего роль в приказах и разного рода командах. Когда человек, отдающий приказ, издает крик начала, аналогичный лаю собаки, бросающейся за добычей, он делает нечто странное: он прерывает действие. Если собака после сигнала продолжает бежать, то истинный вождь дает сигнал, но дальше не идет. Одним словом, вождь совершает только первую часть действия, а подчиненные его продолжают и завершают. Вождю остается только контролировать выполнение действия, настаивать, повто-

ря приказ, но ему не нужно самому завершать действия, делать это вместо подчиненных.

Приказ характеризуется именно тем, что действие разделено между несколькими социальными индивидами, каждый из которых осуществляет лишь его часть. Эту особенность можно найти, по-моему, во всех социальных действиях. Все они, от простейших до самых сложных, состоят в сотрудничестве, разделении действия, выполнении одной его части одним индивидом, другой — другим. Сотрудничество есть во всех социальных действиях. Это сотрудничество в большей или меньшей степени выражено. Иногда, в наиболее важных формах, оно очевидно. Полное сотрудничество предполагает, что два индивида не делают одного и того же: один осуществляет одну, другой — другую часть условия, и их объединение приводит к единому результату. Возьмем, например, стаю волков, разделившуюся на две части: первая заходит с одной стороны, вторая — с другой, окружая жертву. Это истинное сотрудничество, объединяющее разные действия.

Но сотрудничество может быть проще и ограничиваться помощью в совершении одного и того же акта. Когда животные едят вместе, когда овцы пасутся на лугу, вы замечаете, что они едят не так, как если бы были в одиночестве. Есть социальные животные, которые могут питаться и перемещаться только вместе, которые не могут ходить по одному. Дело в том, что разные члены общественного организма помогают в осуществлении примитивного действия. Сотрудничество есть во всех социальных действиях, и оно преобразовало элементарные перцептивные формы поведения, оставив индивиду определенную часть действия. Сотрудничество предполагает самые разнообразные феномены сближения, удаления, общей жизни. Окончательный результат состоит в том, что индивиды живут вместе, один посредством другого и благодаря другому.

Так вот, эти примитивные поведенческие формы, как и перцептивные акты, усложнились и совершенствовались путем добавления различных чувств.

Что такое чувства? Это регуляторы, средства совершенствования примитивного действия. Поскольку социальное сотрудничество довольно сложно, им необходимо управлять и совершенствовать. Так эмоциональные

регуляторы присоединились ко всем социальным формам поведения. Наиболее важными из них являются две группы феноменов — любви и ненависти. Сегодня мы рассмотрим в общих чертах феномен любви как социального явления, а в следующей лекции поговорим в основном о ненависти и социальном отчуждении.

Что такое социальное чувство любви? Что имеют в виду, когда говорят, что два или несколько человек любят друг друга? Я полагаю, что нужно ограничиться простой констатацией элементарных фактов. Люди, любящие друг друга, обладают одной существенной особенностью: они живут вместе, близки друг другу. Люди, не любящие друг друга, также обладают особенностью: они живут отдельно и стараются встречаться как можно реже, совершают работу по отдалению.

Любить — значит жить вместе, сближаясь друг с другом. В жизни можно обходиться без этого. Есть существа, которые живут одни, и примитивная жизнь начиналась без этого сближения. Таким образом, мы скажем просто: любящим друг друга людям свойственно то, что их жизнь вместе лучше и полнее, чем по отдельности. Она способствует их развитию, делает их сильнее, разумнее и лучше.

Невозможно понять социальные чувства, не вспомнив того, о чем мы так часто говорили по поводу эволюции человеческих действий. Наша жизнь может быть полнее или беднее, хуже или лучше, сильнее или слабее, и эти колебания мы претерпеваем много раз под воздействием разных обстоятельств. Важнейшие из них — это социальные влияния. Найдутся люди, которые скажут: «Этот человек мешает мне жить. Я не могу находиться с ним рядом». Другие говорят: «Этот человек дает мне силы жить, и если я его не вижу рядом, мне не по себе. Я хочу, чтобы он был рядом, он делает меня, мои чувства, мысли, действия лучше. По-настоящему хорошим, умным, трудолюбивым я бываю только рядом с ним. Без него я — ничто». Но как сближение двух существ может вызвать подобный результат? Как возможно вместе жить лучше, полнее, чем по отдельности?

Вам известно очень простое решение, ставшее сегодня модным, — ведь психология, как и другие науки,

подвержена веяниям моды. Предполагают, что наиболее важные простейшие социальные феномены — это сексуальное поведение. Эта гипотеза была когда-то выдвинута Гербертом Спенсером. Считается, что сексуальность была отправным пунктом и основой социальных явлений, началом социальных чувств. Все чувства любви, желания, все наиболее яркие чувства жизни, возникающие благодаря сближению двух существ, своим происхождением обязаны процессам сексуального возбуждения. Так ли это?

В этой теории много довольно неясных и, по сути, примитивных понятий. Феномен сексуальности — один из важнейших в животной жизни, но он определяет лишь временное, не очень продолжительное сближение. Когда люди хотят преувеличить его, это заканчивается болезнью. Потребовалось много изменений, чтобы их союзы и испытываемое в присутствии друг друга возбуждение были более продолжительными.

У людей, как и у высших животных, феномен сексуальности чрезвычайно сложен. Он стал исходной точкой множества психологических операций: во-первых, это завоевание объекта влечения. Животные, даже примитивные, не отдаются сразу же сексуальному акту, а сперва делают себя желанными, искомыми. Кокетство самок существует уже у бабочек. Нет нужды проследивать эти проявления вплоть до человека: кокетство существует повсюду. Это примитивные акты, которые, впрочем, зависят от потребности в возбуждении и длительности возбуждения самца. Существуют физиологические законы, их определяющие. Кокетство самок приводит к более или менее длительному, настойчивому ухаживанию, борьбе и, наконец, успеху. Когда сексуальный акт приходит к завершению, это — как победа, нечто свершившееся, к чему было нелегко прийти и что стало результатом множества действий, завоеваний и сражений.

К феномену завоевания вы можете добавить все традиции, обычаи, бесчисленные социальные ритуалы. Долгое время женщина была чем-то вроде рабыни, украшением гарема. И то было время особой гордости — гордыни обладания, завоевания, более или менее успешного. Существуют социальные ритуалы, главное в которых — это целомудрие, сопротивление женщины или мужчины

сексуальным актам и защита, которую им предоставляет общество. И тогда сексуальный акт или просто касание — уже нарушение социальных правил, изменение обычных условий, предоставление себе большей, чем принято в обществе, свободы. К тому же в некоторых случаях это становится опасным, поскольку охраняется общественными законами, и в этих случаях совершение сексуального акта означает преследуемое по закону преступление. Но и в этом случае это в некотором роде завоевание.

Вокруг сексуального акта, таким образом, группируются многие другие феномены. Кто нам сказал, что все эти сопутствующие феномены завоевания, триумфа, стыда, борьбы против социальных законов, смелости перед лицом опасности, выбор наилучшего, все эти операции не играют роли в чувствах? И точно: мы видим, что есть формы любви, отличающиеся от сексуальной. Существует множество форм любви, в которых сексуальный акт, если и играет роль, то незначительную. Довольно долго мы с вами с увлечением изучали любовь к руководству, к власти. Это очень распространенные формы социальных объединений. Есть люди, испытывающие необходимость в командовании кем-нибудь, — не важно, в чем, хотя бы в одежде или манере затягивать галстук. Это очень частое явление.

Потребность командовать, мания власти определяет характер человека и общества. Люди авторитарные стараются окружить себя людьми мягкими, которые будут им подчиняться и удовлетворять их манию власти. Они объединяют их, завоевывают тем или иным способом, и нередко можно встретить авторитарных людей, с одной стороны, очень требовательных, а с другой — льстивых и преданных. Они преданы своей жертве, поскольку в ней нуждаются, и очень трудно узнать, любят ли они в действительности жертву или нет.

Мы много говорили о матерях, унижающих своих выросших двадцатипятилетних дочек, вертящих ими, чтобы в своем салоне, в обществе показать, как они послушны и хорошо воспитаны. Девушки от этого заболевают или устраивают сцены с потоками слез. В этот момент мать окружает их заботой, ухаживает и замечательно демонстрирует гостям свою преданность. Когда беседуешь с

ПСИХОЛОГИЧЕСКАЯ ЭВОЛЮЦИЯ ЛИЧНОСТИ

такими женщинами, встречающимися чаще, чем думают, они всегда говорят: «Я обожаю свою дочь и делаю все это из любви к ней, желая ее воспитать, чему-то научить». Это только отговорка. Любовь здесь — лишь предлог для удовлетворения потребности в доминировании.

Встречаются также противоположные случаи, они много изучались несколько лет назад, когда говорилось о разных видах психотерапии или даже лечения, религиозного руководства. Есть люди, которые ищут в обществе руководства, чтобы ими командовали, постоянно ими управляли. В идеале каждый человек с манией руководства должен найти себе человека с манией подчинения. К сожалению, это происходит нечасто. Многие ищут лишь подчинения, рабства: они ищут кого-то, кто будет ими руководить, командовать, ими заниматься. Это постоянная потребность и, если не ошибаюсь, — скажу это очень тихо, — истинное начало религий. Религии вырастают из потребности в руководстве, вожде, который бы находился среди нас самих незримо, даже когда мы одни; это потребность в свидетеле, социальном взгляде, в ком-то, кто нас вдохновляет, одобряет наши действия. Религии использовали и развили это чувство во всех направлениях.

Вот группа чувств, которая — чаще, чем полагают, — побуждает людей объединяться. Объединение в группу диктуется не только сексом. Есть также многочисленные связи вождя и подчиненных. Все монастыри, армии, множество обществ основаны на этой потребности. Таким образом, к удовлетворению этой потребности ведут разные действия, а не только сексуальный акт. Добавьте в первую очередь удовлетворение от тщеславия, похвалы, поздравлений или, напротив, от критики. Как иначе объяснить столь распространенную среди некоторых молодых людей манию противоречить каждому произнесенному при них слову, заявлять, что оно ложно, делать исправления, часто бесплодные, пустые, ни на что не годные? Это оттого, что критик ставит себя выше человека, которому адресована критика, придает себе более высокое положение.

Таким образом, есть группы, определяющиеся разными мелкими социальными действиями. Каков характер этих действий и почему они приводят к потребности

объединяться и иметь рядом людей, удовлетворяющих потребность в сексе, власти, подчинении? Отчего все это? Вернемся к нашему первоначальному исследованию базисных чувств, к условиям, необходимым для феномена радости, каковыми, с моей точки зрения, являются условия поведения триумфа.

Существуют особенные формы поведения, которые позволяют научиться успешно завершать действие. Завершение действия успехом чрезвычайно важно и полезно. Надо уметь достигать успеха, быть настойчивым, и не жаловаться, как это делают многие люди, что им трудно добиться успеха, довести дело до конца. Необходимо уметь завершать действие, и завершать успешно.

Успешное завершение имеет разные преимущества для психики и нервной системы. В первую очередь это экономия сил. Если вы продолжаете действие бесконечно, вы вынуждены бесконечно тратить силы. Когда вы достигаете успеха, подходите к концу, вы останавливаетесь и больше не расходуете силы. Успех — это лучшее средство сохранения сил, тогда как чувство неуспеха (всегда очень истощающее) побуждает к новым непрекращающимся затратам.

Успех ведет не только к экономии сил, но и к очень важному поведению расточения сил. Когда мы начинаем действие, мы готовимся, собираемся с силами, мобилизуем все наше вооружение. В начинании действия есть концентрация сил, которые направляются на продолжение действия. Когда вы останавливаете действие успехом, эти силы становятся ненужными, в них больше нет необходимости, их мобилизация больше не нужна. Но что делать с накопленными ранее силами? Вы их рассредоточиваете по всему организму. Силы, уже мобилизованные, распространяются во все стороны, передаются самым слабым органам, переходят к тенденциям, которые не так сильны и укрепляют весь организм. Ничто так не поддерживает, как успех, потому что мы мобилизуем силы души и затем передаем их ослабленным тенденциям. В результате, когда чувства достаточно развились, люди стали пытаться продлить этот успех. Мы все, от мала до велика, обладаем стремлением к успеху; это — очень хорошая мания, побуждающая нас к работе, к достижению успеха.

Но эту склонность не следует раздувать, и, в первую очередь, она не должна вести нас к нелепым, никчемным, дурным действиям просто ради успеха. Когда люди бесконечно стремятся к успеху, они вспоминают, что успех пришел к ним однажды в особенном случае, — скажем, в сексуальном акте. Сексуальный акт обладает важной особенностью: он требует довольно мощной мобилизации и заканчивается резко, вдруг, что приводит к значительному высвобождению сил. Сексуальный акт — один из видов триумфа с резкой остановкой и тратой сил, разливающихся по всему организму. Если люди замечают, что секс дает им ощущение триумфа и тонуса, они будут к нему стремиться, чтобы испытать снова то же ощущение, — как пьяница, который стремится к выпивке, приводящей к мобилизации сил и временному возбуждению.

Если при осуществлении власти или даже только при виде подчиненных наступает мобилизация сил, ощущение триумфа и радости, люди будут стремиться командовать, и так возникнут авторитарные страсти. Если люди чувствуют, что под руководством других могут добиваться успеха, совершать действия, которыми могут гордиться и которые их возвышают, они будут стремиться к подчинению.

С освоением актов, ведущих к триумфу, одна за другой появились мании командования, подчинения, социальной иерархии, критики, озлобленности, — все они бесконечно развивались. Особенно любопытна история сексуальной любви, ее развитие, вызывающее социальные и почти литературные исследования. В этом, как и многом другом, мы немного наивны и переносим на все наши собственные нравы. Сегодня мы все с юности испытываем иллюзию любви, сознание ее важности, верим, что любовь сделает жизнь легче и безмерно богаче. Все в той или иной степени влюблены. Это обычай нашего общества. И нам кажется, что так было всегда, что это общий закон человеческой души, — и сегодняшние психотерапевтические доктрины, такие как психоанализ, создали по этому поводу множество иллюзий.

Правда ли то, что человек всегда был влюблен? Дамы ответят утвердительно; что ж, возможно. В истории, однако, нет тому доказательств. Я советую вам почитать по

этому поводу литературные исследования, представляющиеся мне чрезвычайно интересными: работы Сэйера о мистицизме страстей и истории романа. Они показывают, что любовь, как мы ее сегодня понимаем, имеет свою историю: начало, эволюцию и, возможно, — как бы странно это для нас не звучало, — будет иметь окончание.

Любовь эволюционировала. Первые люди не были столь влюбчивы, а, скорее всего, вели себя подобно животным, не очень-то занимаясь вопросами сексуальности и разницы полов. И только со временем благодаря античной и особенно средневековой литературе — куртуазным романам, достигшим апогея в романе Астреи XVII века, родилось чувство, которое сегодня принято назвать обожествлением женщины.

У нас есть склонность, — к большому сожалению дам, постепенно исчезающая, — обожествлять женский пол. Это идея о высшей власти неизвестной, таинственной женщины, которую невозможно постичь, развивалась в куртуазных романах Средневековья. Сэйер делает на этот счет еще более интересное социологическое замечание, проверка которого вне моей компетенции. Он заявляет, что обычай обожествлять любовные отношения не столь распространен, как полагают, и особенно это касается великих цивилизаций, наших соседей, о которых мы так мало знаем, — цивилизаций Востока, в частности японской и китайской. Если исследовать эти цивилизации, сталкиваешься с другими представлениями. Восточные народы не обожествляют сексуальную любовь, как это делаем мы; они к ней гораздо равнодушнее.

Итак, наши чувства любви сложились в результате длительной социальной эволюции. Эти формирующиеся в истории чувства, различные в разных культурах, как мне кажется, объединяет одна очень важная черта. Чувства любви постепенно приводят к тому, что люди все более различаются друг от друга. Различия между людьми изначально очень слабы и неопределенны. Люди разделяются на группы: сильных и слабых, рабов и вождей, — это довольно расплывчатые группы. Постепенно благодаря социальным чувствам различия между людьми уточняются.

Каков предел социальных чувств? Это — любовь индивидуальная, любовь к конкретному человеку. Мы на-

чинаем верить, что этот человек, предмет нашей любви, — единственный в мире способен играть роль покровителя или наставника, вождя или раба, — того, кого мы хотим в нем увидеть. Любовь обособляет, все больше индивидуализирует человека. Привыкший командовать обнаружит, что не все люди ему подчиняются, и не одним и тем же образом. Одержимые властью пробуют ее не на всех, а только на некоторых людях, которые становятся их жертвами. А люди, имеющие потребность в руководстве, ищут вождя, но не любого, а своего собственного, — своего бога, ангела-хранителя. Они все больше уточняют его свойства, — поскольку успех любовного поведения зависит от индивидуальных качеств.

Развитие социальных чувств симпатии и любви уже создает некоторую индивидуальность. Мы увидим это, перейдя к чувствам антипатии и ненависти, которые также способствуют индивидуализации и специализации человечества. Затем мы поговорим о приложении этих чувств к самому себе, — когда человек начинает любить самого себя так, как любил других.

[ПЬЕР ЖАНПЕ]

17 ЯНВАРЯ 1929 Г.

10. ЧУВСТВО НЕНАВИСТИ

Люди не только сближаются — более или менее избирательно — благодаря симпатии и любви. Мы вынуждены констатировать довольно печальный факт, имеющий, однако, громадное значение в социальной жизни: людей отдаляют друг от друга чувства антипатии и ненависти. Эти чувства играют в жизни огромную роль, возрастающую с объединением людей в группы. Дело в том, что человечество не едино, а делится на группы: семью, друзей и общества, научные сообщества, национальные объединения. В этих бесчисленных малых группах идут процессы сближения и отдаления, с которыми приходится считаться.

Когда-то, говоря о симпатии и антипатии в чисто психологическом смысле, их считали очень загадочными. Многие авторы, включая Рибо и Гарнье, давно уже отмечали существование между людьми необъяснимой

близости, притягательности или же столь же необъяснимого отталкивания. Мне же они не кажутся столь загадочными. Чтобы понять антипатию, нужно рассмотреть образ жизни и поведение человека в группе. Когда человек испытывает антипатию к другим — членам семьи, супругу, членам какой-то группы, — он от этого может заболеть и даже погибнуть. Конечно же, до физической смерти дело в этих случаях чаще всего не доходит, зато мы постоянно сталкиваемся с ослаблением, истощением и психологической смертью. Человек, живущий в антипатии и ненависти, истощен морально, психологически.

Мы не устаем повторять, что существуют психологическая сила и слабость, проявляющиеся в напряжении, более или менее совершенном выполнении действий и особенно в их числе, степени нашей психической активности. Во враждебной среде человек переживает психологический спад, теряет сообразительность, уверенность, рассудительность, опускается и ослабевает. Он уже не так активен, меньше работает, быстрее устает и становится более тревожным. Одним словом, он истощается, теряет психологические силы. К этому приводит его среда, и во всех исследованиях по психотерапии следовало бы ставить на первое место вопрос о среде, в которой живет человек.

Медицина только начала подходить к этому вопросу, вводя лечение изоляцией. Терапия изоляцией — это крайний случай, логическое завершение практик отделения. Сколько людей чувствует себя лучше, живя без родителей, без своих братьев! Сколько мужчин прекрасно чувствуют себя просто в отсутствии жены! Есть разделения, необходимые и полезные в жизни, — это одна из особенностей психологической активности.

Итак, человека делает слабым, истощает и изнуряет его собственное окружение, но каким образом? Члены группы будут утверждать, что ничего плохого больному не сделали, ничем его не беспокоят и не понимают, на что он жалуется.

Не следует забывать, что группа существует только благодаря тому, что каждый ее член выполняет огромное множество социальных действий. Присутствие другого заставляет нас действовать каждую минуту, и действовать

особым образом. Когда мы одни, мы ведем себя не так, как в присутствии других. Скольким людям необходимо время от времени немного побыть одним — необходимо как воздух, говорят они, — а мы переведем: для того чтобы вести себя иначе, более экономно с психологической точки зрения. Эти люди не столь богаты, и когда они весь день роскошествуют, растрачивая силы из-за присутствия других, им время от времени нужно в течение нескольких часов быть экономнее.

Присутствие людей рядом с нами создает ситуацию, требующую расходов, растрат, совершения более дорогостоящих действий. Здесь мы снова сталкиваемся с психологической проблемой, которую обсуждали в прошлом году в связи с памятью, и о которой в курсах психологии говорится нечасто: основная проблема социальной жизни — это проблема присутствия и отсутствия.

Присутствие и отсутствие определяются явлениями почти физическими — расстоянием, на котором мы можем что-либо чувствовать или совершать движения, до которого простираются наши действия и чувства. Человек присутствует, если он в зоне досягаемости наших чувств, в любой момент может с нами заговорить, что-то у нас спросить, потребовать. Отсутствие, которое с научным прогрессом становится все более редким, как раз и заключается в невозможности других воздействовать на наши чувства и движения. Отсутствующий человек не может ничего попросить, — что отрадно, — ничего не требует: хотя бы потому, что его нет рядом, его не слышно.

Явления присутствия и отсутствия ответственны за истощение, к которому приводят чувства антипатии и ненависти. Эти два слова — присутствие и отсутствие — позволят нам различить две формы чувств: антипатию и ненависть. Они очень близки. В обоих случаях мы констатируем у человека одно и то же явление психологического истощения в определенной среде, рядом с определенным индивидом. Но поведение человека в этих двух ситуациях психологического истощения различно. В случае простой антипатии существует простое средство передышки — отсутствие. К сожалению, с ненавистью дела обстоят сложнее. Несмотря на отсутствие другого, психическое угасание человека продолжается, и он без труда назовет

вам причину. Эта причина — воспоминание, воображение, идея. Хотя ненавистного человека нет, но его можно себе представить, услышать в воображении. И человек, даже оставаясь один, чувствует требования, налагаемые на него другим, и продолжает вести себя так, как если бы его обидчик и вправду присутствовал. Он продолжает терзать себя, думая об этом человеке, хотя его и нет рядом. Вот в чем заключается разница между антипатией и ненавистью. Если при антипатии достаточно просто уйти, то в случае ненависти, уходя, человек уносит боль с собой и носит ее в себе все время; социальная усталость продолжается и может иметь печальные последствия. При ненависти не существует удобного средства избежать истощения.

К несчастью для человечества, в этом случае найдено решение, апеллирующее к другому психологическому закону. Есть определенный тип людей, от которых нам удалось избавиться. Это люди, отсутствующие полностью, окончательно: увы, это мертвые. Мертвые оставляют нас в покое, и в этом их огромное достоинство. Они нас от себя освободили и не требуют больше никаких утомительных действий. Возможно, воображение может нас еще беспокоить, но испокон веков существуют обычаи, о которых я вам рассказывал и которые называю поведением смерти.

Человечество приобрело то, чего не знал животный мир, — особую форму поведения по отношению к мертвым. Мы относимся к ним не просто как к отсутствующим, а как отсутствующим навсегда, и ничего для них не оставляем. Существует огромная разница между обычным отсутствием и отсутствием смерти. При обычном отсутствии мы откладываем реализацию наших действий и оставляем опаздывающему господину его часть. В действиях по отношению к умершим мы ничего не сохраняем, не откладываем, ни с чем больше не считаемся. Когда люди не настолько больны, что теряют это разумное поведение в отношении смерти, они находят в нем спасение. Охваченный ненавистью человек желает смерти тому, кто его истощает. В этом источник поведения ненависти — поведения, направленного на разрушение, уничтожение, — тогда как антипатия — это лишь поведение отдаления и отсутствия.

Для более полного изучения поведения антипатии и ненависти, для понимания их причин следует рассмотреть характерные примеры ненависти. И, как всегда, мы найдем какие угодно явления преувеличенными, упрощенными, вульгаризированными настолько, что их можно лучше понять в области психической патологии.

Итак, в психической патологии известно расстройство, имеющее прямое отношение к нашей теме, — мания преследования. Она, к сожалению, очень распространена, и страдающие ею больные наводняют клиники; встречается она и в обществе, поскольку многие из нас имеют идеи преследования, в той или иной степени неосознанные. Ее изучают уже много лет. Уже Эскироль описывал мономанию преследования. Потом появились сенсационные статьи Ласега (1852–1858), а позднее — труды Фальре и Сегла во Франции и Крепелина и Шюле в Германии.

Сегодня, если не ошибаюсь, интерес к мании преследования возобновился, и психиатры снова начинают предлагать различные объяснения. Если и можно объяснить манию преследования, так это через те же самые явления ненависти и антипатии. Само слово, однако, не должно ввести нас в заблуждение. Слово «преследование», которое было выбрано Эскиролем и подхвачено Ласегом, не совсем подходящее. Оно лишь повторяет слова больных, продиктовано ими, а не медицинскими наблюдениями.

Человек, ненавидящий других патологически, полный ненависти к членам своей же группы, непременно испытает ответную реакцию. Социальные чувства, как все социальные явления, всегда двойственны, объективированы: есть наше поведение и поведение «социума», людей, с нами связанных. Когда мы ненавидим кого-то, мы почти всегда чувствуем, что они нас тоже ненавидят. Ненависть чрезвычайно заразительна и всегда взаимна, возвращается к нам в той же форме. Единственное различие между этими двумя чувствами состоит в том, что одно зависит от нас, а второе — нет.

Ненависть зависит от нас: приходится признать, что мы способны на ненависть. Но, зная, что ненависть не считается таким уж прекрасным чувством, больной не любит в ней признаваться и не говорит: «Я терпеть не могу такого-то человека. Я переполнен к нему ненавистью».

Он переворачивает слова, подбирая близкие, но с обратным значением: его собственная ненависть становится ненавистью, которую испытывает к нему другой человек, — и это становится единственной темой для переживаний и разговора.

Когда кто-либо нас ненавидит, он это проявляет определенным образом. Я только что говорил, что ненависть — это не только работа по отдалению, но работа разрушения, стремящаяся к убийству, к смерти. Такой больной заявляет, что враг пытается его уничтожить, говорит о преследовании, о том, что один, несколько или множество людей причиняют ему зло, постоянно его мучают. Наивный врач может в это поверить. Он полагает: больной просто убежден, что его кто-то преследует. Но этого недостаточно. Дело в том, что ненависть, которую больной питает к некоторым людям, объективирована и выражается в его душе бредом преследования.

Так, больной жалуется на то, что его преследуют самыми разными способами. У очень многих больных — наиболее тяжелых и, я бы сказал, не самых умных, у которых расстройство выражено просто и грубо, — преследование принимает физическую форму. Враги подвергают их самым жутким физическим мучениям: вырывают глаза, жгут живот или конечности, режут на части. Один больной называл своих врагов эскалоперами, потому что они разделяли его тело на отбивные — эскалопы. Очень интересные наблюдения сделал, в частности, Сегла. Очевидно, что физические пытки преследуемых — особый медицинский феномен, которого нет в мучениях меланхоликов. Эти муки и телесные раны не имеют длительных последствий. Больной рассказывает, что враги отрезали ему руки, и тут же спокойно подает вам обе руки; его это несколько не беспокоит. Он в красках описывает страдания, которые ему пришлось пережить, когда ему с чудовищной жестокостью вырывали глаза, что не мешает ему читать газету и вести себя как зрячему. Никогда эти страдания и увечья не имеют длительного эффекта.

Иначе обстоит дело с больными, имеющими бред увечья. Меланхолики, представляясь слепыми или утверждая, что у них вспорот живот, не видят или отказываются от еды, тогда как страдающий преследованием, которому

ПСИХОЛОГИЧЕСКАЯ ЭВОЛЮЦИЯ ЛИЧНОСТИ

сожгли весь живот, обедает за милую душу. Никогда бред преследования не приводит к явлениям психического паралича.

Итак, первая особенность этих преследований — они недолговременны. Вот почему я склонен считать, что описания ран — не что иное, как образы, которые больной использует для передачи неистовой ненависти в свой адрес. Когда преследуемый говорит: «Ночью враги вырвали мне оба глаза», — это можно перевести как: «Эти люди так меня ненавидят, что, если бы могли, выцарапали бы мне глаза». Но он прекрасно знает, что глаза в порядке, и не питает по этому поводу никаких иллюзий, если только бред не зашел слишком далеко и привел не к нарушению рефлексии и восприятия.

Второе замечание, касающееся физического преследования, более деликатно. Очень часто, примерно в трех случаях из четырех, физические мучения — внешние по отношению к телу. Эти люди не жалуются на невидимую внутреннюю болезнь, не говорят об энтерите или заболевании печени. Они говорят, что им откусили нос, выцарапали глаза, порвали рот, обезобразили лицо: почти всегда речь идет о голове, враги посягают именно на лицо. Это замечание приводит нас к наблюдению, на мой взгляд, основополагающему в феномене преследования: мучения больных в гораздо большей степени социальные, чем физические.

Через несколько недель мы поговорим о положении личности в обществе, о социальной иерархии, имеющей первостепенную важность и во многом определяющей нашу жизнь, всю нашу деятельность. Наше общественное положение характеризуется, как мы уже сказали несколько лекций назад, не только рангом и званием, но и внешним обликом. У нас есть определенная одежда, украшения, имущество, у нас — особое выражение лица, свойства, принадлежности, соответствующие нашему общественному положению. У больных, о которых идет речь, под ударом оказывается именно положение в обществе: физическое преследование направлено в первую очередь на то, чтобы сделать их уродливыми, отвратительными. Сколько женщин, страдающих идеей преследования, без конца повторяют: «Ах, я же была такая хорошенькая,

если бы вы только видели. Они сделали из меня уродину, обезобразили мое лицо, отняли у меня красоту».

Мне очень нравится чудесное выражение одной очаровательной дамы: «Эти люди пытаются меня «деаристократизировать». Это очень тонкое чувство. Ей казалось, что она человек со статусом, достаточно высоким положением в обществе и что болезнь ее принизила. Она не так уж далека от истины. Эти люди действительно принижены. Мы увидим, что это важно. Но они ощущают свое падение сильнее, чем на самом деле: им кажется, что у них похищают то, что составляет их достоинство, их одежду, украшения, имущество, собственность, — а собственность нам дороже наших глаз, дает нам общественное положение и составляет с нами одно целое. Преследуемый — всегда человек которого обокрали, лишили состояния. Мне вспоминаются слова постоянно жаловавшейся дамы, которые я часто приводил: «Мой замок и вещи отобрали богатые евреи, они ничего мне не оставили, сделали меня несчастной, вульгарной, плохо одетой и грязной». Таков характерный для преследуемых тон; у них крадут их социальное положение, их унижают, принижают социально.

Следует выделить третью группу преследуемых, о которой я только упомяну, поскольку собираюсь детально рассмотреть этот вопрос через несколько недель, когда мы будем говорить об одной трудной проблеме личности — проблеме внутреннего, о личности как внутреннем явлении; тогда я вернусь к этой группе больных.

Многие образованные больные расскажут вам о внутренних преследованиях, покушении на их образ мыслей. К этой группе мы отнесем чрезвычайно занимательный, недостаточно изученный феномен, который называют кражей мысли, а также другой, не менее трудный для понимания, феномен — эхо мысли, когда некий голос повторяет, выносит на публику мысли больных. Таковы мысли, поведенческие реакции и слова этих больных. Естественно, когда мы имеем дело с болезнью или бредом, эти слова сопровождаются более или менее глубокой верой; в зависимости от формы, степени веры в преследование, можно говорить о разных психических заболеваниях.

В изучении преследования наступил третий, относительно недавний период — эпоха Крепелина, когда содержанием бреда преследования пренебрегали ради исследования формы верования. В самом деле, есть преследуемые очень образованные, умные и понятливые, чьи убеждения продуманы, отрефлексированы и представляют то, что когда-то называлось систематизированным бредом преследования. Страдающий систематизированным бредом преследования преподнесет вам свою историю в совершенно пленительной форме. Его слова звучат вполне разумно и правдоподобно. Он объяснит, почему такой-то человек его преследует, расскажет о прошлом, логически свяжет все события и обоснует ненависть к нему других людей.

Это — систематизированный бред преследования. Я думаю, он соответствует довольно интересному состоянию — духу системности. Если это не покажется неучтывим, я бы сказал: это разум философов, та стадия философской мысли, которая особенно тяготеет к системе и не учитывает опыт и реальность. В нашей иерархии психологических тенденций и стадий за стадией рефлексии следует стадия рациональности, а после нее — стадия эксперимента, учитывающая опыт. Пациент Ласега, страдающий систематизированным бредом преследования, — человек, обнаруживающий лишь небольшое снижение, просто утративший опыт. Это прекрасно заметно в его речи: он не считается с фактами реальности, теми явлениями, которые мы должны принимать как данность, даже если их нельзя объяснить рационально.

Существует поразительный пример этого феномена. Если обычно люди с легкостью допускают существование случайности, то для человека с систематизированным бредом ничего случайного нет. Я знал мужчину, говорившего: «Вот доказательство, что меня преследуют: идя к вам от Порт Майо, я встретил человека, который плюнул на землю прямо передо мной». — Но ведь многие плюют на землю. Один из этих людей мог плюнуть перед вами. — «Это невозможно, подобных случайностей не бывает». Таким образом, систематический бред преследования соответствует стадии рациональных верований. Люди не столь образованные, имеющие только непосредственные верования, страдают иной формой мании преследования.

Бред преследования проявляется и в раннем слабоумии (*démence précoce*), и на разных стадиях меланхолии. Наконец, существует бред преследования, связанный со слабоумием в собственном смысле этого слова — параноидный, свойственный, по Крепелину, людям с низшей формой верований.

В этих исследованиях не ставилась задача изучения содержания бреда или собственно идеи преследования. Однако с некоторых пор психиатры стали возвращаться к анализу самой идеи преследования, и есть модная теория, которую вы часто можете встретить. Мне эта теория симпатична, поскольку она в общих чертах повторяет исследование моей молодости — вывод моей давней книги «Психический автоматизм». В этой книге я описал у определенных больных, медиумов и истериков с сужением сознания подсознательные акты, которые появляются неожиданно, взрывая целостность человека, единство его жизни. В заключение книги я объяснял этот вид бреда преследования как реакцию на внезапное появление слов или идей, врывающихся без малейшей подготовки, без всякого с нашей стороны понимания.

Это объяснение повторил знаменитый современный психиатр Г.-Г. де Клерамбо. Он представляет все виды бреда преследования как результат автоматизма, совершающегося, как он считает, в мозге. Преследуемые не виноваты в том, что они говорят, они почти правы. В их мозге происходит автоматическая работа: часть мозга работает совершенно изолированно, и результат застаёт их врасплох, не связан со всей целостностью сознания. Это объяснение становится все более распространенным. Вы встретите его, в частности, в последних статьях Рево д'Аллона о так называемой полипсихике. Согласно этой идее, душа состоит из множества частей, которые развиваются и работают отдельно друг от друга. Утверждается, что бред преследования, феномены эха мыслей, кражи мыслей, галлюцинации и пр. — порождение автоматической работы мозга.

Остановимся ненадолго на таком объяснении феномена ненависти. В качестве иллюстрации своей теории и примера интрузивных феноменов, Клерамбо приводит наблюдение, которое, с моей точки зрения, крайне не-

полно и не может таким образом трактоваться. Речь идет о человеке, у которого, говорит психиатр, все хорошо и нет никаких психических проблем. Вдруг среди улицы он внезапно слышит шокирующее слово, исходящее извне: «вор». Он очень удивлен и застигнут врасплох: он смотрит, не гонятся ли за ним, где настоящий вор, но ничего не видит. Чуть позже он снова слышит «вор», и потом это слово днями и ночами звучит в его голове, терзая его. Наконец, он осознает: «меня принимают за вора»; объяснение оскорбления приходит позже.

Объяснение Клерамбо отсылает нас к прошлому — к психологии сорокалетней давности. Удивительно, как в истории науки идеи пронизывают время, ненадолго исчезая и вновь возвращаясь. На первом международном конгрессе по психологии в 1889 г. знаменитые итальянские врачи-анатомы Тамбурины и Сеппили представили объяснение галлюцинаций, которое тогда посчитали просто поразительным. Это была так называемая эпоха кортикальных центров. В коре головного мозга были найдены участки, ответственные за определенную работу. Полагали, что и слово «вор» имеет в мозге, — скажем, в третьей лобной зоне, — некоторое количество клеток, ему соответствующих, специализировавшихся на выкрикивании этого слова. Выделяли также систематизированные группы клеток для слухового восприятия слова «вор», для его написания и произнесения. Мозг не просто разделили на квадратики, но соотнесли квадрат с каждой идеей так, что они в результате оказались совершенно обособлены. Согласно этой теории, достаточно стимулировать точку, отвечающую за произнесение слова «вор», чтобы оно было сказано. Вы щекочете острым концом стилета три клетки, отвечающие за слово «вор», и этого достаточно, чтобы человек закричал «вор». Объяснение мании преследования с этой точки зрения выглядит просто: в мозговых центрах происходит работа по возбуждению, или «серпигинозная» работа, выражаясь словами Клерамбо. Представьте прогрессирующую опухоль или интоксикацию, которая, распространяясь по разветвляющимся артериям, вызывает в разных областях возбуждение. Иррадиация порождает образы, эхо мыслей, тики, слова-ассонансы, даже идеи, более

или менее сложные, и постепенно вследствие такого терзания развивается бред преследования.

Как все просто! К сожалению, наш неутомимый ум не может принять таких простых вещей. Мне вспоминается тот далекий конгресс 1889 г. и дискуссия между Сегла и Тамбурины. Мой замечательный учитель Сегла, отвечая итальянскому анатому, произнес фразу, прозвучавшую как гром среди ясного неба: «Но галлюцинация преследования — это уже психическое расстройство. Зачем придумывать еще какое-то другое расстройство вследствие галлюцинации?» И я, в свою очередь, отвечу Клерамбо, что не верю в галлюцинации психически здорового человека, который вдруг начинает целыми днями слышать слово «вор». Это в высшей степени неправдоподобно; это не клиника. В психиатрической больнице такого не увидишь. Чтобы человек начал везде слышать слово «вор», он уже должен быть поглощен на протяжении месяцев или лет вопросами воровства и честности. Этот человек чувствителен к социальным интерпретациям и страдал от преследования задолго до того, как услышал слово «вор». Вопрос кроется именно в этом, тем не менее размышления этих авторов побуждают к интересным психологическим исследованиям. Сами того не подозревая, они поднимают огромную психологическую проблему, о которой когда-то говорил Джемс: поток сознания.

Удивительно, что за исключением некоторых периодов ночи, когда мы спим без сновидений, наш ум все время чем-то занят. Мы никогда не останавливаемся. Что же наполняет ум, определяет течение мысли, ее быстроту, ее содержание? Существуют психологические и моральные проблемы, к которым мы еще не подошли и которые совершенно не изучены. Думаю, если бы эти проблемы были лучше поняты, можно было бы ответить Клерамбо таким образом: Вы говорите об интрузивных феноменах, но они есть у каждого. Дух не имеет протяженности. Течение мыслей, или поток сознания, редко бывает полностью упорядочено. Часто ли нам случается, приостановив работу над лекцией, размышлять над ней со словами: «Я начинаю с этого, а хочу прийти к этой идее. Я хочу прочитать лекцию в этом направлении»? Когда мы все же совершаем такое усилие, очень часто что-то нам

мешает. Вот сейчас, когда я с вами говорю, открывается дверь. Знал ли я заранее, что дверь откроется? Было ли это запланировано в моих мыслях? Кто-то входит, кто-то выходит. Готовил ли я заранее это действие с входом и выходом? никоим образом. Я говорю, а кто-то зашевелился, кто-то кашлянул, кто-то почесал нос. Моя психика к этому не подготовлена; я этого не ожидал. Каждую секунду возникают интрузивные феномены, которые исходят от окружающего нас многогранного мира. Эти явления существуют как во внешнем восприятии, так и в абстрактном мышлении, внутренней мысли. Ассоциации идей постоянно приводят нас к интрузивным явлениям, в которых мы не отдаем себе отчета.

Мы с вами долгое время говорили о феномене образов, возникающих неожиданно, как вспышка, природа которых нам неизвестна. Эти мгновенные образы, которые Бергсон объяснял своей теорией чистого воспоминания, есть у всех нас. Я приводил пример, который сначала выглядел мистически. Я готовил курс для Коллеж де Франс, и столкнулся с трудностью, которая столь часто встречается у преподавателей: куда поставить такую-то тему, в начало или конец курса? Это важно для организации курса или книги; это чисто интеллектуальная проблема. И вдруг я увидел возникший предо мной небольшой и странный пейзаж: угол стены и выглядывавшие из-за него ветви дерева, одна улица уходящая вправо, другая — влево. Некоторое время я был озадачен. Вот чисто интрузивный феномен — такой как галлюцинация преследования — образ, не имеющий никакой эмоциональной значимости.

На самом деле, этот уголок действительно существовал в окрестностях Парижа, в пригороде, куда я ездил дважды в неделю в санаторий. В нем было нечто для меня особое, довольно интересное, но и достаточно тривиальное. Я позволял себе тратить драгоценное время, прогуливаясь по деревне, к санаторию и обратно. Например, шел в санаторий по левой дороге, а возвращался по правой, или наоборот. И этот самый уголок был на пересечении двух дорог. Размышление о начале и конце курса лекций привело к мысли об этой прогулке туда и обратно, характеризовавшейся образом стены.

Интуитивные образы встречаются очень часто, так что не следует удивляться им у больных. Удивительно скорее, как подчеркивает Клерамбо, что больные эти образы замечают. Ведь обычно они остаются незамеченными: дверь может открываться и закрываться, люди могут разговаривать, выражение их лиц меняться, они могут жестиковать, но мы не обратим на это ни малейшего внимания. Больные же говорят: «Это делается со мной специально. Когда я хотел спокойно почитать, в моей голове вызвали этот образ». Объяснение этих расстройств следует искать в группе чрезвычайно важных явлений, которые можно обобщить под именем чувств воздействия извне. Чувства воздействия очень важны в работе ума. Они противоположны чувству свободы, которое играет огромную роль в совершенствовании личности. Когда мы совершаем действие, мы в большей или меньшей степени чувствуем, что делаем это по собственной воле: мы вольны поступать так или иначе, мы действуем свободно. Философы бесконечно спорили, так ли это. Действительно ли мы свободны, когда приходим в Коллеж де Франс? Есть ли какой-нибудь механизм, который нас сюда приводит? Неизвестно.

Но здесь идет речь не о свободе теоретической, абсолютной, а о чувстве свободы. Оно зависит от гораздо более простых факторов: чувства личного усилия. Когда мы совершаем личное усилие, это ведет к действию, и мы верим, что поступаем свободно. Речь также идет о чувстве успеха и триумфа. Когда вы совмещаете усилие и успех, вы создаете чувство свободы. Наши больные, напротив, испытывают чувство воздействия. У них отбирают свободу, заставляя делать то или это, думать и смотреть на жизнь определенным образом. От чего это зависит?

Нам хорошо знакомы эти явления: мы описывали их уже и в этом году под именем чувства пустоты. Усталость ума ведет к исчезновению чувств усилия и триумфа и к тому, что действия совершаются автоматически. Больные с чувством пустоты жалуются, что действуют не сами, их заставляют: «Мои руки двигаются, но это не я их передвигаю. Мои руки мне не принадлежат. Я говорю и слышу себя, но это не я говорю, потому что не ощущаю ни успеха, ни усилия. У меня нет чувства, сопровождающего мои

действия». В чувстве воздействия и во всем, что с ним связано, есть не только пустота, исчезновение чувств усилия и успеха, но и нечто большее. В простом чувстве пустоты больные редко ищут внешний объект. Они все время говорят: «Это не я ем», но ни на кого не жалуются, никого не обвиняют. Чувство пустоты обычно не объективируется, не заставляет искать внешних причин.

Напротив, существуют гораздо более brutальные чувства, которые находят свой объект: мы называем их страхом действия. Человек, испытывающий тревогу в момент действия, всегда превращает ее в страх или выражает страхом: он чего-то боится. Но страх — это материальное, физическое поведение, которое всегда имеет объект. Когда вы боитесь, вы вынуждены объективировать свой страх. Человек, который испытывает страх в спальне, заглянет под кровать, обследует каждый угол, потому что ищет причину страха.

Я думаю, — и это можно обсудить, — что важнейшая черта мании преследования — боязнь социального действия. Это — страх, охватывающий человека в социальной среде. Социальные действия являются самыми сложными и представляют основной источник истощения и тревоги. Есть люди, которые боятся улицы, боятся выходить из дома; когда они выходят из дома, им становится не по себе. Есть люди, которые боятся войти в комнату, если там кто-то находится, или есть в присутствии других. Чувство социального страха доминирует во всех подобных болезнях и с самого детства играет значительную роль. Оно прежде всего определяет явления застенчивости. Больные, о которых мы говорили, — это люди в прошлом застенчивые, с чувством пустоты, социального беспокойства, которое позднее усиливается и превращается в социальный страх. Их социальные страхи и тревоги заставляют их замечать интрузивные феномены, чувствовать воздействие и наполняют всю их социальную жизнь постоянной тревогой, выражающейся как ненависть. Смутный страх, когда речь идет о видимом объекте, остается страхом. Страх, при котором речь идет о социальном объекте, становится ненавистью. Опасный человек — это тот, кто может нам навредить, кто нас преследует; это — враг, человек, которого ненавидят.

Я тороплюсь, поскольку хотел бы в завершение отметить, что чувство тревоги в социальном действии, как и чувство триумфа, уточняет контуры социального поведения. Социальное поведение — это общие формы поведения: сексуальное, социальное объединение, подчинение, командование. Но можно командовать разными людьми и подчиняться разным людям. Социальные действия сами по себе не определяют людей и достаточно плохо их отличают друг от друга. Но когда присоединяется чувство — беспокойства, ненависти, антипатии или же, напротив, легкости действия, симпатии и любви, — социальное действие сразу же становится более точным, прицельным. Так, подчинение одним людям не представляет труда, не требует больших усилий, не тревожит — тогда как подчинение другим вызывает неудобства и тревогу. Любой застенчивый человек скажет вам, что стесняется не всех: в присутствии одних он застенчив, в присутствии других — нет.

Чувства вносят в общество определенность. Они разделяют его в еще большей степени, чем разные формы социального поведения. Так постепенно люди начинают различаться. Они различаются благодаря нашей симпатии, любви, антипатии, ненависти. Они не походят друг на друга, и мы шаг за шагом создаем поведение отличающихся друг от друга личностей.

Это различие людей друг от друга и социальные чувства, следуя всеобщему закону, который вы знаете, вызовут ответную реакцию в нас самих. В следующий раз мы поговорим о влиянии социальных чувств на собственную личность и приступим к изучению эгоизма.

21 ЯНВАРЯ 1929 Г.

11. ЭГОИЗМ И ЛИЧНЫЙ ИНТЕРЕС

В работах авторов, которых можно назвать социальными психологами — в первую очередь американцев Джемса, Ройса, Болдуина, — постепенно был сформулирован психологический закон, представляющийся мне очень интересным. Это закон параллелизма между личностью других и нашей собственной. Точнее говоря, себе и дру-

ПСИХОЛОГИЧЕСКАЯ ЭВОЛЮЦИЯ ЛИЧНОСТИ

гим мы приписываем одни и те же особенности, чувства, свойства. Происходит единая работа по созданию общества — других и самих себя.

Американские психологи утверждают, что порядок этой работы таков: то, что человек думает о других, он затем переносит на себя. Иногда это так, но порой здесь есть преувеличение. Думаю, можно просто сказать, что процессы созидания других и себя происходят схожим образом и одновременно. Иногда первый несколько предшествует второму, иногда — наоборот. Мы начинаем с некоторой идеи в отношении себя, затем переносим ее на других — или наоборот, создаем некоторую идею о других и переносим ее на себя. Этот процесс постоянно идет в двух направлениях и характеризует личность. Идет ли речь о других или о нас самих, разницы нет. Это свойственно прежде всего элементарным формам личности. К более личному понятию индивидуальности, отличающейся от других, мы приходим позднее. Сначала же люди друг для друга почти одинаковы, и чувства остаются теми же, независимо от того, приписываем мы их себе подобным или их приписывают нам.

Мы привыкли считать, что главенствующее, истинное личное чувство, которое есть у каждого, называется «эгоизмом». Все люди в какой-то степени эгоистичны. Этим словом определяют любовь человека к самому себе, со всеми свойственными любви операциями и чувствами: радости, усилия в отношении личных действий, всего, что человек пытается делать сам.

Это справедливо для здоровых, нормальных людей. Определенная доля эгоизма — закон природы, но не стоит преувеличивать и утверждать, что эгоизм — конституирующий элемент личности, что без него нет личности. Личность отлично существует без него, и отсутствие эгоизма — довольно частое явление. Оно иногда становится патологическим, но практически во всех других случаях нормально.

Мы уделили много времени в начале курса так называемому чувству пустоты, ощущению отсутствия чувств. Некоторые люди испытывают недостаток, пустоту в себе: у них нет нормальных чувств ни в отношении объектов, ни других людей. Отсутствие чувства к другим людям прини-

мают хорошо знакомые и довольно причудливые формы. Другие люди представляются странными, чуждыми, неинтересными, не имеющими никакой ценности, далекими и отделенными от нас непроницаемой стеной. Люди кажутся этим больным автоматами, машинами, — ведь за другим человеком мы признаем прежде всего факт его жизни, деятельности и воли. Люди проходят мимо, похожие на механических уток, созданных Вокансоном, как будто у них нет ни чувств, ни личной активности.

На следующей стадии расстройства люди, лишенные личной активности, воспринимаются как мертвецы, и больной сообщает, что окружен трупами.

Наконец, на последней степени расстройства личность других и вовсе исчезает в небытии. Другие люди — лишь сны и фантомы, не имеющие никакого отношения к реальности, и поэтому больного несколько не занимают. (На самом деле, наоборот: они для больного фантомы, поскольку он сам ими не интересуется.)

Точные копии этих выражений и чувств используются и по отношению к самому себе; для понимания патологии важно, что у многих больных мы находим то же безразличие, чувство пустоты в отношении себя самих, собственной личности. Они не представляют в собственных глазах никакого интереса. Их жизнь незначительна, их личность для мира не существует: и глупости, и благородные акты, которые они могут совершить, одинаково не важны.

Такой персонаж настолько всем знаком, что я не могу отказать себе в удовольствии напомнить вам один его очень любопытный литературный портрет. Вы знаете, с каким интересом мы относимся к произведениям русского писателя Достоевского, одного из самых признанных психологов-наблюдателей. Он особенно интересовался эпилепсией. В «Братьях Карамазовых» Достоевский выводит персонаж по имени Алеша. Алешу, — пишет он, — не замечают, где бы он ни оказался, и так с самого его детства. А все потому, что сам он никогда не задумывался о том, что надо ценить себя, знать себе цену. Поэтому его приятели никогда не считали его соперником. И это не результат гордыни с его стороны, это — наивная и очаровательная черта: он не знал, не ощущал своих достоинств. Люди, подобные Алеше, встречаются часто. Они не ценят

себя, полагают себя незначительными, не признают за своими поступками ни капли своей заслуги.

Иногда при усугублении психического расстройства, — а речь в этих случаях идет именно о расстройстве, — самооценка получает более обычное выражение, подобно оценке других людей. Собственная личность кажется больным далекой, отделенной от них огромным расстоянием, предстает как бы вне их.

Само слово вряд ли что-нибудь вам скажет, так что следует вспомнить легенды и древние поверья, игравшие важную роль в биографиях святых, о так называемой биолокализации. Люди чувствуют, что находятся в двух разных местах: «Я здесь, на этом стуле, и в то же время в глубине комнаты; я чувствую, что нахожусь вдали от моего тела, отделенным от себя». Когда-то это считалось мистикой, чудом, придавало характер святости. Я думаю, сегодня не стоит так уж превозносить это явление. Это иллюзия, существующая даже у обычных неврастеников. Они все время жалуются на то, что находятся вне себя и иногда испытывают чувство тревоги, наблюдая за собой извне как за чуждым, отделенным от них объектом. Я даже знал больного, который обладал исключительной способностью следить за развитием болезни по расстоянию, которое разделяло две его личности. Когда ему становилось лучше, его вторая личность приближалась к первой и находилась не далее метра от нее. Когда дела шли плохо, она удалялась на значительное расстояние.

Больным кажется, что другие тоже замечают это разделение личности и не видят их там, где они есть, не обращают на них никакого внимания, их не понимают. Будучи безразличны к себе, они полагают, что другие также безразличны к ним. Это общая индифферентность, чувство одиночества среди толпы, в которой никому нет до тебя дела — вот точная характеристика, — чрезвычайно распространено. Многим больным кажется, что в обществе их не замечают, и это принимает форму особого расстройства, очень странного, о котором я вам уже рассказывал, — бреда невидимости.

У одной дамы случались кризы, во время которых, к своему большому сожалению, она становилась невиди-

мой. И сколько бы я ей ни говорил, что когда-то кольцо Гигеса, обладавшее силой делать человека невидимым, считалось чудесным даром, и что у нее есть уникальный шанс стать на время невидимкой, это ее не утешало. Она продолжала жаловаться на то, как ужасно жить в мире, где тебя не видно и не слышно. Так хочется, чтобы тебя оберегали, любили, помогали; но как это возможно, если тебя никто не видит? Чувства отчуждения и отсутствия интереса к своей личности приносит бесконечные страдания. Есть и более тяжелые формы, когда человек воспринимает не только других людей, но и себя как машину. Мы — всего лишь автоматы, ходим не мы сами, нас заставляют действовать, двигают, как марионетками. Вам всем знакомо это странное описание.

Я встречал удивительный случай, при котором чувство личного автоматизма, нереальности свободы стало систематическим и касалось определенного действия. Речь идет о бригадире на заводе, по долгу службы вынужденном обращаться к рабочим. Этот мужчина лет сорока утверждал, что после несчастного случая, когда он чуть не захлебнулся в холодной воде — что, возможно, и не было правдой, — он на протяжении более года постоянно испытывал странное ощущение, очень его беспокоившее. Он перестал владеть речью, а когда ел или двигал рукой, голос внутри него говорил: «Это я двигаю правой рукой, это я иду». Но при этом он утверждал, что слова принадлежат не ему, а исходят от кого-то другого.

Я долго изучал этот случай в разных работах, проводил с ним — почти всегда безуспешно — лабораторные эксперименты, ища в речи и ощущениях этого человека то, что обосновывало бы чувство автоматизма. Пятнадцать лет назад я выявил у него задержку слуховой реакции. Если нормальная слуховая реакция происходит за несколько тысячных долей секунды, то его слуховая реакция была всегда гораздо дольше, и я пришел к следующему объяснению. Задержка слуховой реакции не очень нас волнует, когда речь идет о других, поскольку нас ничто не извещает о моменте, в который они заговорят. Мы слышим их речь с определенной задержкой, но не придаем ей значения. Когда же говорим мы сами, то точно знаем момент начала собственной речи и момент,

когда должны себя услышать: мышцами языка и гортани мы ощущаем рождение слова и затем его слышим. При задержке восприятия человеку может показаться странной его собственная речь.

Возможно, это сыграло свою небольшую роль. Но сейчас я думаю, что дело обстоит иначе. Мы имеем дело с очень застенчивым человеком. Он всегда страдал от своей профессии, обязывающей его как бригадира разговаривать с рабочими, отдавать приказы, делать им выговоры, воздействовать на них словом. Он боится этого, находит такую работу очень тяжелой, сложной, непереносимой; его слабое место — как раз разговор с рабочими, речь социальная. Когда наступает ослабление личности и общая депрессия, она действует на самые уязвимые функции и вызывает чувство автоматизма речи.

Таким образом, мы видим, что разные функции могут отчуждаться, поэтому не столь удивительно расстройство, так поразившее когда-то Рибо и описанное в его ранних работах, — бред смерти. Рибо с изумлением рассказывает нам о пациенте некоей клиники, утверждавшем, что погиб во время битвы в Маренго и пока еще не воскрес, и что отец Ламбер, который у него перед глазами, — только труп прежнего отца Ламбера, жившего много лет назад. Рибо не совсем понимает это чувство, довольно часто встречающееся: достаточно много людей ощущают себя мертвыми, относятся к себе как к мертвецам.

Все эти разновидности чувства пустоты покоятся на одном и том же уникальном основании: они всегда связаны с сужением сознания, с ленью ума, который ограничивается первичными элементарными функциями и не добавляет к ним дополнительных действий, — которые и служат источником чувств. Мы не только действуем, говорим, ходим, но и дополняем каждое действие надстройкой в виде усилия или интереса. Чтобы что-то сделать, мы должны совершать усилие и при этом следить за нашим действием, должны уметь отдохнуть, остановиться, почувствовать усталость, успех, неуспех, радость и печаль.

Представьте себе такой ум, в котором есть только первичное действие без всякого вторичного действия, и вы получите всю эту гамму чувств пустоты.

Интересно, что расстройство может заходить гораздо дальше. Поразительно, что наряду с безразличием больной может испытывать к самому себе ненависть. Мы не всегда себя любим, и, к сожалению, бывают моменты, когда мы вовсе себе не нравимся, себя ненавидим. Ненависть, отвращение к себе свойственно целому классу больных: она характерна для меланхоликов. Меланхолическое расстройство и меланхолическое состояние ума — это состояние не только безразличия, но и презрения и ненависти к себе.

Я использовал несколько искусственное слово, чтобы охарактеризовать чувства меланхоликов. Они отличаются от чувства пустоты при психическом истощении, когда можно скорее говорить об «обесценивании», потере вещами своей ценности. Больные жалуются на то, что в мире не осталось ничего красивого, интересного, значительного. Напротив, для меланхоликов явления вовсе не лишены значимости или интереса: они — уродливые, отталкивающие, отвратительные, опасные. Меланхолику все кажется катастрофическим, чудовищным, и те же чувства меланхолик испытывает к себе. Он не просто обесценивает, а унижает себя, и часто у постоянно печальных людей вы встретитесь с презрением к самим себе.

Вот несколько фраз, которые я слышал от больных, называвших себя преступными и порочными: «Я отвратительно опустился, стал грязным, сумасшедшим. Во мне нет ничего, кроме порока, я трус, подлец, негодяй, преступник». «Я убийца», — повторяла бедная молодая женщина. А молодой человек говорил: «Я уроденный преступник, чудовище, и больше всего меня огорчает не то, что другие относятся ко мне как к сексуальному извращенцу и плюют мне под ноги, а то, что у них есть основание так поступать.... Для офицера странно стать антирелигиозным и антимилиаристом. Я стыжусь своих нашивок, и т. д.».

Это — самоуничижение, ненависть к себе. Эти люди чувствуют себя полными неудачниками. Что бы они ни делали, успеха они не достигают, и поэтому их поступки плохие и с легкостью могут ощущаться постыдными, криминальными, опасными. Вот почему для меланхоликов характерен знаменитый симптом негативизма: больные

подавляют свои действия, борются за то, чтобы ничего не делать и хотели бы не шевелиться вообще. Между тем у этих ненавидящих себя людей остается одно действие, — к сожалению, весьма опасное, — самоубийство. Суицид — первостепенный психологический феномен. На сегодняшний момент проведено много исследований по этому вопросу и даже собрана статистика. Вы помните, в частности, интересную книгу Дюркгейма (1907), на которую мы будем ссылаться, — пространное исследование статистики суицида.

В любом обществе, любой культуре есть люди, убивающие себя, уничтожающие собственную жизнь. С психологической точки зрения это удивительно: живое существо само себя уничтожает, ведь желание жить — основополагающая тенденция. Все психологические феномены, все действия, от первого до последнего, продиктованы заботой о поддержании жизни. Иными словами, если человек ест или испражняется, — это оттого, что он хочет жить. Если он не хочет жить, нет никакого смысла что-то делать. Нет ни одного действия, которое бы не определялось желанием жить.

В этой общей жизни животных и людей акт самоубийства, саморазрушения предполагает инверсию законов поведения. В книге Дюркгейма на эту тему приводится много курьезных фактов. Но в целом она меня не удовлетворяет. Как и множество социологических работ, она основывается на методе, к которому я не питаю особой симпатии, — статистике. По сути, вся эта книга состоит из документов, взятых из префектур или газет — статистики разных событий, которые произошли при неких обстоятельствах, в некоем месте.

Достаточно ли точен этот метод научного исследования? Нужно быть чрезвычайно осторожным с данными статистики, особенно официальной. Их часто собирают в спешке мелкие служащие; факты не анализируются с точностью, каждый в отдельности, и поэтому недостоверны. Взгляните на статистику смертности в Париже, и вы увидите там число случаев пневмонии или кровоизлияния в мозг. Это число почти всегда неверно, поскольку диагнозы весьма сомнительны. Более того, эта статистика делается согласно диагнозам больниц, а в больницах есть

свои традиции. В полицию, которой это не важно, попадают бумажки, всегда одни и те же. В них, например, сказано, что человек умер от лихорадки: что ни случись, пишут «лихорадка». Вот на этих-то документах и строится шаткое здание статистики. Это особенно справедливо, когда речь идет о феномене самоубийства. Вы думаете, что медики уведомляют полицию о происходящих в Париже самоубийствах? Что врач напишет такой диагноз, несмотря на то, что семья будет в гневе и немедленно откажется от его услуг? Чтобы не огорчать семью, он поставит самоубийце диагноз пневмония: это просто, и так происходит в девяти случаях из десяти. Диагноз «самоубийство» чрезвычайно редок.

Так что, боюсь, статистика — что справедливо для всех стран и обстоятельств — не имеет большого значения. Когда Дюркгейм показывает нам, что некоторым религиям, например протестантизму и иудаизму, самоубийство свойственно больше, чем католицизму, и пытается строить на этот счет теории, я боюсь, что он опирается на цифры, которые немногого стоят. Вот в чем состоит первая трудность.

Кроме того, мне не особенно нравится определение самоубийства у Дюркгейма. Акт самоубийства для него — это смерть, вызванная поведением самого человека, каким бы оно ни было, и вся первая часть книги посвящена благородным, альтруистическим суицидам. Значит, солдат, идущий в бой под пули и снаряды, совершает самоубийство? Для Дюркгейма — да, он так это и называет и включает в статистику. Я думаю, это серьезная психологическая ошибка. Поступок такого рода не имеет ничего общего с самоубийством. Действие — это не просто движение правой или левой руки. Оно определяется намерением, целью, к которой стремится человек; это законченный акт, имеющий свою схему подобно схеме перцептивных актов. Чтобы совершить самоубийство, человек должен стремиться к смерти, искать ее и ничего другого.

Человек, посвящающий себя благородному делу, пытается спасти себе подобных, а не собирается умирать. Его действия могут привести к смерти, но совершаются не ради нее, и если бы человек знал о таком исходе, он, возможно, так бы не поступил. В действительности

он совершает действие, чтобы спасти себе подобных, сражается, чтобы защитить свою страну. Этот поступок не имеет ничего общего с самоубийством в собственном смысле этого слова.

Есть еще одно обстоятельство, которое меня беспокоит. Автор не очень-то любит медицинские наблюдения, — впрочем, справедливо, так как они зачастую никуда не годятся. Однако он не допускает фактора патологии в самоубийстве и не хочет принимать в расчет душевные болезни. Его аргументация несколько наивна. Он берет статистику психиатрических больниц и показывает, что среди душевнобольных число самоубийств не выше, чем среди здоровых людей. Он рассматривает душевную болезнь одним блоком, как ансамбль заболеваний, и констатирует, что для некоторых из них самоубийство вообще не свойственно. Но это не отменяет другие наблюдения, гораздо более важные, если принимать во внимание индивидуальные случаи, заниматься не статистикой, а конкретными людьми.

Все наблюдения свидетельствуют о том, что люди, готовящие самоубийство, находятся в состоянии сильного и специфического расстройства. Есть особое психическое заболевание, являющееся по преимуществу болезнью самоубийства, — меланхолическое расстройство. Болезнь может быть преходящей, острой или хронической, но она постоянно сопровождается тенденцией к самоубийству. К сожалению, эта болезнь часто носит семейный характер и, возможно, наследственна. В книге «От тревоги к экстазу» я приводил случай семьи, в которой отец и дочь покончили с собой, а у сына наблюдалась склонность к самоубийству. Он в течение десяти лет боролся со этой склонностью, но кончил тем, что дал ей волю, сделав это, если можно так сказать, с удивительным совершенством.

Тревожная мания самоубийства также очень интересна для исследования. У тех, кто к ней склонен, нет установок и эгоизма обычных людей. Мы представляем себе будущее в виде наших будущих действий, более или менее приятных. Мы склонны ждать удовольствий, а мысли о смерти нас вовсе не радуют. Некогда я описал состояние человека, предвкушавшего свою смерть.

Он проводил дни и ночи, проигрывая свои последние минуты, которые казались ему прекрасными: он будет окружен семьей, терзающейся угрызениями совести. У него была навязчивая потребность в любви, и он полагал, что к нему относятся недостаточно тепло и снисходительно. Ожидая, что при виде его смерти семья пожалеет, что не относилась к нему лучше, он радовался. Он с наслаждением представлял свое тело, лежащее в земле, — это было ему особенно приятно. Проведя годы в таких мечтаниях, он в конце концов убил себя.

Таким образом, существует патологическая предрасположенность психики к самоуничтожению, противоположная эгоизму. Эта предрасположенность — не что иное, как ненависть к себе и своему существованию, желание уничтожить себя, подобное желанию уничтожить врага.

В последней лекции — о ненависти — говорилось о феномене смерти. Люди узнали, что такое смерть, и поняли, что смерть освобождает их от необходимости действия. Когда человек жив, это выражается в бесконечных обязательствах, нас с ним связывающих, во всем, что мы сделали для него и он для нас, во встречах, беседах, письмах. Смерть человека бесконечно упрощает наше существование. Она нивелирует множество трудностей, и люди изобрели особое поведение — поведение смерти, направленное на упрощение социальных действий. Постепенно люди также поняли, что могут сами реализовать возможность освободиться от человека, причиняющего им страдания. Иными словами, кроме психологии смерти есть, — как говорил итальянский психолог Ферреро, — и психология убийства. Убийство первоначально происходило случайно по стечению обстоятельств, в ходе защиты и нападения, а затем из этого были сделаны выводы, и весьма практичные. Убивая кого-то, избавляешься от связанных с ним многочисленных действий и забот.

Эти идеи о смерти постепенно начали переноситься на себя. Допустим, все наши поступки стали нам неприятны и опасны, и мы хотим по возможности их избежать. Мы пытаемся от них отделаться всеми способами — негативизмом, отказом, сопротивлением, противостоящими им действиями. Но мы не можем избавиться от них полностью, и к нам сама собой приходит идея: «Если бы я был

мертв, у меня бы не было никаких обязательств, которые есть у живых. Моя смерть избавила бы меня от всех обязательств и от необходимости совершать какие-либо действия». Так же, как желают смерти врагу, желают смерти себе и стремятся к ней.

Приступ меланхолической тревоги может разворачиваться по-разному, но он остается при этом патологическим явлением. Это отмечалось уже во времена Эскироля и справедливо и сегодня. Не менее справедливо то, что эти чувства безразличия и ненависти к себе нельзя обобщать. Если бы они были у большинства людей, это бы привело к плачевным последствиям: люди сломали бы шею друг другу или самим себе, и человечество бы исчезло.

В эволюции живых существ развивались противоположные чувства, ведущие к сохранению жизни, поэтому в здоровом состоянии у большинства развивается обратное чувство — любви к себе. С точки зрения морали, эгоизм порицается как отрицательное поведение: говорят, что надо с ним бороться, его надо преодолеть. Это так, когда речь идет о некоторых его формах, более высоких стадиях развития, когда эгоизм пытаются перерастить. Но с психологической точки зрения эгоизм — чрезвычайно полезное качество. Совершенно необходимо, чтобы люди любили себя и продолжали бы жить.

Любовь к себе предстает в двух формах, характерных для всех видов любви. Мы сказали, что любовь — это добавление к совершаемым действиям определенных чувств: примитивного чувства усилия и более важного чувства успеха, удачного завершения и радости. Любить кого-то — значит интересоваться им, добавлять личное усилие ко всему, что мы делаем по отношению к этому человеку.

Самый типичный пример — поведение матери в отношении ребенка. Действия матери не слишком хорошо очерчены, они одновременно и личные и социальные. Ее забота о маленьком ребенке — почти забота о самой себе, приносящая ей радость. Она всегда говорит о ребенке с трогательной гордостью, демонстрирует его достоинства, испытывает чувство триумфа от всего, что он делает или говорит. Кажется, что она сливается с ним и принимает успехи ребенка за свои собственные.

Итак, чувство триумфа и радости добавляется ко всем формам социального поведения.

Эгоизм — это прежде всего склонность добавлять усилия ко всем своим личным действиям. Личными действиями называют такие, которые связаны с собственным телом, — о чем мы говорили в начале курса, — с регуляторами действий. Ко всему, что нас затрагивает, присоединяется феномен усилия. Когда дело касается нас, мы действуем лучше — с интересом. Во всех личных действиях присутствуют также чувства радости и триумфа. Они могут присоединяться к действию, которое мы выполняем или собираемся выполнить. Многие люди вообще не могут подумать о будущем действии, не представив, каким прекрасным и приятным оно выйдет, какой успех принесет. Это форма эгоизма, называемая гордостью, или амбицией. Все люди должны иметь гордость. Если бы этого не было, они ничего бы не делали, потому что будущее действие не представлялось бы им достойным исполнения; они не связывали бы с ним ни интереса, ни радости. А радость должна присутствовать.

Поведение эгоизма развивается, таким образом, очень рано, вместе с социальными формами поведения интереса к другим, привязанности, любви, ненависти. В начале жизни эгоизм непрерывно растет — по крайней мере некоторое время, — но я убежден, что психологические функции, как и все в мире, преходящи. Все проходит, мы присутствуем при непрерывной эволюции; ни одно психологическое явление не вечно. В своей последней книге я упорно защищал мысль, которая может показаться парадоксальной: в ходе эволюции человечества чувства исчезают; чувства усилия, интереса, радости и грусти будут не всегда; человечество из них вырастет, как из старой одежды. Так же и с эгоизмом. Он имеет период восхождения, роста, а в высших психологических функциях идет на спад. Кто знает, не исчезнет ли он однажды вовсе, и не будет ли человечество жить совершенно по-другому. Но до той поры не забудем, что эгоизм возрастает путем присоединения к нему рефлексии. Люди не только действуют, вкладывая в свое дело усилие и радость, они замечают важность этих чувств: действие, совершаемое

с эгоизмом, имеет преимущества, удается лучше, чем безразличное действие. Люди изобрели интерес.

Вы знаете важность слова «интерес». В течение полувека философия стремилась основать почти все моральные и метафизические идеи на личном интересе, как если бы он был чем-то фундаментальным. Вы помните системы морали Иеремии Бентама и Дж. Стюарта Милля, а также дискуссии по этому поводу. Эти дискуссии мне представляются малопродуктивными и преувеличенными. В действительности мораль предшествует интересу; она гораздо проще и появляется с социальной жизнью. Социальная жизнь невозможна без сотрудничества, а сотрудничество — это когда один делает одну часть, а другой — другую. Упорядочение действий, разделение их между людьми и сотрудничество существуют с момента возникновения социальных действий. Они развивались вместе с религиями, а религии возникли уже на заре человеческой мысли и социальных чувств.

Мораль — одно из первых созданий человека. Интерес, напротив, явление более позднее, и его нельзя объяснить как сумму интересов элементарного поведения. Но не менее верно и то, что когда люди поняли значение интереса, они стали использовать его для новых важных действий. Именно в этот момент интерес противопоставил себя самоотверженности, и именно в этот момент эгоизм противопоставил себя альтруизму. По мере того, как эгоизм рос и становился все значительнее, он начал противостоять действиям, в которых не играл никакой роли. Так, в поведении привязанности к другим нет эгоистичного интереса и радости. Эгоизм ему себя противопоставил. Таким образом, есть период преувеличенного эгоизма. Его интересно понять, поскольку это, в частности, дает нам ключ к феномену любви к себе.

Поразительно, что эгоизм развивается у людей, которые начинают слабеть. Человек, теряющий силы и ослабевающий психически, становится гораздо более эгоистичным. У сильно истощенных людей эгоизм доходит до смешного. Они не хотят слышать ничего, что непосредственно с ними не связано, относясь к этому не просто безразлично, а даже с негодованием. Вначале этот эгоизм маскируется, и есть его форма, которая особенно

занимательна, — это эгоизм семьи, секты, группы, класса, когда чувства людей могут распространяться только на ограниченную группу. Например, некоторых женщин интересует только их муж и дети, ничего другого для них не существует. Они с большим трудом из вежливости способны выслушать, что говорят о других; интерес в них пробуждается, только когда речь вновь заходит о них самих. Такое может происходить в семьях, политических или религиозных группировках.

Эгоизм секты — явление очень интересное. Это — способ замаскировать личный эгоизм, говоря, что любишь группу, частью которой являешься и от которой получаешь выгоду. Этот вид эгоизма всегда имеет одну и ту же причину: психическое ослабление. А когда речь идет о себе самом, объект деятельности наиболее ограничен. Джемс говорил когда-то: «Себя знаешь бесконечно лучше, чем других». Не будем преувеличивать, это не всегда так, но в конце концов я сам — это что-то небольшое, ограниченное. Своя семья ближе, чем семьи других, и когда психика утомлена, она может добавлять эти чувства только к близкой группе. Так эгоизм, начав с малого и пережив столь плодотворный расцвет, принимает преувеличенные размеры и в случаях ослабления психики становится опасным.

Теперь у нас под рукой есть элементы формирования личности. В следующей лекции мы будем серьезно размышлять о проблеме индивида и акте индивидуации.

24 ЯНВАРЯ 1929 Г.

12. ИНДИВИДУАЦИЯ

Сегодняшняя лекция о группе и индивиде, возможно, немного более абстрактна и сложна, чем обычно. Досадно, потому что эти сложности возникают по нашей вине. Когда мысли не выражаются ясно, не сопровождаются хорошо их иллюстрирующими примерами, они еще недостаточно продуманы, мы сами недостаточно хорошо их понимаем. Но во всех науках существуют свои пределы и плохо объясненные проблемы. Надеюсь, вам лучше удастся их разрешить.

С моей точки зрения, в социологических теориях, которые сегодня повсюду распространены, встречается поразительное психологическое невежество: в частности, авторы не считаются с базисными психологическими проблемами группы и индивида. Мы попытаемся обозначить их, а уж решать их вам. Впрочем, мы немного отдохнем на следующей лекции, подходя к вопросам более конкретным и простым.

Еще несколько занятий назад мы с вами говорили о так называемом осознании или осознании — преобразовании относительно простых поведенческих форм в осознанные. Я пытался доказать, что это — психологическое усовершенствование, пристройка к изначальному поведению определенных новых качеств, которые лучше его адаптируют к новой ситуации. Осознание происходит в отношении всех форм поведения, какими бы они ни были. Следовательно, оно должно было однажды появиться — и появилось — в отношении социальных действий и поведения личной привязанности и ненависти, прошедших, как и обычное перцептивное поведение, долгий путь развития.

Поведение группы — первоначально совершенно естественное и простое социальное явление. Люди — это объекты, предстающие перед нами со своими особенностями, в чем-то похожие на нас, в чем-то отличные. Мы обладаем перцептивным поведением в отношении очень разных объектов, в том числе людей. Вы скажете: «У людей есть одна неудобная особенность — их очень много». Я уже пытался несколько лекций назад выделить это свойство перцептивного поведения — адаптацию к множественности. На протяжении всей жизни животные встречались с простыми или множественными объектами и приспособлялись к этой множественности. Я приводил пример собаки, которая борется с одиноким волком, но убегает от стаи волков. Между тем восприятие стаи — такое же восприятие, что и одного волка, только со свойством множественности.

Подобным образом дело обстоит для многих вещей: мы едим съедобное, находим плод, который можно есть. Но поведение людей и даже поведение животных в отношении одного и множества плодов разное. Когда плодов

много, мы едим их иначе: мы можем не есть плод целиком, можем откусывать от одного, от другого, бросать, съесть не больше половины, выбирать самый спелый и вкусный.

Особое поведение в отношении множественности сформировалось с давних времен в ходе эволюции рефлексов. Совершенно естественно, что так формируются и социальные формы поведения. Они, впрочем, содержат очень интересное усовершенствование, о котором я вам говорил, — сотрудничество. Оно состоит в том, что мы преобразуем наши действия, осуществляя одну часть и предоставляя другим выполнить другую часть. Социальное действие всегда отлично от действия, совершаемого в одиночку.

Таким образом, существует множество социальных форм поведения, как и форм поведения в отношении разных объектов. И также существуют формы поведения в отношении людей. В последних лекциях я пытался их вам показать: более или менее непосредственные действия в отношении объектов или связанное с чувствами поведение в отношении тех, кто нам приятен или неприятен, увеличивающее или понижающее наши силы.

Итак, у нас есть поведение по отношению к группе и к индивидам. Это — перцептивные формы поведения. Так вот, мы подходим к моменту, когда происходит преобразование и осознание этого поведения, осознание группы и индивида. Вы помните, какое значение когда-то Дюркгейм придавал акту осознания группы. Он даже представлял себе довольно странную штуку: осознание группы происходит вне индивида. Он все время посмеивался над индивидуальной психологией, говоря: «Индивид не сознает то, к чему побуждает его группа; у него нет сознания группы. Сознание группы надиндивидуально». И далее, он говорил о душе группы. Возможно, позднее мы придем к этому, но я не считаю нужным заходить столь далеко. Осознание группы, как и все акты осознания, — это усовершенствование обычного социального акта.

Социальный или индивидуальный акт изменяются, создавая основу для прогресса, называемого осознанием. Как я говорил несколько лекций назад, осознание осуще-

ствляется в самых разных формах. Весь психологический прогресс, все достижения — язык, размышление, суждение, книги, лекции, — это формы осознания, добавляющиеся к предшествующим действиям.

На уровне, к которому мы подошли и который все же достаточно низок, осознание осуществляется довольно любопытным способом — переводом перцептивных психологических актов в акты интеллектуальные. Мы подходим к проблеме интеллекта. Осознание группы и индивида — это, с моей точки зрения, проявление их интеллекта. Так, вопреки плану мы отходим от изучения личности и должны сказать несколько слов об интеллекте. Для философов это непростая проблема. Логики, ученые пользуются интеллектом постоянно, говорят о нем на протяжении веков, но не между ними нет договоренности о том, что такое интеллект, что называть интеллектуальным действием.

Очевидно, что не следует наделять все психологические явления интеллектом, как и сознанием. В отношении интеллекта встает та же проблема, что и с бессознательным, но в еще более сложной форме. Не любое действие характеризуется интеллектом. Сужение зрачка под воздействием света, движение челюстями во время еды нельзя назвать интеллектуальными. Слово «интеллект» применяется к давно возникшим психологическим явлениям, но лишь на определенной стадии их развития. Например, есть социальные формы поведения, которые являются простыми перцептивными рефлексам. Следующая за стадом, волчья стая, разделяется на две группы, чтобы окружить добычу: это происходит как рефлекс, инстинктивно. Здесь нельзя пока говорить об интеллекте. Он появляется позже.

Что он привносит? В чем заключается? В какой момент мы интеллектуальны? Это очень трудно определить. Согласие в этом вопросе еще не достигнуто. Одна из наиболее интересных попыток принадлежит Бергсону. Он берет в качестве критерия интеллекта использование орудия и говорит: «Поведение, которое осуществляется руками, еще не интеллектуально. Когда же рука берет орудие, являющееся посредником между телом и внешним объектом, акт усложняется и становится интеллектуальным».

Это довольно точно. Во всяком случае, здесь есть попытка определения, которой не существовало у предыдущих авторов, но это лишь частный случай интеллекта. Невозможно свести интеллект к использованию орудий: существует много вещей, не являющихся орудиями, как статуя или портрет, и тем не менее в высшей степени интеллектуальных. Трудно применить это определение ко всем случаям, оно слишком узко, и, кроме того, не объясняет, что в орудии существенно и что делает его интеллектуальным.

Когда-то в течение многих лет мы говорили о другом примере, более простом, на котором остановимся и сейчас. Самое время его рассмотреть, поскольку он напрямую связан с вопросом индивида и группы. В 1914 г. в связи с элементарными интеллектуальными актами я проанализировал то, что образно можно назвать поведением корзины яблок: я описал корзину яблок как способ создания интеллектуального объекта. Остановимся ненадолго на понятии корзины яблок, которое непосредственно ведет нас к понятию социальной группы и индивида.

Веками существовало поведение, которое можно назвать поведением в отношении яблок и в отношении корзины. Животным нравятся яблоки; у обезьян, например, поведение в отношении яблок уже существовало. Оно не столь просто, как может показаться, поскольку яблоко предстает в разных аспектах. Существует поведение в отношении съедобного яблока — взять его и съесть. Есть поведение в отношении яблока, висящего на дереве, когда его нужно достать, — и это уже другая ситуация. Наконец, есть поведение в отношении яблока, которое держат в руках. Находиться в руках — это свойство яблока. Некоторые объекты, такие как дом, слишком велики, чтобы обхватить их руками, они больше меня, и есть объекты, которые легко переносить, — портативные. Наконец, яблоко обладает очень важной особенностью: это сплошной объект, который нельзя проткнуть пальцем, в него невозможно проникнуть, не разламывая, без определенных трудностей. Вам знакомо занятие маленьких детей: с самого раннего возраста, еще в колыбели, они пытаются засунуть палец во что-нибудь — в погремушку, бутылочку. Проникнуть во что-либо рукой или пальцем —

акт рефлекторный, примитивный и очень важный. Есть объекты проницаемые и непроницаемые. Яблоко как раз относится к последним. Таким образом, есть особые формы поведения в отношении яблока.

Кроме того, существуют формы поведения, о которых я только что упоминал, говоря о группе: поведение множественности. Плоды, более чем какие-либо другие объекты, могут обладать характером единичности и множественности. Голодная обезьяна может увидеть одно яблоко на дереве и осуществить в отношении него поведенческий акт. Ее занимают только такие характеристики яблока, как съедобность, целостность, портативность, досягаемость. Или же она может встретить дерево, полное яблок: по отношению к ним возникнет поведение множественности. Все эти действия представляют собой перцептивное поведение и обладают его общими свойствами.

Корзина — также объект внешнего мира. Корзиной может служить лист бананового дерева или одеяло; полая изнутри тыква-горлянка может вмещать предметы. Корзина, как и яблоко, уже предполагает определенное перцептивное поведение. Это объект в большинстве случаев несъедобный, по размеру большой, но не слишком. Корзину можно брать в руки, переносить, и у нее есть замечательное свойство, доставляющее много радости детям, — она полая. Но это не означает, что она всегда будет использоваться как корзина. Есть забавная повесть Р. Киплинга о тыкве. Один из зверей, которых он описывает, кладет тыкву в воду, играет с ней, проделывает всевозможные штуки, вплоть до того, что наполняет ее водой и опрокидывает на голову соседа. А затем думает: «Как глуп я был, не понимая, что можно наполнить тыкву водой и отнести в пещеру, где мы всегда страдаем от жажды!» Играя с тыквой, он не подумал о сосуде. Он видит в тыкве только перцептивные свойства.

Каковы особенности перцептивного поведения? С одной из них мы уже неоднократно встречались: подобно рефлексам, это поведение всегда одинаково и упорядоченно. Вспомните коленный рефлекс. Ударьте по коленке, и произойдет небольшое движение. Положите в рот съедобный объект, начнутся реакции жевания, слюноотделения и глотания в определенной, всегда одной

и той же последовательности. Это сложный акт, но он систематизирован, упорядочен, незыблем. Однако это не исключает то, что рефлекторное и перцептивное поведение со временем могут прогрессировать.

Есть животные, такие как мышь, чьи перцептивные акты скудны, у других — кошки или обезьяны перцептивные акты очень разнообразны. Можно сказать, что инстинкты животных исчисляются тысячами, потому что перцептивные формы поведения формируются одна на основе другой. Возникает новая проблема, требующая новых действий, новой адаптации, и создается перцептивное поведение. Но создание перцептивного поведения имеет тот же существенный недостаток, что и рефлекса: необходимо длительное, медленное изменение органов. Новый рефлекс формируется на протяжении многих поколений. Новое перцептивное поведение развивается в процессе научения животных, формируется долго, и новая вставшая перед ними трудность будет преодолена лишь спустя столетия. Все это время они находятся в опасности. Следовало бы изобрести нечто, что быстрее изменяло бы перцептивные формы поведения, адаптировало их друг к другу.

Вот ситуация, непосредственным образом связанная с нашим примером про яблоки и корзину, в которой возникает проблема. Она стояла уже перед первыми дикарями, не говоря о животных. Животные не разрешили эту проблему, не поняли ее. Это проблема — необходимость перенесения большого количества яблок. Животное привычно к множественности яблок, у него есть соответствующие формы поведения; оно также знает способ переноски одного яблока, умеет его держать и нести. Но представьте себе ситуацию: животное видит дерево, полное плодов. Ему известно, что его племя неподалеку умирает с голоду и нуждается не в одном, а во множестве яблок. У него есть желание, если хотите, стремление, принести много яблок. Нам это кажется просто, но на заре человечества это было колоссальной проблемой. Животные не в состоянии ее разрешить. Вы можете в этом убедиться на забавном эксперименте с собакой, приносящей некоторый предмет. Ей бросают мячик, она за ним бежит, с радостью поднимает его и

приносит: она это понимает. И тут вы решаете сыграть с ней злую шутку, делаете нечто ужасное: вместо того чтобы бросить один мячик, вы бросаете десяток. Она совершенно растеряна, не знает, что это значит. Она берет один мяч, делает пару шагов, бросает его, берет другой и так до бесконечности. Дело кончается тем, что она устает от этого непонятного занятия и ничего не приносит. И так же маленькие дети: они не могут принести много объектов, — набирают их в руки, прижимают к груди, роняют и не могут собрать; даже если вы предложите корзину, они не будут знать, что с ней делать. Прошло немало времени, пока какие-то гениальные первобытные люди не изобрели нечто не менее потрясающее, чем огонь, — они додумались до корзины.

В чем психологический смысл корзины? Изобретение корзины заключается в совмещении двух линий поведения — в отношении яблок и в отношении корзины. Существует рефлекс яблока и рефлекс корзины, и они, что важно, совершаются одновременно. Так как рефлекторные акты не могут одновременно совершаться для двух разных действий, они объединяются: создается промежуточное действие, сочетающее поведение в отношении корзины и в отношении яблок. Оба действия совершаются разом. Такое соединение имеет очень любопытное свойство: тогда как все рефлексы, перцептивные акты и инстинкты постоянны, неизменны при всех обстоятельствах, оно жестко не фиксировано.

Эти новые формы поведения необыкновенно вариативны, поскольку в них есть две составляющие, два объекта, два простых акта, и на первый план выходит то один, то другой. На одном полюсе — практически полная поглощенность поведением в отношении корзины и очень небольшая доля — в отношении яблок. На другом — практически полное внимание к яблокам, но и здесь есть некоторая доля поведения с корзиной. Вот почему новые формы поведения имеют исключительное свойство, в котором — источник множества логических проблем. Это поведение — двойственное, и не только потому, что складывается из двух объединенных действий, но и потому, что может совершаться двумя разными способами: то с акцентом на яблоках, то — на корзине.

Впрочем, у нас есть название для поведения с яблоками и корзиной: это гениальное изобретение — действия по наполнению корзины и ее опустошению. Они невозможны отдельно для яблок, отдельно для корзины, а только для них вместе. В первом действии — наполнении корзины и перенесении наполненной корзины акцент делается на корзине. Манипуляции с корзиной первостепенны: это объект полый, переносной, большой и т. д.; действие должно считаться с этими особенностями корзины. Но мысли заняты и яблоками, поскольку в конце концов корзину несут, чтобы потом съесть яблоки; думают немного о яблоках, но все же больше о корзине. Но вот переноска завершена, и корзина опустошается, яблоки вынимают и занимаются ими. Теперь можно думать о том, чтобы их съесть, тогда как минутой раньше занимало совсем другое. Яблоки — маленькие, многочисленные, съедобные объекты — вынимаются из корзины, корзина становится менее значимой, и внимание переключается на яблоки. Мы теряем к корзине интерес; между тем поскольку мы обладаем интеллектуальным поведением, то помним, что яблоки появились из корзины, и проверяем, не осталось ли там еще. Одним словом, внимание к корзине остается.

Интеллектуальные акты, таким образом, становятся новым способом адаптации. Вместо того чтобы реагировать грубым образом — посредством перцептивного поведения, всегда одинакового и закрепленного в телесной организации, — возникают не один, а два поведенческих акта. Это редкость, поскольку обычно, как говорил Шеррингтон, нервные пути не позволяют совершаться двум действиям одновременно. Он называет это «общим путем», который обслуживает лишь один акт. Здесь же перед нами два действия, которые мы соединяем постольку, поскольку они соединимы между собой. Мы объединяем их разными формами поведения, устремленными то к тому, то к другому полюсу. Для интеллекта это имеет первостепенную важность. Данная особенность есть во всех типах поведения, возникших в одну и ту же эпоху: поведении с орудием, о котором говорил Бергсон, в портрете и статуе. Портрет и статуя — это поведение, сочетающее два простейших действия: в отношении неживой материи, такой как глина

или бумага, и в отношении определенного человека. Оно промежуточное между двумя простыми видами поведения. И ту же особенность можно найти в поведении дороги. Существует бесконечное множество интеллектуальных форм поведения, промежуточных и функциональных, которые развиваются на этой стадии психологической эволюции.

Говоря об индивиде и группе, мы имеем дело с интеллектуальной проблемой. С некоторого времени у нас есть понятие группового поведения, совершаемых в группе социальных действий. Мы также получили представление о поведении, касающемся наших соседей, поскольку одних мы любим, других терпеть не можем, — у нас есть особое поведение в отношении одних и других. Это дает две формы поведения: в отношении группы как целого и в отношении отдельных ее членов. Интеллект незаменим, когда мы испытываем трудности адаптации с этими двумя формами поведения по отдельности. Однако эти трудности возникают на каждом шагу. В племени дикарей важно быть готовым защищаться в непредвиденных обстоятельствах, — например, когда в лагере почти никого нет. Тогда надо найти людей и объединить их. Или случаи, когда надо быстро строить новое сооружение.

Когда-то эти социальные трудности были губительны для племени: изобретение новых форм перцептивного поведения шло медленно, на протяжении поколений. Люди, с которых интеллектуальное поведение началось, осуществляли действия одновременно в отношении и группы, и каждого ее члена, учитывали и индивида, и группу, совмещали эти формы поведения. Очевидно, это очень сложно, поскольку формы эти очень разные: поведение по отношению к индивиду — поведение привязанности или ненависти к конкретному человеку; поведение в отношении группы — сотрудничество, форма менее четкая и определенная. Их нужно соединить, скомбинировать и найти действия, аналогичные актам наполнения и опустошения корзины, чтобы изобрести новую форму поведения, которая будет поведением группы.

К каким действиям можно прибегнуть, чтобы объединить эти два понятия индивида и группы? Сущест-

вуют особые формы поведения, которые в точности иллюстрируют пример с корзиной. Люди в лагере объединяются, создают группу, которая до этого не существовала. До сих пор группа формировалась сама, естественным образом, — возможно, узами родства. Рождались дети, оставались вместе, и это создавало сообщество объединенных по воле судьбы людей. Не сам человек, а смерть и рождение формировали группу. И вот мы подходим к эпохе, когда человек создает группу, должен это сделать. Он созывает сородичей и говорит: соберемся вместе по такому-то поводу; он создает группу. Так, в частности, происходит еще одно важное изобретение, о котором столько говорят социологи, — возникают церемонии и праздники.

Праздники и собрания существовали не всегда. Животных вынуждают объединяться, толкают друг к другу внешние обстоятельства, но животные не создают объединений и не призывают друг друга к сбору. Люди изобрели праздники, битвы и общую защиту. Одним словом, у них были особые призывы к сбору. Люди звали друг друга и объединялись. Собравшись, они делали, что хотели, устраивали праздники и обнаружили, что совместные действия не ослабляют племя, а, напротив, делают его сильнее. Но праздники не могут продолжаться вечно. Надо добывать пропитание, работать. Необходимо распустить собрание. И постепенно люди изобрели формулу, которую произносит президент ассамблеи: «Господа, конгресс завершен». Пора расходиться, прощаться друг с другом. Идите по домам. К концу праздника нужно распустить людей, закрыть собрание.

Эти две операции — собрание и роспуск собрания — представляются мне тождественными двум другим операциям, о которых я вам говорил: наполнению и опустошению корзины. Это — операции того же типа, совмещающие поведение в отношении группы и в отношении индивида. Интересно, что группа, то индивид, в точности как с яблоками и корзиной. Созывая на собрание, люди больше поглощены группой: подобно тому как, наполняя корзину, больше думают о корзине. Когда распускают собрание, отправляя всех по домам, больше думают об индивиде. Но в обоих случаях противоположный полюс не исчезает.

Чтобы объединить группу, нельзя забывать об индивиде. Созывающий всех на площадь глашатай настоятельно приглашает, ищет людей, которые не пришли, и к которым у него имеется аффективное отношение симпатии или антипатии. При сборе группы индивид остается важным, как при роспуске группа продолжает иметь значение. Когда люди идут на работу, даже по отдельности, у каждого все-таки присутствует мысль о своей группе.

Каждый раз, когда люди совершали новые действия, они создавали объекты, связанные с этими актами. Объекты в мире — не что иное, как экстерииоризованные, вынесенные вовне действия. Я не знаю, состоит ли мир на самом деле из объектов. Возможно, мир имеет более однородную структуру, чем мы думаем. То, что в нем есть столы и стулья, отличающиеся друг от друга, надо еще доказать, но действия отличны друг от друга, поскольку люди не могут сделать все сразу, их нервная система к этому не готова. Действия порождают объекты. В мире существуют различные объекты, потому что мы совершаем по отношению к ним особые действия.

Итак, мы остановились на изобретении новой интеллектуальной формы поведения, служащей посредником между двумя перцептивными формами. И согласно общему закону, люди создают объекты, соответствующие новым формам поведения, подобно тому, как у них были соответствующие формы поведения в отношении яблок, камней и рек. Только в отличие от примитивных форм поведения новые формы не столь систематизированы, плохо упорядочены и бесконечно вариативны. Так что и соответствующие им объекты будут также не столь хорошо очерченными и более вариативными.

Существует поведение группы. Люди изобрели эмблему группы — знамя; знамя — не что иное, как тотем. Тотему не дали еще удовлетворительного психологического объяснения. Тотем — это интеллектуальное поведение группы, элемент, служащий для собирания вместе, для создания группы, которая не существовала раньше или чье существование было случайным. Тотемы бесконечно распространились и умножились; и в связи с этим возникает психологическая сложность: вопрос о природе знамени и тотема.

В первом томе «От тревоги к экстазу» я ввел понятия, которые могут показаться весьма странными и невразумительными. Я говорил, что в окружающем мире есть как действительно существующие вещи — истинное, реальное, — так и полуреальное, реальное на четверть, почти реальное. У нас есть объекты, существование которых отличается от существования других объектов. Флаг или тотем, которые носили на копье, или иная, пусть самая примитивная, эмблема — это исключительный объект: он есть и в то же время его нет. С одной стороны, он существует в том смысле, что это деревянная палка или ветвь, на которую насажена голова животного, или же эта голова выпилена на конце деревяшки. Вы скажете: «Это кусок дерева, это голова, птица». Но это вовсе не так. Кусок дерева, голова, птица — реальность, соответствующая простейшим перцептивным актам. Тотем, флаг — нечто иное, это вещь, существующая потому что я так хочу. Она существует для нас, когда мы совершаем акт объединения в группу, и если мы не узнаем в нем флаг народа, он становится куском ткани, не более того. Он наполовину реален, по-иному реален.

Мы находим свойство полуреальности и в других примерах. Портрет также будет полуреальным, а также это касается и воспоминаний, поскольку они не соответствуют чему-то существующему, к чему можно прикоснуться. Итак, у нас окажутся самые разные объекты. И группа предстанет перед нами особым образом. В связанных с группой действиях мы выделили объединение и роспуск. На церемониях, праздниках следует созывать людей, собирать их, вместе развлекаться, а затем разойтись. Операция роспуска группы происходит до некоторого предела. Например, когда собрание завершается, некоторые уходят вместе: это симпатизирующие друг другу люди, семьи. Есть люди, остающиеся вместе: разделение происходит не разом, а группами, и это соподчиняющиеся группы. Но вот подходит момент, когда все группы разошлись, собрание действительно закончено. Точка, дальше которой некуда идти. Как в случае корзины, опустошение небесконечно, наступает момент, когда вы прекращаете это действие по одной простой причине — там больше нет яблок. «Но и тогда надо

продолжать делить», — сказали бы философы, которые говорят: «Опустошать корзину, делить яблоки следует до бесконечности». Ладно, изобретем дальнейшее деление яблок, но разрезанное яблоко перестает быть целым и больше не вызывает простейшего поведения.

Когда вы делите стадо баранов, наступает момент, когда остается только один баран. Если вы его разрежете на маленькие кусочки, барана больше не будет. Барана нельзя разделить. Это не остановило философов, придумавших бесконечное деление, но остановило других людей, которые не были для этого достаточными философами. Они остановились на удовлетворявшем их моменте роспуска собрания, и здесь мы приходим к другому аспекту интеллектуального понятия группы: у нее есть предел, дальше которого деление невозможно; этот предел — индивид.

Индивид представляет собой большую философскую проблему. В Средние века — например, в трудах Св. Фомы Аквинского — велась долгая дискуссия об индивидуации. Что создает индивида? Фома Аквинский был очень озадачен этим вопросом, и я тоже. В конце концов, это очень сложная проблема. Такие философы, как Фома Аквинский, ставили ее иначе, чем психологи. Они делали предположение, аналогичное тому, которое выдвигают наши философы, стремящиеся разделить барашка на бесконечное число маленьких кусочков. Они доводили операцию до логического конца и, не смущаясь ограничениями практической жизни, заходили слишком далеко. Эти философы стремились найти определение индивида, которое было бы философским, четким и прежде всего объективным, которое бы существовало в мире и говорило бы о существовании индивида в мире. Это очень трудно и, в сущности, мы об этом ничего не знаем. Есть ли в мире настоящие индивиды? Это та же проблема, о которой я только сегодня говорил, спрашивая вас, есть ли на свете настоящие объекты?

Ботаники готовы до хрипоты спорить, где в растении заключен индивид: в том ли, что растение может приживаться, что черенок может давать корни, в листочках, в стебле? Что такое индивид в растении? Несколько условно нам сегодня скажут, что индивид растения — это

не все дерево, а лишь однолетний побег. Дуб для ботаника не является индивидом. Индивид — это поросль этого года. Нам трудно принять, что дуб для нас не является индивидом.

Вы знаете, с какими трудностями сталкиваются, когда речь идет о живых существах, колониях моллюсков. Неустанно спорят о том, является ли индивидом колония кораллов или каждый моллюск в отдельности. Вопрос всегда ставится с философской точки зрения. Но для нас вопрос заключается в другом: речь идет о психологическом индивиде.

Психологический индивид — это творение прежде всего социальное. Мы изобретены благодаря обществу, которое нас создало и столь же успешно может нас разрушить. Нас разделяют разные функции, социальные взгляды, суждения. Разделение группы прерывается психологически в очень простой момент: когда больше не на что подразделять, когда деление не может продолжаться далее. В этот момент на первый план выходят другие перцептивные тенденции, которые мы изучали на предыдущих лекциях. Когда заканчивается деление группы, вы вновь встречаете ваших друзей, врагов, родственников, коллег, всех тех отдельных людей, в отношении которых вы уже выработали индивидуальные формы поведения. К социальному разделению группы прибавляется уже известное нам понятие индивида. Мы интеллектуально представляем наших друзей и врагов как части, элементы общей группы, особых индивидов. Подобно тому, как мы формируем группу и создаем ее особую эмблему, характеризующую группу как интеллектуальный объект, нам следует найти интеллектуальное поведение, которое характеризовало бы индивида, отличающегося от других и в то же время являющегося частью группы.

Какое поведение, свойственное индивиду, играет ту же роль, что и тотем или знамя? Мне кажется, здесь надо без колебаний обратиться одновременно к социологическим и психологическим исследованиям особого действия — акта приветствия. Он имел первостепенное значение, хотя сегодня постепенно теряет свою значимость, поскольку благодаря языку сведен к минимуму,

ПСИХОЛОГИЧЕСКАЯ ЭВОЛЮЦИЯ ЛИЧНОСТИ

упрощен, стал абстрактным. Но когда-то у примитивных народов приветствие имело огромное значение. Чтобы приблизиться к кому-то, нужно было совершить массу формальностей — особенно если это был вождь. Существовала целая наука приветствия: упасть наземь, носом в пыль, простирая особым образом руки.

Акты приветствия различались в отношении разных индивидов. Вождя приветствовали иначе, чем простого воина; существовали приветствия в соответствии с определенным человеком, включавшие жесты, формальности и самые разные звуки. Акты приветствия соотносимы с актами знамени. Если хотите, это те же самые акты, но видоизмененные. Сюда же относятся татуировки и костюмы. Каждому индивиду дается особый атрибут. Постепенно приветствия свелись к некоторым общим формулам. На самом деле, когда поведение становится интеллектуальным, адаптируется к группе, оно должно меняться. Когда мы одни, мы ведем себя, как хотим, и делаем те движения, какие хотим, при условии, что они ведут к цели. С того момента, когда мы в группе и хотим объединить группу, мы вынуждены изменить наши установки и принять общие.

Это привело к самым разным последствиям, которые мы сейчас не будем рассматривать из-за нехватки времени. Одни свойства более тяготеют к коллективности, чем другие. Люди быстро научились не доверять обонянию, поняли, что у человека плохой нюх, и он плохо различает запахи. Люди отдавали себе отчет, что, определяя вещи по запаху, не найдут понимания, что другие чувствуют иначе. Они также увидели, что и слух вариативен. Поэтому стали полагаться почти исключительно на зрение. Использование зрения и визуальных объектов — это уже коллективное поведение. Подобно этому приветствия постепенно становились коллективными актами, которые каждый мог понять и услышать, и стали выражаться словами. Речь развивалась как следствие приказа и приветствия. Приказ дал начало общим именованиям, обозначающим действия и связанные с ними объекты. Приветствие положило начало имени собственному, и каждому человеку был дарован особый атрибут — его собственное имя.

Развитие этой работы имело важный результат, которым мы и закончим. Следуя закону, о котором я рассказывал вам в прошлый раз, каждый человек повторяет в себе самом социальные формы поведения. Мы создаем группы и индивидов, являющихся нашими врагами и друзьями, и таким же образом мы создаем себя как индивидов.

Происхождение индивида всегда вызывало трудности у философов, которые вложили в это понятие многие метафизические принципы о душе и неделимой целостности. Но все эти понятия вторичны. Лишь много позже, после того, когда у человека уже было собственное имя, были придуманы идеи души и личности. Изначально создание индивида было актом социальным, ничего общего не имеющим с метафизикой души. Мы стали индивидами, потому что наши соседи называют нас определенным именем, всегда одним и тем же. Ребенок создает свою индивидуальность потому, что его называют всегда одинаково и что поведение по отношению к нему имеет некоторое единство.

Итак, мы применяем к себе то же поведение индивида, которое используется в отношении других, в частности поведение не-деления. Я только что рассказывал вам в шутку о том, что философы делят яблоко или барашка на кусочки, тогда как люди, деля яблоки в корзине, останавливаются, когда остается одно яблоко. Это правило индивида — его нельзя делить до бесконечности. С того момента, как барашек разрезан на кусочки, и мы не можем осуществлять по отношению к нему поведение пастуха, это уже не барашек; так остановимся, не будем заходить так далеко. Деление имеет свой предел. Подобно этому, человек не может распустить собрание в самом себе, разделять себя, назваться президентом, секретарем и т. д. Он — один-единственный индивид. Так постепенно создается единство индивида. Это единство — творение хрупкое, оно создается социально благодаря отношениям группы и индивида и легко нарушается. Вот почему я предлагаю вам после этой несколько теоретической и абстрактной лекции лекцию более практически направленную — об иллюзиях единства индивида. В следующий раз мы рассмотрим явления одержимости и медиумизма, при которых это единство оказывается утраченным.

ПСИХОЛОГИЧЕСКАЯ ЭВОЛЮЦИЯ ЛИЧНОСТИ

1 9 2

28 ЯНВАРЯ 1929 Г.

13. ОДЕРЖИМОСТЬ

Прошлая лекция — о коллективных тенденциях, приводящих к формированию группы и индивида и затем к общим идеям и индивидуальным тенденциям, — хотя немногочисленная и абстрактная, была призвана показать сложность и многогранность психологической операции индивидуации.

Проблема индивида — уникального и обособленного от других — стоит как в метафизике, так и в науке: даже биологи пытаются понять, каков он, индивид, и что собой представляет. Эта трудность исходит, возможно, из того, что индивид гораздо менее реален, чем другие вещи. Индивид — это человеческое творение. Нам нужно было, чтобы появились индивиды, мы в этом нуждались уже на заре социальной жизни, и в результате большой работы, через трудности и ошибки, нам удалось индивида создать.

Поведение группы и индивида послужило началом человеческого интеллекта, большую роль в котором играли изобретения и пробы. Если это так, мы должны найти экспериментальное подтверждение: выявить в поведении людей ошибки индивидуации. Если индивидуация сложна и многогранна, она не может всегда происходить без сучка и задоринки, в ней должны быть ошибки. Человечество сталкивалось и еще сталкивается с разного рода непониманием по поводу — я не говорю «индивида», поскольку не знаю, существовало ли когда-либо то, что можно им считать, — того, что мы могли бы называть индивидом.

Самая сложная форма операции — та, на которую я вам указал в прошлый раз, — перенос интеллектуальных форм поведения индивида на себя самого, свое собственное тело, помещение в свое тело индивида, всегда одного и того же. Мы осуществляем это поведение не для себя, а для удобства других. Мы рассматриваем другого как индивида и особым образом к нему относимся, а в качестве ответного жеста хотим, чтобы другие вели себя так же по отношению к нам. Создавая самих себя как индивидов, мы способствуем социальным связям.

Эта последняя операция, самая поздняя и в то же время самая сложная, в наибольшей степени подвержена ошибкам. Можно привести много примеров. Остановимся на одном из них ввиду его исторической значимости, а также типичности и репрезентативности. Это знаменитый бред одержимости, исследование которого представляет трудности и связано с множеством вопросов. Мы вернемся к нему также через несколько занятий, говоря о расстройствах персонажа.

Бред одержимости более серьезен, чем расстройство персонажа. Это то, что называют раздвоением я. У персонажа, как и у нас, только одно тело, и в конечном счете одно поведение. Его руки, ноги, рот подчиняются общим законам нервной системы и каждый раз могут совершать только одно действие. Одним словом, он обладает телесной целостностью, и мы можем, следуя общему правилу, признать в нем индивида. Мы называем его одним именем: г-н Такой-то. Но он протестует, ведет себя совершенно иначе и говорит: «Вы ошибаетесь, называя меня одним именем и считая меня одним индивидом. На самом деле в моем теле живут несколько индивидов. Второй — особенно важный — бог или, чаще, дьявол. Это персонаж, который овладел мной и стал моей частью и я ношу ее в себе, как и все остальные. Этот индивид обладает собственным поведением, отличным от моего: берегитесь, он еще задаст вам жару. Вы ждете от меня единого поведения, а их много, и вы сильно удивитесь, увидев во мне двух разных индивидов».

Такие высказывания, такая трактовка нескольких персонажей играла большую роль в определенную эпоху существования христианства. Было время, особенно в Средние века, когда очень многие имели такую удивительную манеру выражаться. В них жил бог или дьявол. В зависимости от выбора — божественности или демонизма, — эти люди считались пророками или одержимыми.

Средневековые теологи и философы недолго ломали голову над этими несчастными одержимыми, приняв простое решение — их сжигали. На самом деле они пытались так избавиться и от психологической проблемы, отделаться от всех проблем сразу. Это решение не всегда было удачным, поскольку костер только воодушевлял других.

Эпидемии одержимости были очень значительными и продолжались долго в истории человечества; еще в XIX веке такая эпидемия в Морзине. В особенности в монастырях многие чувствовали внутреннюю раздвоенность и говорили, что одержимы дьяволом.

Я бы хотел напомнить вам цитату из средневекового автора, которая, как мне кажется, довольно хорошо описывает черты одержимого персонажа. Я обращаюсь к Эгинхарду, одному из теологов-экзорцистов, в обязанности которого входило распознать одержимого (что не всегда было просто) и определить, следует или нет его сжечь на священном костре. Эгинхард описывал следующие черты, которые служили ему критериями для диагностики: «Это было очень необычное для нас, присутствовавших, зрелище: видеть злой дух, говорящий устами бедной женщины, слышать голос то мужской, то женский, — столь отличные друг от друга, что нельзя было поверить, что она произносила их сама, и можно было подумать, что слышишь двух разных людей, оживленно спорящих и оскорбляющих друг друга. В действительности, было два человека (этого почтенного человека легко было убедить), две разные воли, — с одной стороны демон, стремящийся расколоть тело, которым он овладел, — и, с другой стороны, женщина, желавшая освободиться от одолевающего ее врага». Вот типичная картина внешней стороны одержимости.

Вести себя как отдельный персонаж можно по-разному. Я упоминал о роли татуировок, костюма, манеры держаться, и в особенности жестов, слов, приветствий — всегда одних и тех же. У нас есть особый способ характеризовать себя. Так вот, эти люди обладают двумя особыми индивидуальными линиями поведения. Они изменяют голос: второй голос, очевидно, принадлежит кому-то другому — демону. У них есть вторая точка зрения на мир. То, что описывает Эгинхард, особенно важно. Одна из характеристик, служащая началом телесности, а затем и индивидуации, — витальный инстинкт, защита тела. Мы говорили об этом в связи с первыми регуляторами, создающими первичную целостность организма.

У нас есть привычка не то чтобы считать себя собственником тела, но оберегать все его части. Мы не хотим,

чтобы касались нашего носа или ног. Мы защищаем и то и другое, охраняем все наше тело, как свою собственность, как все нам присущее, и мы не станем нападать одной рукой на другую, бороться одной стороной тела против другой. Однако одержимая, которую описывает Эгинхард, ведет себя как раз наперекор витальному инстинкту. У нее были и действия, защищающие тело в целом, и действия нападающие, нацеленные на причинение своему телу вреда. Во всех историях об одержимых вы встретите эту особенность, ставшую классической. Демон принудил одну несчастную одержимую вылизывать пол часовни: весь язык ее почернел. Мы бережем свой язык и так его не пачкаем, напротив, поведение этой женщины причиняло ей вред.

Одержимые наносят себе повреждения, удары, более или менее сильные. Если повнимательнее присмотреться, можно заметить, что они не наносят себе слишком больших повреждений, — всегда есть некоторая внутренняя защита, — но они делают все, что могут, пытаются как можно больше поранить себя. Таким образом, им присущи две противоположные формы поведения. И эти две формы поведения служат для диагностики индивидуации. Когда мы видим двух нападающих друг на друга индивидов, и индивид А стремится причинить вред индивиду Б, мы говорим: «Это два противоборствующих индивида, поскольку они не оберегают свое тело», и мы их разделяем. То же самое делает одержимый. Эта особенность одержимых в Средние века встречалась тысячи раз. Инквизиция боролась с одержимыми, так же как против разделения веры, — за целостность души, которая нужна, чтобы снять проблемы и упростить поведение. Долгое время считалось, что так понимаемая одержимость типична для христианства.

Затем мы подходим ко второму историческому периоду, во время которого к одержимым стали относиться по-другому: к эпохе психиатрической или научной. Было замечено, что такие люди есть не только в монастырях, но и психиатрических больницах. Множество авторов стали наблюдать одержимых в домах умалишенных. Уже в XVIII веке в одной необычной книге под названием «Вампиры и духи Моравии» монах Дом Калмет рассуждает вполне здраво и убедительно, показывая, что во всех рассказы-

ваемых им странных историях есть доля сумасшествия. «Это абсурдно», — повторяет он каждый раз, имея в виду, что это проявление болезни души. Затем появились работы Эскироля, Хавлока Эллиса в Англии, Аршамбо, Леграна дю Соль, Гислена в Бельгии, Маккарио, Ритти, позднее — Сегла и многих других, наблюдавших в домах умалишенных бред одержимости. Вы везде найдете исследования этого расстройства, которое довольно справедливо сближают с бредом преследования и которое сегодня рассматривается как его форма. В действительности преследуемые различаются в зависимости от их взгляда на преследователей. Позднее мы увидим почему. Их основная идея — ненависть, объект которой — они сами, а вовсе не ненавидящий их человек. Этого человека они могут представить как угодно, обычно в удалении от них, полагая, что тот воздействует посредством электричества или магнетических приемов. Но есть преследуемые, которые помещают своих преследователей ближе к себе, в одну из частей тела, в свой желудок — подобно описанной Эскиролем женщине. У нее в животе происходил собор епископов, что довольно утомительно, и она все время переживала преследование в своем желудке.

Но другие идут еще дальше и помещают своих преследователей внутрь того, что можно назвать душой, внутрь своего существа. Есть одержимые, которых преследуют, — их описано очень много. Когда-то (в 1895–1896 гг.) я довольно долго изучал странный случай преследования у деревенского мужчины, совершенно необразованного и простоватого. Сегодня бред одержимости можно встретить только у персонажей такого рода. Этот человек после совершения некоего проступка (он в поездке изменил жене) чрезмерно обвинял себя и говорил, что он — добыча дьявола.

Я провел с ним небольшую работу, но сегодня речь не о ней. У авторов прошлого я нашел приемы диагностики, которые использовались экзорцистами — такими как, например, Эгинхард, и задался вопросом, как эти врачеватели души проводили диагностику. Я попробовал применить их приемы к больному, которого иронически окрестил Ахиллом, поскольку он был не так уж смел. У этого персонажа один за другим появлялись все при-

знаки классической средневековой одержимости, включая латынь! С ним можно было говорить на латыни, и он по-латыни отвечал. Я сказал ему: «*Applica digitum tuum super nasum*», — и он все прекрасно понял. Он понимал латынь, как одержимые в Средние века. Итак, у него можно было обнаружить все диагностические признаки одержимости.

Я наивно предположил, что Ахилл — одержимый. Увы! Как часто ошибаются именно в диагнозе. Религиозные авторы, изучавшие мою работу, с интересом и благосклонностью цитировали ее, но говорили, что я совершил одну ошибку. Это была, говорили они, не настоящая, а псевдоодержимость. Я бы очень хотел знать, по какому диагностическому признаку эти авторы отличили псевдоодержимого от истинного: они сами не были столь добры, чтобы признак этот указать. Они остались при своем мнении, что Ахилл был псевдоодержим, подобно тому, как бедная Мадлен — женщина, о которой я писал, — переживала не подлинный, а лишь псевдоэкстаз.

Сначала я расстроился из-за этой критики моей диагностики. Но, поразмыслив, понял, что они были правы, потому что не все объективно в диагностике одержимости, она частично зависит от врача. Короче говоря, больной может быть признан одержимым, только если его обследовал человек в рясе священника. У моего одержимого было достаточно объективных признаков одержимости, но у меня не было должного статуса, чтобы поставить такой диагноз. Нужно было быть скромнее и назвать его псевдоодержимым. Таким образом, вы видите, что одержимость или псевдоодержимость изучались и в психиатрических больницах, и что она часто имеет одни и те же особенности.

Но мы увидим и третий период исследования, начавшийся немногим позже и необычно расширивший тему одержимости. Я напоминаю вам уже довольно старую диссертацию доктора Генри Мейджа (1894) о так называемой «черной одержимости». Вот что странно: до сегодняшнего дня одержимые были белыми христианами, но диссертация посвящена черной одержимости. В предисловии он замечает, что одержимость очень часто встречалась в греко-римские времена. Была она и у фригийских жрецов,

у сивилл (Кумская сивилла и др.). Вспомните шедевр греческой цивилизации «Золотого осла» Апулея, где весьма забавно описан одержимый. Еще до христианства одержимость была знакома римлянам и грекам.

Но Мейдж продолжает, все больше приводя читателей в замешательство. У африканских народов, у которых христианские и греко-латинские религии приняты меньше всего, также встречаются различные одержимости. Черные одержимые описаны повсюду, они одержимы другими богами и демонами, но имеют ту же черту — расщепленность, сосуществование двух противоположных поведенческих линий: индивида, который защищается, и индивида, который нападает на себя самого, стремится к нанесению себе вреда, иногда — к самоубийству.

Но пойдем дальше. Вот другая работа, которую можно было бы сопоставить с интереснейшим трудом Мейджа. Я имею в виду книгу американца доктора Джона Невьюса из Нью-Йорка, описывающего свое путешествие в Китай и тамошних одержимых. Как ни печально, приходится быть скромнее: одержимость не является нашей привилегией. Вот и среди китайцев одержимых немало. Они одержимы богиней Ванг, но это ничего не меняет. Название может меняться, но это все та же психическая болезнь.

К тому же времени относится работа, опубликованная в Нью-Йорке знаменитым астрономом Персивалом Лоуэллом. Именно он описал каналы Марса, которые в течение нескольких лет приковывали наше внимание. С помощью телескопа он даже рассмотрел шлюзы, которыми пользовались марсиане. Он долго изучал жизнь обитателей планеты Марс. А еще он изучал религии Японии и в книге под названием «Путь Богов» описал паломничество у японцев, в точности похожее на наше. Любопытно наблюдать, насколько религиозные идеи одинаковы во всех странах, — когда нужно подниматься в горы и в разных часовнях преклонять колена, молиться, произносить разные заклинания. Это паломничество имело необычное свойство порождать одержимых. После него люди становились одержимы местными богами.

Я также хотел бы упомянуть работу Руссийона «Мадагаскарский смерч» (1920). На Мадагаскаре с его со-

вершенно иной религией, иными представлениями мы встречаем те же самые приступы одержимости, возможно, более кратковременные, чем серьезные расстройства, но того же рода.

Во всех религиях были одержимые. Есть они и сегодня, просто с культурным прогрессом расстройство одержимости несколько поутихло, смягчилось, как со временем идет на убыль серьезная болезнь. Так же как свирепствовавшие когда-то чума или проказа оставили лишь едва заметные следы. И сегодня есть одержимые, но более любезные, менее тяжелые, чем в прошлые времена. На кого я намекаю? Речь идет об очень распространенной группе, называемой медиумами-спиритами. Сегодня они меняются, получают плохонькое образование и привыкают к созданию историй физических, а не моральных. Я думаю, что настоящего медиума гораздо больше характеризуют психологические трудности, чем факт столоверчения, которое часто плохо ему удается.

Медиум-спирит для нас, наблюдателей, кажется единым человеком с одним телом, лицом, речью, мы называем его одним именем. Но он убеждает нас, что в нем есть второй персонаж, который заимствует его руку, чтобы перемещать столы или же писать, пользуется его ртом, чтобы говорить. Этот второй персонаж претендует на то, чтобы также получить имя и, несколько тщеславно, называется Вашингтоном, Гуттенбергом или даже Иисусом Христом. Присвоив себе имя, персонаж от этого имени говорит. Обычно веселые и беззаботные молодые люди с огромным энтузиазмом и пугающей философской серьезностью начинают произносить поразительные проповеди. Все это дело рук второго персонажа.

Иными словами, медиум — это одержимый. Он принадлежит к старой традиции, идущей от Кумской сивиллы и одержимых Эгинхарда. Это то же явление, просто с годами, с культурным прогрессом, он менее болен, чем одержимые прошлого. Итак, что свойственно сегодняшнему медиуму? Он находится в гораздо более благоприятной ситуации, чем одержимые прошлого, ведь он может избавляться от своего духа, когда пожелает, как будто снимая пальто. Иногда он позволяет духу войти в него и делать все что заблагорассудится, а в другой раз говорит:

«Довольно, хватит, пойдем спать», — и дух исчезает. Это очень удобно. Это необязательная, преходящая одержимость. Во время сеанса медиум одержим, а после он об этом уже и не думает и становится целостным человеком с единой индивидуальностью.

Это не должно нас удивлять. Несколько занятий назад я говорил о психологическом поведении того же рода, связанном с индивидуальностью. Я отмечал, что у традиционных народов люди характеризовали себя через свое тело. Именно тело создавало индивидуальность. Да и сегодня мы узнаем людей по лицу, и нам не нравится, когда они что-то в себе меняют; это затрудняет узнавание. Человека узнают по его внешнему виду. Но когда для узнавания внешности становилось недостаточно, к ней добавлялись характерные знаки — татуировки. Особенность татуировок прошлого, которые служили для узнавания индивидов, состоит в том, что они нестираемы. Невозможно было так просто изменить индивидуальность. У нас тоже есть свои татуировки: костюмы, украшения, железнодорожный билет являются своего рода татуировками, которые мы предьявляем, как бы говоря: «Это я. Я принадлежу к группе тех, кто оплатил свой проезд, и меня следует причислять к этой группе, признавать». Ценная особенность одежды и железнодорожных билетов состоит в том, что после использования мы от них избавляемся. Это не вечная, а временная татуировка.

Ситуация с медиумами в точности такая же: это та же одержимость дьяволом, духом более или менее приятным, которого можно выбрать. Некоторые медиумы действительно становятся больными, по-настоящему одержимыми. Я описал много случаев, когда, раз вызвав дух, люди уже не могли от него избавиться: дух являлся помимо их воли; они становились настоящими одержимыми.

Мы подходим к пониманию, что явление одержимости, поведение одержимого довольно типично, распространено, что оно в прошлом существовало во всех религиях и встречается и сегодня. Существует современное исследование, которое кажется мне более важным, чем предыдущие, и которое обобщает только что представленные вашему вниманию понятия. Это социологические исследования обычаев и религий традиционных народов.

Я вам особенно рекомендую очень интересную книгу Люсьена Леви-Брюля «Первобытная душа» (1927). Прочтите эту работу; она нам неоднократно понадобится в предстоящих лекциях по личным формам социального поведения.

Книга Леви-Брюля включает многочисленные и детальные описания часто встречающихся форм поведения, очень распространенных среди коренного населения Австралии и Америки, и совсем не соответствующих нашим. Первая группа форм поведения имеет нечто общее с явлениями, описанными нами на прошлых лекциях. У меня была возможность рассказать вам два-три курса назад о принадлежащем нам, и я отмечал, сколь серьезен, интересен, необычен этот феномен. Принадлежащее нам — это объекты для нас внешние или наполовину внешние, отличные от нашего тела и все же вызывающие поведение индивидуации. Поведение собственности, столь мало и плохо изученное, — это поведение индивидуации, поведение личности. Мы ведем себя в отношении принадлежащего себе примерно так же, как и в отношении самих себя; собственность становится частью нас самих.

Феномен принадлежности, существующий и сегодня, когда-то был куда более важным и, в общем-то, гораздо более занимательным. Работа Леви-Брюля полна весьма необычных фактов на эту тему. Люди связывали идею индивидуации и, более того, личности, с объектами, которые кажутся нам исходящими от нас самих и не играющими большой роли. Помните столь занимательные фрагменты об экскрементах, обрезках ногтей, отрезанных волосах? Экскременты — часть личности, тот же индивид, персона. Когда хотели навредить соседу, совершали довольно простую и нехитрую процедуру: нужно было добыть экскременты, поместить их в лист банана и закопать в каком-нибудь опасном месте, например, около сероводородных или одурманивающих источников. Этого было достаточно, чтобы враг заболел, был отравлен сероводородными источниками и умер. Таковы были практики колдовства, порчи, повсюду распространенные и игравшие большую роль на протяжении веков. Дотронуться до экскрементов, до части, исходящей из индивида, значило дотронуться до самого индивида.

Прочтите в книге Леви-Брюля, как далеко это заходит. Принадлежностями считались и остатки пищи. Нет ничего более опасного, чем после еды оставить что-то на земле. Если враг этим завладеет, он сможет причинить много вреда. В книге описывается забавная история, очень характерная для нравов и верований того времени. Вождь племени остановился на привал и подкрепился орехами. Будучи разумным человеком, — что, впрочем, было доступно уже обезьянам, — он расколол орех, вынул ядрышко, а скорлупу оставил на земле и ушел. Какой ужас! Через некоторое время он понимает, что враги, придя на то место, найдут его скорлупу от ореха. А это очень опасно для него и его войска. Ведь враги способны на все. Он вынужден вернуться и ввязаться в смертельную схватку, чтобы собрать скорлупу. Жертвы не в счет — ведь вождь был спасен.

Итак, вы видите, что индивидуация была неопределенной и — я настаиваю на этом — распространялась даже на косвенные принадлежности. Но больше всего меня в этой интереснейшей книге поражает описание расщепления личности. Вся вторая часть труда касается верований одержимости; индивиды не всегда были отделены друг от друга и от своих врагов — людей или животных — или от подстерегавших их в природе опасностей. Есть очень опасные крокодилы, акулы, в которых обитает душа предка или врага. Даже не съев вас, крокодил может совершенно спокойно войти в вас: и вот в вас вселилась душа врага, который стал крокодилом, и вы уже — наполовину крокодил. Это — исток знаменитых легенд об оборотнях, людях, одержимых животными и врагами.

В первобытных культурах, которые описывает Леви-Брюль, одержимость — не столь редкое явление, как в Средние века или тем более сегодня. Одержимость — явление частое, постоянное, которое может случиться в любой момент. Многие люди наполовину одержимы, у них нет четкой индивидуации. В них — два или больше персонажей, иногда в виде акул или крокодилов, а иногда — других людей, овладевших их особой.

Все это поразительно и показывает, что наши понятия об индивиде не столь древние и основательные, как

думали философы. Именно здесь точка противостояния философских концепций прошлого и теорий современной психологии. В целом старая философия следовала так называемому закону натурализации (в оригинале — *entification*, от франц. *entité* — сущность, существо. — Прим. перев.). Под этим мы имеем в виду трансформации всего, что есть в душе — целостности, индивидуальности, личности, — в другие существа и объекты. Здоровый человек живет в согласии с собой, с детьми и окружающими его людьми. Отсюда делается вывод, что метафизическая реальность — это сущность, целостность того же рода, а наша идея индивида — копия этой подлинной и глубинной индивидуальности.

Сегодня с нас немного сбили спесь, и мы увидели, что все эти идеи создавались человеком медленно, ценой многих ошибок и усилий, и что индивид — наше собственное изобретение. Трудно сказать, существует ли он так, как мы его представляем. Мы его создаем, конструируем. В этом созидании есть разные этапы. Попробуем понять те расстройства и нарушения, которые могут привести к одержимости.

Первая гипотеза, которую я когда-то выдвигал, представляется мне частичным объяснением проблемы. По сути, говорим мы, расстройство одержимости возвращает нас к нарушениям верований. Как и все наши верования, оно не так уж глубоко. Мы говорим, что верим всем сердцем. В этих словах много иллюзий. Мы верим поверхностно. В глубине себя мы достаточно безразличны к нашим верованиям. Так же поверхностна и одержимость: дьявол у одержимых не меняет всю их личность. Их лицо, черты, воспоминания остаются теми же. Они ничего нового не изобрели, эти бедные одержимые. Если они и знают какие-то слова по-латыни, так это оттого, что слышали их в церкви; они не владеют иностранными языками, как думали в Средние века, когда их очень плохо обследовали. Их натура такая же, как раньше, сущность их остается той же. Как говорил мой бедный одержимый, его дьявол столь же глуп, как и он сам. Между ними нет разницы, различается только их манера говорить и верить. Это верование добавляется к их персоне, и мы замечаем, что верование может совершенствоваться и стать внутренним.

Существуют рефлексивные верования, которые опираются на множество фактов и учитывают возражения. Есть верования примитивные, инстинктивные. Одержимость — это болезнь веры, эти люди легко верят всему. Данное замечание привело к мысли, что в расстройстве преследования существует много субъективного. Это очень точно. Одержимые — индивиды, обладающие лишь нереплексивными, элементарными верованиями, они очень внушаемы. Поэтому, кстати, в монастырях стали отделять монахинь друг от друга, что быстро излечивало одержимость. Можно также упомянуть другой прием, использовавшийся одним генералом в женском монастыре. Он сказал, что будет сечь всех одержимых монахинь. Это их очень быстро исцелило: в их одержимости не было ничего, кроме поверхностных верований, которые и привели к расстройству веры.

[ПЬЕР ЖАНПЕ] Сегодня я сомневаюсь в таком объяснении: оно не учитывает феномена в целом. Истинные расстройства верований о личности — это изменения всей личности. Через несколько лекций мы поговорим о расстройствах персонажа, и я расскажу вам о женщине, которая верила, что превратилась в львицу. Это — целостное расстройство, она была не просто одержима львицей, но была львицей во всем. В одержимости есть двойственность, что серьезнее, чем общее расстройство, и это приводит меня к необходимости перейти ко второму этапу объяснения. Мои уважаемые слушатели курса, прочитанного несколько лет назад, помнят занятия, которые я посвятил психологии религии. Я был склонен думать, что одержимость исключительно религиозна, покоится на религиозных формах поведения. Это болезнь веры — веры религиозной.

Затем мы пытались проанализировать суть религиозного поведения, и в связи с этим провели исследование молитвы. Я попытался показать вам, что молитва — точнее молитва успешная — состоит из трех психологических этапов, последовательных операций. Сначала молящийся что-то просит у Бога. Вы помните молитву Иакова, который перед тем, как отправиться в путь, просит у Бога одежды, еды, воды, наконец, победы над врагами. Он добавляет, будучи человеком честным: «Если ты мне все это дашь, я дам тебе двух или трех овец. Вот общий тон

молитвы. Это начало договора. Но когда ограничиваются этим, молитва неполная, и часто больные жалуются: «Бог не слышит моей молитвы, она бесполезна. Я не верю, у меня больше нет религиозного чувства». Им не хватает чего-то очень важного. Когда они просят о чем-то человека и совершают торговое соглашение, важен его ответ. Человек должен вам сказать: «Я согласен. Я дам тебе одежду, пищу, которую ты у меня просишь, буду оберегать тебя от врагов и приму твоих тощих овец». К сожалению, у богов есть плохая привычка не отвечать самим. За них отвечаем мы сами. С рождением актерской игры и комедии, со многими подобными изобретениями человек хорошо научился играть роль персонажа и говорить от чужого лица.

Первобытная религия простого верующего требует, чтобы в молитве он давал ответ. Нужно, чтобы он сам ответил. Сегодня с развитием цивилизации мы несколько специализировали функции и захотели, чтобы ответ не был целиком в ведении верующего. Была изобретена должность священника, говорящего от имени Бога. Нужно, чтобы священник слышал и говорил: «Договорились. Бог согласен». Я не буду углубляться в это исследование. Операция, которую я называю «заставить богов говорить», веками составляла суть религии: священник уполномочен побуждать богов заговорить, потому что боги сами в достаточной степени не говорят. И это вторая операция. Третья операция — это удовлетворение прошения: «Моя просьба исполнена. Я утешен, доволен. Теперь молитва полная.

Вторая часть в молитве представляет опасность. Как раз по причине ее опасности она была отделена и зарезервирована за священником, который несколько более защищен своей специальной подготовкой. Сделать так, чтобы Бог заговорил, трудно, и довольно опасно, как для актера заставить заговорить какого-нибудь персонажа. Что произойдет, если актер будет весь день представлять себя королем и играть свою роль бесконечно долго? Если у человека есть расстройство религиозного мышления, эта операция, заставляющая богов говорить, может сохраняться очень долго независимо от нас и говорить в нас от имени бога и дьявола. Расстройства одержимости

будут, таким образом, болезнью религиозного слова. Вот вторая интерпретация.

Однако я думаю, что на этом нельзя останавливаться. Исследования традиционных народов побуждают нас идти дальше. Действительно, одержимость развивается в религиозных верованиях, но она неспецифична для религии, она повсюду. Первобытные люди страдали одержимостью задолго до религиозности: она касалась вещей, по сути, не-религиозных. Чтобы считать себя деревом, акулой, верить, что в тебе кто-то живет, не надо заставлять говорить бога. Следует вернуться к формированию человеческого интеллекта, к работе, которую мы назвали формированием интеллектуального поведения.

Интеллект — это сложное поведение. Достичь поведения корзины яблок, портрета или образа трудно. И еще труднее прийти к поведению группы и поведению индивида. Первобытные люди, видимо, очень долго шли к поведению группы. Оно кажется проще поведения индивида. Ведь именно группа доминирует в первобытном поведении. Вы увидите в замечательных описаниях Леви-Брюля, что эти люди больше, чем мы, были привязаны к своей группе, ради которой жертвовали индивидом. Все понятия собственности, семьи, личной ответственности, для нас бесспорные, у традиционных народов не столь ощутимы. Их заменяли представления о собственности, ответственности всей группы. Мы с трудом можем понять эти представления об ответственности, описанные Леви-Брюлем. Совершенно невиновный человек узнает, что его родственник или другой член группы совершил преступление. Он чувствует себя виновным и предстает перед судом. Племя подвергает его жестокому наказанию, и никто не протестует. Это кажется совершенно естественным.

Можем ли мы с вами принять такой поворот событий? Нет, конечно. Мы говорим: «Если член группы или общества, к которому я принадлежу, делает какие-то глупости, это меня не касается, я — отдельный в этом смысле от него человек». Первобытная ответственность — это всегда ответственность клана, племени, а не индивида. То же самое с собственностью. Обратите внимание на любопытные главы о семье, на вопрос о браке и собственности в отношении женщин. Первобытные люди имели по этому

поводу совершенно иную, чем мы, позицию. Женщина не соединялась с одним мужчиной, она соединялась с семьей, то есть группой. Брат имел такие же права на женщину, как и ее муж. Он не только женился на ней после смерти брата, ее мужа, но и при его жизни мог с ней жить, и муж не мог этому возражать. Здесь налицо социальное смешение: группа важнее индивида.

В ходе чтения у меня создалось впечатление, что первые усилия человеческого интеллекта, его завоевания распространялись на образование группы и очень скудно — на формирование индивида. Говоря о создании группы, стоит остановиться на понятии индивида. Индивид — это группа иного рода, ряд других форм поведения. Ее сложнее создать, и она приходит позже. На самом деле, чтобы подойти к созданию индивида и отличать его от других, нельзя ограничиваться интеллектуальным поведением, ведущим к образованию группы и обобщению. Индивид совершенствовался и оттачивался в результате огромной работы, накладывающейся на предыдущие достижения.

В следующей лекции мы рассмотрим общество в ином ракурсе — с точки зрения иерархии — и поговорим о власти, о возможностях действия индивида.

31 ЯНВАРЯ 1929 Г.

14. ВОЗМОЖНОСТЬ ДЕЙСТВИЯ, ВЛАСТЬ И ИЕРАРХИЯ¹⁶

С развитием социальных животных, и особенно человека, усложнялось и интеллектуальное поведение в отно-

¹⁶ В оригинале глава называется «Les pouvoirs, la hierarchie». Первое слово нуждается в лингвистическом комментарии: согласно «Французско-русскому словарю активного типа» под ред. В.Г. Гака и Ж. Триомфа (М.: Русский язык, 1991, с. 779), оно может быть передано по-русски как «власть, сила, полномочие, свойство, способность, мощность, мощь»; по другим источникам («Новый французско-русский словарь» под ред. В.Г. Гака и К.А. Ганшина. М.: Русский язык, 1994, с. 855), оно переводится еще и как «возможность». По-видимому, Жане употребляет этот термин в значении потенциальной возможности совершить некое действие, быть в состоянии его совершить, то есть, обладать такой способностью, или властью. Последний аспект проявляется в особенности тогда, когда речь идет о возможности социальных действий, то есть действий индивида в отношении других людей. — *Прим. ред.*

ПСИХОЛОГИЧЕСКАЯ ЭВОЛЮЦИЯ ЛИЧНОСТИ

шении группы. Первоначально, уже будучи социальными, животные не имели идеи общества. Действия возникли как чисто двигательные акты и лишь позже стали осознаваться и перешли в вербальные, интеллектуальные формы поведения. Эти формы постепенно совершенствовались и превращались в идеи. У животных же были группы, но не было идеи группы. А именно на эту идею мы постоянно опираемся.

Возникновение интеллектуальных понятий об обществе отмечено довольно необычным фактом, объяснить который можно, скорее изучая историю и общество, чем логически: понятие группы было сначала важнее понятия индивида. Идеи группы и индивида тесно связаны, это две стороны одного интеллектуального понятия, двойственного, как и все интеллектуальные понятия. Но в силу особых обстоятельств — вероятно, необходимости развития социальной жизни — понятие группы сформировалось раньше понятия индивида. Первобытные люди сильно продвинули идею группы, поведение в отношении знамени или тотема, чего не скажешь о поведении в отношении индивида. Первобытные люди были в большей или меньшей степени одержимы, разделены надвое, на трое, что, по-видимому, их не беспокоило.

Действительно, существует громадная разница между поведением двигательным, чисто утилитарным, и вербальным, или поведением верования, которое ведет к моторному поведению лишь косвенным путем. Первобытный человек мог утверждать, что является и человеком, и крокодилом, и между тем преспокойно есть, как человек. Это его несколько не смущало. Этот же феномен мы наблюдаем при психических расстройствах. Явление одержимости, которое сегодня, хотя и становится довольно редким, время от времени проявляется как особая психическая болезнь, первоначально было очень распространенным; в то же время понятие индивида было смутным, недостаточно целостным, плохо очерченным. Потребовалось много времени, а также психологических и моральных открытий, чтобы понятие индивида стало столь же четким, как понятие группы. Человек работал над этим веками. И — скажу совсем тихо — нам это неплохо удалось, так что у некоторых людей и народов, как, к сожалению, во

Франции, понятие индивидуализма безмерно разрослось и, возможно, представляет опасность.

Как оформлялось понятие индивида, столь неясное вначале? Это происходило благодаря открытию и развитию вторичных форм поведения, добавившихся к простому поведению приветствия, не достаточного для точного различения людей между собой.

Первоначальные формы поведения в отношении индивида, были — прежде всего, и, можно даже сказать, исключительно — связаны с действиями этого индивида. Один человек дает мне еду, а другой гонит и бьет. Это реальные действия, и я реагирую на них. Я приближаюсь к одному и удаляюсь от другого.

Разумеется, действия могут существовать в неполной форме, названной мной фазой напряжения, как тенденции или желания. Как только я вижу одного человека, у меня возникает смутное желание спастись, а другого — приблизиться. Возникает поведение, независимое от сиюминутных личных действий, поскольку этот человек в данный момент не бьет меня и не кормит. Интеллектуальная эволюция сокращает эти подготовительные формы поведения. Пришло время, когда, оказавшись с человеком, увидев его, увидев определенные знаки, нас начали интересовать не только действия, совершаемые в данный момент, но и те, которые он совершит потом. Я учитываю его склонности, то, на что он способен.

Эти склонности, с моей точки зрения, можно резюмировать одним из важнейших в истории идей понятием: идеей возможности действия, или власти. Человек предстает передо мной не только через свое актуальное поведение, которое постепенно отступает на второй план, но и через свое будущее поведение. Человек может повести себя так или иначе, и в зависимости от того, что он может сделать в будущем, я определенным образом отношусь к нему.

Понятие возможности действия, или власти, безусловно, одна из основных и наиболее интересных идей человеческого разума. Прежде всего оно совершенно меняет людей в социальном плане. Сила, власть человека приобретает первостепенную важность. Меня гораздо больше интересуют сильные, могущественные — в хорошем или

плохом — люди, чем немощные, слабые, которые не могут сделать мне ни плохого, ни хорошего. Перенесенное на нас самих, это понятие меняет нашу личность, поскольку наша личность заключается не только в том, что мы делаем сейчас, но и в том, на что способны в будущем. Легко убедиться, что с этим понятием связано три четверти психических расстройств. Люди, слишком амбициозные и страдающие манией величия, всегда думают, что способны сотворить великое; у них бесконечные проекты, и они уверены, что реализуют их, какими бы они, эти проекты, ни были. Их власть не знает границ.

Вспомните странного больного, который утверждал, что был таким прекрасным велосипедистом, что у его велосипеда передним колесом было солнце, а задним — луна. С помощью этих инструментов он творил чудеса. Вот вам проявление понятия власти. И напротив, посмотрите на бедных меланхоликов. Они не просто ничего не делают, но и не могут ничего сделать. Вы предлагаете им самое простое действие; они убеждены, что никогда не смогут его выполнить, что у них все получится наперекосяк.

Понятия способности, возможности — фундаментальные как для патологической, так и для нормальной личности. Более того, они распространяются не только на психологию, но и на все другие науки, на весь мир, и меня в связи с этим несколько удивляет, как легковерна и наивна наука. Наука веками использовала понятие способности, или свойства. Неодушевленные объекты могут принести пользу и вред. Растения могут быть лекарственными, ядовитыми, съедобными. Лучи могут освещать или делать объекты прозрачными. Мы постоянно имеем дело со свойствами, и наука говорит о ней без малейшего колебания.

Если задуматься, слово «возможность» ничего еще не объясняет, мы не знаем, что за ним стоит. Но мы не обращаем на это внимания и постоянно используем его, даже выводим из него абстрактные понятия, порой просто невероятные. В истории науки это знаменитое понятие силы. Существует сила электрическая, как и сила тепловая, двигательная. Сила необъяснима без понятия возможности действия. Поскольку последнее размыто, понятие силы также нечетко. Таким образом, нам важно подумать, не

надеясь, впрочем, на полную ясность, о том, как это понятие характеризует и различает индивидов.

Как философы трактовали понятия силы, свойства, способности? Сразу оговорюсь, что мы не будем останавливаться на господствовавшей веками метафизике, или философии отражения. Метафизики без малейшего колебания переносили психологические понятия на внешний мир, вкладывали их в объекты. Мы говорим о силе: начнем с того, что существуют животные, растения, минералы, обладающие определенными свойствами, а затем рассмотрим это утверждение. Знание — это якобы отражение того, что вещи обладают определенными чертами. Для Лейбница, как и чуть раньше для Декарта, сила — это свойство монады, а человек обладает свойством зеркала, отражающего заключенную в этих вещах силу. Вся философия отражения веками строилась на этом.

Мы не будем вдаваться в этот спор. Вам знаком порочный круг, к которому приводит его исходный постулат. Он заключается в том, что свойство или сила реально существуют в предметах и что они таковы, как мы задумали. Однако понятие силы менялось со временем; люди его изобретали постепенно. Это понятие связано с человеческим поведением. Они постепенно объективировали силу, как объективировали свет и цвет; но, по сути, неизвестно, есть ли вообще сила в мире или нет. Итак, мы не можем познать силу, которой, возможно, и не существует.

Эта философия непсихологична и не имеет никакой ценности для объяснения генезиса этих понятий. Она их не объясняет, а принимает как должное. Объяснить понятие возможности с более психологической точки зрения попытались относительно недавно. Можно сказать, что эти исследования начались с Мен де Бирана и его современников в связи с вопросом о возможностях, действиях и усилиях человека. Как раз в то время пришли к выводу, в общем справедливому, что это понятие берет начало в действии. По сути, у нас есть замысел того, что мы делаем, потому что мы это уже делали. Именно действие является отправным пунктом.

Однако не стоит переводить все в игру слов, повторяя, что понятие возможности берет начало в действии, —

а ведь именно это делали многие философы. Возьмем книгу, которую я когда-то очень любил, которую и теперь стоит время от времени перечитывать: «Об уме и познании» Тэна. Удивительно, как ученый такого масштаба удовлетворялся одними словами и обыденными рассуждениями, основанными только на здравом смысле. Например, он вполне справедливо признает, что способность играет огромную роль в личности и характеризует людей. В одном знаменитом отрывке он, например, говорит: «Если мне дадут книгу, написанную по-латыни, я ее прочитаю и смогу понять. Если же ее дадут моему соседу, он не прочитает ее. Это то, что отличает нас друг от друга»; и он переводит это абстрактным выражением — словом «возможность». В отношении текста на латыни — это моя возможность его прочитать. У моего соседа такой возможности нет. Способность — это просто наличие возможности. Вся книга строится на этом, и на протяжении многих страниц Тэн говорит нам о возможностях и невозможностях.

На самом деле это — игра слов. Возможность и невозможность — абстрактные понятия, гораздо более поздние, происходящие от понятия власти. У первобытных народов, утверждавших, что сила разлита в мире, и веривших в магические силы, была идея власти и, как мы уже видели, совершенно не было понятия возможности, невозможности, случая и вероятности. Это гораздо более поздние понятия. Объяснять понятие власти возможностью — это порочный круг.

А не создаем ли и мы порочный круг, объясняя возможность действием? Возможность, если можно так сказать, это сознание действия. Когда человек действует, он это сознает, что дает ему идею власти над своим действием. Вот очень распространенное понятие, кажущееся ясным. Вы можете почитать об этом занятную книжицу, опубликованную в 1910 г. бельгийскими психологами Мишоттом и Прюмом — «Понятие действия». С помощью интересных психологических опытов они показывают, что понятие действия существует в определенных условиях и не всегда предполагает понятия возможности. Действительно, действуя, многие животные обходятся без него. Да и мы сегодня совершаем многие действия, не задумы-

ваясь об этом понятии. Среди душевнобольных, потерявших это понятие, мы видим меланхоликов, которые, по их словам, не в состоянии ничего сделать. Это не мешает им совершать массу глупостей: они раздражаются, бьют санитаров, разбивают стекла. Они совершают действия, не обладая понятием возможности действия. Действие не обязательно связано с понятием возможности. Впрочем, я полагаю, что простое логическое размышление прекрасно это показывает. Понятие власти, возможности предполагает учет будущего. Речь всегда идет о будущем: мы можем сделать что-то завтра и не делаем этого сегодня. В отличие от этого, действие, даже осознанное, всегда совершается в настоящем: понятие действия — это идея о том, что происходит в настоящий момент. В нем нет ничего из того, что мы будем делать позже. Между этими двумя понятиями — очень большая разница. Понятие возможности не тождественно понятию действия; это, если хотите, сознание действия. А акт осознания прибавляется к действию, это вербальное поведение и совокупность размышлений, дополняющих действие.

Теория волевого усилия, предложенная Мен де Бираном, также не проясняет проблемы. Он разделяет действия, совершаемые без усилия и с усилием, и утверждает, что последние в отличие от первых предполагают понятие возможности. Эта позиция несколько расплывчата, поскольку он не определяет, что такое усилие, где оно кончается. Если речь идет об усилении, предполагающем размышления и идеи о будущем, то это различие точно. Но примитивное усилие — это просто усиление действия, не меняющее его коренным образом. Когда мы делаем усилие, чтобы бежать, мы бежим лучше, быстрее, но это — все тот же бег. В этом усилении нет идеи о будущем. Как замечает г-н Филипп, автор интересной статьи, которую я некогда упоминал, — «О некоторых формах усилия» (в «Revue philosophique» от 1917 г.), можно даже возразить, что усилие не проясняет будущего, в нем есть доля неуверенности: я прилагаю усилие, не зная, приведет ли это к успеху.

Усилие не предполагает ни успеха, ни знания о будущем. Когда есть усилие, есть и сомнение, причем гораздо большее, чем в привычных действиях, результат

которых нам известен. Понятие возможности предполагает будущее и уверенность в будущем. Когда я говорю: «Этот человек может меня побить», я хочу сказать, что он меня побьет. Я это прекрасно знаю, у меня нет на этот счет никаких сомнений. Усилие, таким образом, не подразумевает понятия возможности. Психологический анализ этого феномена очень неполон. Я хотел бы указать на направление исследований, в какой-то мере связанное с современными социологическими исследованиями. Мне кажется, что понятие возможности есть понятие социальное, которые происходит из наших действий, совершаемых в присутствии людей и им адресованных. Оно связано с группой простых интеллектуальных понятий, на которые я беспрестанно ссылаюсь.

Мы недавно обсуждали сложное поведение в отношении корзины яблок, ставшее отправным пунктом группы и обобщения. Я хотел бы сегодня сказать о другом очень простом поведении. Мы образно назовем его поведением глиняного сосуда или котелка, примитивного котла, который изготавливали первобытные племена. Думаю, понятие возможности связано с этими первыми формами поведения, существовавшими уже у доисторических людей, связано с оставшимися от них первыми кремневыми орудиями и керамическими черепками. Одним словом, эта идея берет начало, как говорил Мен де Биран, не в любом действии, а в особом акте производства, изготовления чего-либо. Остановимся ненадолго на этом положении.

Очевидно, что уже насекомые и самые примитивные микробы нечто производили. Так, микроб тифоидной лихорадки вполне успешно что-то производит, получает некий результат. Всякое примитивное существо, животное, питаясь, уничтожало траву, листочек дерева и при этом производило некий результат. Действие без результата немислимо. Но не забудем, что многое совершается неосознанно. Можно убить, не заметив этого; действию не всегда сопутствует психологическое понятие и осознание.

Веками живые существа производили результат, сами того не сознавая. Осознание пришло гораздо позже: я думаю, это случилось во времена первых художников, рисовавших на стенах пещер, первых ремесленников, высекавших орудия из кремня и изготавливавших котел. Это, как

говорил Бергсон, время первых орудий. Но я бы, наверное, разделил котелок и орудие. Это несколько разные вещи. Производство не тождественно применению орудия. Возникновение того и другого разделяет некоторое время.

Итак, что свойственно осознанному производству, осознанию производства? Для него характерно подразделение действия, особое его усложнение. Когда примитивное животное действует, оно реагирует рефлекторно, непосредственным действием. Вас ударили по коленке, и сразу же в ответ происходит сокращение трицепсов. Таковы все рефлекторные акты.

Позднее действия усложнились и разделились на фазы. Сначала происходит подготовка в форме напряжения, более или менее оформленного желания, затем усилие, дополняющее желание, и потом само осуществление акта, венчающее дело. Одним словом, в действии появляются фазы. Одна из них — период подготовки, период роста тенденции — претерпело значительную эволюцию в великий период истории человечества, эпоху возникновения речи. Мы с вами упоминали, что человек, который учится говорить, вместе с тем учится действовать двумя разными способами. В его распоряжении оказываются две формы поведения. Я часто говорил вам: сравните человека, который действительно идет, передвигая ногами, и актера, поющего со сцены: «Идем! Идем!» — и остающегося при этом на месте. Это два способа идти — физический и вербальный, — но в обоих случаях речь идет о ходьбе.

Второй способ совершения действия имеет бесспорные преимущества, поскольку ведет к развитию речи. Он, в частности, обладает забавной особенностью: может осуществляться в неполной форме, ограничиваясь первой фазой. Эта первая фаза, выделяясь и отделяясь от других, первоначально не имела большого значения. Когда человек хочет нас побить, это не столь важно, так как он нас не бьет. Но постепенно язык стал очень хорошо использоваться в нереализуемых, воображаемых действиях. Актер повторяет: «Идем! Идем!» — но никуда не идет; однако это не важно, он все равно поет. Речь применяется к формирующимся, незавершенным действиям.

Именно язык позволяет выделять в действии две фазы. Первая фаза — начало действия, подготовки к

нему, когда появляется желание его осуществить, оно формулируется в словах, а совершенствуясь — и в простых образах или символах. Второй период, претворение в жизнь, происходит позже. Первые люди, расписывавшие стены в пещерах или делавшие котелки, совершили удивительный психологический прорыв: у них появился замысел; еще до изготовления они представили себе котел, которого пока не существовало. Первые художники сначала представляли себе свое творение, украшенное бегущими животными, и описывали своим помощникам красоту настенной росписи, которая была еще не готова. У первобытных народов было два поведения: вербальное и моторное, т. е. представить себе котел, которого нет, а затем создать котел, который совершенно реален. Это два разных акта.

На последней лекции мы вспоминали особенности человеческого интеллекта, интеллектуальных действий. Интеллектуальные действия являются промежуточными: это функциональные действия, лавирующие между двумя рефлексам, двумя уже существующими формами поведения, и склоняющиеся то к одной, то к другой. Они не так жестко фиксированы, как другое поведение, и не имеют телесной структуры, закрепленной в особых нервных центрах; они приспособляются к уже существующим формам поведения. Здесь мы имеем две формы поведения: выражаемое в словах представление о котле, который предстоит изготовить, и вид уже готового котла. Между ними и балансирует интеллектуальное действие. Это интеллектуальное поведение, в котором совершается попытка перейти от образа к объекту.

Недостаточно описать наскальный рисунок, следует еще сделать его, перейти от описания к самому рисунку. Что для этого нужно? Необходимо совершить акт производства. Реализация сложившегося в голове проекта и есть производство. И постепенно благодаря практике изготовления предметов люди, не осознававшие совершаемые ими действия, стали действовать осознанно.

Пропуская многие эпохи и промежуточные психологические главы, обратимся к особому, наиболее важному для нас производству. Речь идет не просто об изготовлении котлов или наскальных рисунков, но о создании действий.

Это гораздо более абстрактная и сложная задача, но очевидно, что люди постепенно изобрели и производство действия. Они представляли себе действие, даже когда оно не имело материального результата. Человек, который стремится отомстить, хочет ударить другого, но не убить, не превратить его в труп, — он не представляет себе материальный объект, который получится в результате, а думает о действии — хочет ударить, и только. И это представление вербально, оно существует в воображении, как изначально наскальный рисунок в пещере. Пройдет время и он, возможно, и правда побьет обидчика, переходя от представления о возмездии к возмездию совершившемуся, как мастер сначала описывал котел, а затем показывал его уже изготовленным.

Производство действий важно, поскольку оно соответствует ценнейшему психологическому поведению, ставшему посредником во всех усовершенствованиях психики, — намерениям. Человек намеревается меня побить, хочет перейти от подготовки к действию: у него есть такое намерение. По мере того как люди учились говорить и выражать действия словами, они учились формировать намерения, и интенциональное поведение стало завоеванием людей, все дальше идущих по дороге цивилизации. В начале у них не было намерений — только рефлексy, — они ничего не планировали. Затем у них появились намерения и, как следствие, интенциональное поведение.

Когда мы с вами изучали интенциональное поведение, я настойчиво обращал ваше внимание на этот момент, который напоминаю вам и сегодня. Под термином интенциональное поведение я понимаю не только наши собственные намерения, являющиеся завершающей частью психологии, но в первую очередь намерения других и реакции на намерения других. Все социальное поведение реактивно. Нужно защищаться от соседей. Если сосед на меня нападает, я реагирую защитой или бегством. Это элементарная реакция, существующая с эпохи рефлексов.

Но вот мы оказались лицом к лицу с коварным врагом. Он не бьет меня сейчас, не делает ничего плохого, и даже выглядит дружелюбно. Поэтому реакции защиты нет. Я не могу защищаться от ударов, которых нет.

Между тем нужно быть осторожным. У этого человека было намерение меня побить, мне следует остерегаться его намерения. Ситуация усложняется.

Интенциональная реакция, реакция на намерения другого, формируется медленно, в ходе длительной эволюции, через множество ошибок. И сегодня еще есть психические болезни, когда человек видит везде дурные или добрые намерения. Есть больные, которых совершенно не интересуют другие, они полностью теряют интенциональное поведение, опускаются на более низкую стадию. Но, как правило, мы адаптируемся к намерениям других. Знание намерений другого и затем наших собственных приводит к адаптации к своим и чужим намерениям. Человек, который говорит вам: «Я не пойду в казино, я за себя не отвечаю. Я принимаю меры предосторожности против себя». Он адаптируется к своим намерениям. Другой вам скажет: «Не надо ставить передо мной бутылку вина, это опасно для меня, я ее всю выпью». Он остерегается своих собственных намерений. Таким образом, существует множество реакций на разные намерения. Интенциональное поведение — это следствие поведения производства: речь идет о производстве актов.

Я советую вам подумать над проблемой чувства действия, которое сегодня исследуется во многих трудах, в том числе в недавно вышедшей книге «Чувство действия» немецкого автора Макса Леви. Работы по чувству действия можно, я думаю, рассмотреть в социологическом ключе, когда речь идет о человеческом действии как создании. Человек производит действия, как изготавливает орудия, котлы, и он занимается этим производством, он активный участник этого процесса. Понятия производства, действия, создания исходят из этого, и мы постепенно приходим к углубленному понятию об акте производства. Увы! Это понятие не много нам дает для понимания реального производства и его механизмов. Речь идет не о метафизической реальности, а о социальном объяснении того, как мы объясняем другим наши творения и действия. И только. Усложняясь, понятия производства и намерения становятся все более вариативными, поскольку творения и намерения у людей разные. Они будут варьировать во многом. А одна вариация особенно для нас важна.

Вот два человека, у которых на мой счет дурные намерения. Они хотят меня побить. Должен ли я одинаково реагировать на их намерения? Возможно. Так и было сначала, все дурные намерения воспринимались одинаково. Всех людей с дурными намерениями ненавидели, их всех хотели убить. Это играло роль во всех сражениях, во всех войнах. Но, обдумав эту ситуацию, став более уравновешенным и мудрым, я смогу провести различие между двумя врагами, желающими мне плохого. Я вспоминаю их прошлое поведение. Вспоминаю, что они сделали. В отношении одного из них у меня очень тревожные воспоминания. Я с прискорбием констатирую, что когда у этого человека были дурные намерения, он всегда их реализовывал. Если он желал зла кому-то, то приводил это в исполнение. Данное неприятное воспоминание уточняет намерения этого врага. Это враг, чьи намерения опасны. Он их осуществляет, переходит к действиям, нам следует его остерегаться и вести себя по отношению к нему особым образом. Точно так же я анализирую манеру поведения второго человека, который мне так же угрожает и у которого также есть намерение меня побить. Память подсказывает, что он всегда так поступает, он угрожает многим. Но на деле был ли кто-нибудь побит? Он никого не тронул. Он угрожал многим, у него были дурные намерения, но он их не осуществлял. Этот человек не переходит от образа к реализации, от намерения к действию. Таких людей очень много, и жизнь часто нас с ними сталкивает.

Постепенно мы приобрели разные формы поведения. Уже маленький ребенок прекрасно это знает. Вы можете найти подтверждения тому в детской психологии, а также в психологии традиционных народов. Ребенок прекрасно знает тех, кто только ворчит, и тех, кто может отлупить. И он ведет себя по-разному в отношении одного и второго.

Что представляют собой эти реакции? По сути, человек, который угрожает и не исполняет угрозу, слаб. Мы относимся к нему как к слабому. Другой силен, и мы ведем себя с ним, как с сильным. Мы постепенно усваиваем определенные формы поведения, адаптированные к власти. Понятие власти неопределенно и таинственно,

и все же ему соответствуют не метафизические силы или сущности отдельных монад, а социальные навыки. Ему соответствует привычка остерегаться угроз одного и не бояться угроз других. Я позволю дать простое объяснение того, что кажется загадочным: понятие власти — это просто наша реакция на намерения, представления, образы действий.

Художник вдохновенно рассказывает о картине, которую собирается написать. Это намерение, описание, а не само действие. Но мы пожимаем плечами, потому что еще никогда не видели его росписей и знаем, что он этой картины не напишет. Мы ему отказываем в такой возможности, не наделяем подобной властью. Другой делится замыслом статуи; его мастерская полна уже готовых статуй, поэтому мы знаем, что он ее создаст. И мы ведем себя с ним как с человеком, который может это выполнить. Таким образом, существуют очень разные формы поведения с людьми, которые выполняют и не выполняют действия не только по воле рефлексов, но на основании слов, обещаний и намерений.

В итоге мы приписываем окружающим нас людям разные возможности или способности. Нас окружают люди сильные и слабые. Это не значит, что мы знаем их внутреннюю, физиологическую или метафизическую силу. Это означает просто, что когда они обещают что-то, они это выполняют, и мы на них особым образом реагируем. Постепенно поведение в отношении намерений других мы применяем к себе, переносим его на наши собственные намерения и в конце концов убеждаемся на опыте, потому что так повторялось миллионы раз, что за определенными представлениями следует их исполнение.

Тэн утверждает, что способен прочесть латинскую книгу. Что означает эта способность? Знает ли он при этом, что именно в его мозге позволяет ему читать книгу на латыни? Ничего подобного. Есть некоторый опыт, перешедший в привычку и ставший интеллектуальным, который приводит его к такому убеждению. В детстве у него были перед глазами латинские тексты; постепенно он прошел путь от чтения по буквам до перевода их на французский, к беглому чтению и свободному пониманию

прочитанного. Он помнит тысячи латинских переводов. Это старая память, оставшаяся в нем, обобщается одной фразой: «Я могу прочитать книгу, написанную по-латыни, и пересказать ее содержание». Но даже это утверждение неполно, поскольку в конце концов можно найти книгу, которую он не прочитает, или же он мог вдруг и вовсе забыть латынь. Но, оставив в стороне исключения, мы приходим к общему понятию возможности действия, или власти.

Постепенно мы создали психологию возможности, и не следует забывать — поскольку это одна из трудностей нашей науки, — что психологическая наука сравнительно молода, а психология и до нас существовала веками. Это одна из последних сформировавшихся наук, пытающихся осознать себя. Возможно, она же — и первая из наук, существовавшая издавна, даже не достигая оформления, потому что люди не могли жить друг с другом в обществе, не создавая психологии. Они знали о возможностях других людей, об их способности двигаться, говорить, помнить, задолго до философов научились подразделять человеческие функции. Это даже привело к практической трудности: мы ошибочно склонны принимать обывательские классификации за научные по вполне понятной причине: обыденные классификации укоренены в языке.

Язык — не что иное, как элементарный учебник психологии; он содержит общепризнанную последовательность психологических операций, которую можно предложить соседу. Лучший трактат по психологии — это толковый словарь. Возьмите его и посмотрите на приведенные там глаголы; вы увидите, какие психологические операции выделяются тем или иным народом и как они понимаются. Научная психология перенимает эти представления, не учитывая ошибок и особенностей таких классификаций. Так, понятие возможности действия, или власти — раннее, созданное первобытными народами, и оно постепенно приводило к формированию индивида. Каким образом? В обществе, в группе складывались две категории людей: обладающих и не обладающих властью. Полезно определять людей, у которых намерение переходит в действие, как полезно для ребенка различать папу и маму — того, кто отшлепает, и того, кто пожалеет.

ПСИХОЛОГИЧЕСКАЯ ЭВОЛЮЦИЯ ЛИЧНОСТИ

Итак, вполне возможно, что традиционные народы имели те же разграничения. Это простое, очень примитивное разделение на сильных и слабых дало начало иерархии. Иерархия — особая форма организации группы. Это та же группа, но упорядоченная. Люди в ней помещаются в разные категории в зависимости от того, сильны они или слабы, успешны ли в борьбе или в убегании и пр. Это отличает их друг от друга.

Такое новое разделение очень кстати добавилось к предыдущим. Индивиды были плохо отделены друг от друга и стремились к смешению. Теперь появилась новая форма разделения людей. Речь идет не только о высоком и низком положении, не только о внешних различиях, но и о различии их будущих намерений. Эта форма разграничения продуктивна и способствует развитию индивида. В результате возникает персонаж, которым мы и займемся на следующей лекции.

[ПЬЕР ЖАНПЕ]

4 ФЕВРАЛЯ 1929 Г.

15. ПЕРСОНАЖ

Когда мы приписываем другим или самим себе власть, или возможности действия, мы тем самым наделяем их или себя особым поведением, ролью, которые меняют человека. Дать человеку власть, рассматривать его как способного к чему-то — значит его изменить. Изначально люди существуют для нас только через свои действия. С того момента, как они получают возможности действия (а обладать такой властью — это, право, удивительно), следует учитывать не только то, что они делают, но и то, что могут сделать, на что они способны, и остерегаться их явных и скрытых намерений. Это огромное преобразование личности.

Мы уже рассмотрели много завоеваний на пути развития личности. Сначала мы занимались так называемым телом собственным, отличным от тел других людей. Собственное тело человека конституирует его личность; люди различаются своими телами. Существуют связанные с телом формы поведения: регуляции, предосторожности, контроля и защиты.

Затем мы продвинулись немного дальше и подошли к собственно человеческим формам поведения, к социальным его формам, поведению в отношении человека. Они отличаются от поведения социальных животных. В поведении человека как третья сила включается человеческий интеллект, а также то, что мы назвали поведением индивида по отношению к группе и группы по отношению к индивиду. Это уже преобразование: речь идет не просто о некоем индивиде, а об индивиде как члене определенной группы — племени. Это приводит к особым реакциям, которые мы назвали реакциями знамени и приветствия. С индивидуацией приходит ощущение собственной власти, возможностей действия, а с ним — и нечто необычное. Индивид меняется, и я предлагаю дать ему особое имя, которое мы попытаемся обосновать: персонаж.

До появления знакомого нам всем индивидуального «я», до обретения такой души, о которой мы мечтаем, человеческая личность проходит стадию, имеющую большую историческую важность и огромное патологическое значение: стадию персонажа. Для других и для самих себя мы являемся персонажами, то есть, индивидами, обладающими особыми возможностями действия, способными играть определенную роль.

Сегодня, когда речь идет о норме, понятие персонажа отступает на второй план. Нормальный человек перерастает эту стадию, он должен быть выше, и ему не нравится, когда говорят, что он играет роль какого-то персонажа. Чтобы увидеть комедию персонажей, нужно обратиться к людям больным, душевно ослабленным. Множество расстройств, встречающихся в психиатрических лечебницах, — это именно расстройства персонажа. Есть больные, принимающие во время прогулки свирепый вид: они смотрят на вас с презрением, поскольку считают себя королями, принцами, возвышающимися над другими героями, — по-своему, как-то по-детски, играют роль великого персонажа. Другие, вроде несчастных меланхоликов, замыкаются в себе; они ничтожны, малы, играют роль обреченного на смерть, отверженного, измученного угрызениями совести. Если взять длительные комедии более характерных персонажей, можно найти и более живописные примеры. Когда изучали сомнамбулизм

(я полагаю, он заслуживал столь долгих исследований), выявили много случаев сомнамбулизма персонажа, когда человек в течение нескольких часов или дней оставался определенным персонажем.

Я привожу все те же любопытные примеры, дающие возможность поразмышлять: речь в них идет чаще всего о малообразованных людях, и эти случаи достаточно наглядны. Например, молодой человек, подросток четырнадцати-пятнадцати лет, потрясенный смертью младшего брата, внезапно произошедшей в больнице, от туберкулезного менингита. Он все время навещал брата в больнице, не отходил от его кровати даже во время прихода врачей. После смерти брата у него почти каждый день, а иногда и два раза в день, происходило странное расстройство, приводившее родителей в полное недоумение. Он внезапно замирал, смотрел в одну точку, не отвечал на вопросы, казалось, ничего не видел и не слышал вокруг себя, принимал важный и серьезный вид, подходил к стулу, постукивал по нему пальцами: это врач, выстукивающий спину и грудь; затем прикладывал ухо к спинке стула и производил аускультацию больного. После перкутирования и аускультации он очень серьезно диктовал несколько слов, порой совершенно правильных. Например, он говорил тихо «KBr, NaBr — 5 граммов». Это формула бромида натрия, который дается в больницах. Он диктовал формулы, как будто стажер записывал их за ним в журнал, чтобы потом давать лекарство больному. Так «осматривалось» несколько больных. Он создавал персонаж врача. Это состояние продолжалось несколько часов, затем он приходил в себя и забывал происшедшее в сомнамбулический период.

Случай другой сомнамбулы более комичен и дает материал к теории верований. Бедную женщину из Сальпетриера, довольно бестолковую, отпустили на выходной день. Это было плохой идеей. Она решила развлечься и сходить в цирк. Там она увидела в клетке льва и львицу, что ее очень испугало. Она вернулась в больницу в странном состоянии: ходила на четвереньках, рычала, если к ней приближались, даже пыталась укусить за икры. Двое суток она играла роль львицы. У этого феномена, впрочем, долгая история. Знаменитая ликантропия интенсивно

изучалась в Средние века, по ней и поныне пишутся диссертации (например, работа Сиго), в которых описываются превращение человека в животное — в волка (чаще всего в историях об оборотнях), собаку и пр.

Рядом с естественными сомнамбулами, подобными тем, о которых я вам только что рассказал, надо поставить знаменитые истории спиритов, пик популярности которых пришелся на 1850-е гг. В описаниях спиритов вы найдете множество интереснейших феноменов персонажа. Есть они, вероятно, и сегодня. Вы все читали или слышали о знаменитой миссис Пейпер из Бостона, которую Общество психических исследований считало совершенно удивительной ясновидящей сомнамбулой, знающей все о своих посетителях. Оставалась ли она миссис Пейпер, когда давала сведения о своих гостях? Нет. С начала своего сомнамбулизма эта милая дама перевоплощалась в персонажа — доктора Финюи — который был реальным лицом, уроженцем Марсея, практиковавшим в Меце. Он прослушал лекции Дюпюитрена и был в свое время популярным врачом. Душа Финюи воплотилась в этой женщине, но не без причуд. Как, например, могло случиться, что доктор Финюи, всю жизнь проработавший в Меце, ни слова не знал по-французски и говорил только по-английски? Что ж, иногда человек меняется после смерти; изменился и наш доктор.

Врачи из Общества психических исследований провели всевозможные обследования, с моей точки зрения, совершенно бесполезные. Мы имеем дело с простым персонажем. Миссис Пейпер играла доктора Финюи так же, как женщина из Сальпетриера играла львицу и молодой человек врача в больнице. Это все тот же персонаж, захвативший личность и приобретший огромную важность. Листая труды о медиумах, обязательно встретишь персонажей и расстройства персонажа. Медиум одержим Наполеоном и пишет, как Наполеон, во всем остальном оставаясь самим собой. Но будьте внимательны: если это продолжается долго, его тело преобразается: лицо принимает особое выражение, он перестает писать и начинает отдавать приказы. Он весь преобразается, играя персонаж Наполеона. Во всех воплощениях медиумов вы найдете персонажа.

Когда-то все были удивлены знаменитой статьей Шарля Рише о внушении, вышедшей около 1880 г. и наделавшей много шума. Рише утверждал, что спящим людям можно сделать следующее внушение. Вместо того чтобы сказать: «поднимите руку или опустите ее, произнесите то или это», им внушали, что они — другой человек. Например, женщине говорили: «Вы больше не хрупкая женщина, вы архиепископ». Женщина прекрасно это принимала, полностью перевоплощалась и играла роль архиепископа с тем же рвением, что и роль пожилой прихожанки или старого вояки, уставшего от войны. Шарль Рише описал много таких примеров. Я был, возможно, несправедлив, говоря тогда, что это описание было, в общем-то, возвращением прошлого, — поскольку мир постоянно возрождает прошедшее, — и что когда-то старые магнетизеры, например Бертран и многие другие, описали много подобных метаморфоз, не менее забавных, чем у Рише. Это были изменения персонажа.

Итак, вы видите, что патология часто приоткрывает для нас состояние личности, которое мы несколько туманно называем персонажем. Но мы тщеславны. Мы говорим: «Этот паренек может играть врача, а женщина, по вашим собственным словам, глуповатая, верит, что превратилась в львицу. Сами же мы гораздо выше этого и не играем персонажей». Не будем слишком самоуверенными. Я соглашусь с вами: как мы скоро убедимся, в нас есть нечто кроме персонажа. Есть усовершенствования, которые надстраиваются над этим уровнем и позволяют пройти стадию персонажа, но мы не можем отрицать ее существование. Мы персонажи и играем свою роль хуже или лучше. У одних — персонаж священника, у других — врача. У врача уже нет, как в старину, белого галстука, но тем не менее остается особая установка. Отличный нотариус, прекрасный инженер, замечательный офицер, — у каждого есть своя особая роль, и все мы изображаем перед другими персонажей. Существуют роли нотариуса, священника, преподавателя, постепенно меняющиеся. Это персонажи, которые есть в нас самих. Скажем в общем, — и это, возможно, нас утешит: у нас множество персонажей, которых мы используем в разных ситуациях.

Почти у каждого из нас есть два очень интересных и важных персонажа: внутренний и внешний. Под первым понимается персонаж не психологически внутренний, а — домашний, среди своих, в кругу семьи. Вам знакомы женщины, которые ведут себя необыкновенно дружелюбно, просто ангельски в гостях, и совершенно деспотично с домашними. Они создают двух особых персонажей: один — зависимый, другой — доминирующий, командующий, способный довести до белого каления. Вы наверняка знаете людей, которые выглядят очень энергично и важно на улице или на кафедре, а дома полностью истощены и только и могут сидеть, погрузившись в кресло. Это две совершенно разные позиции, роли.

Мы все играем роли, но, что особенно удивительно, мы играем их и для самих себя. Мы думаем о себе то-то и то-то. Мы считаем себя больными и, сказавшись такими, играем роль больного, это очень часто случается в семье. Вот девушка, которая не сдается: она считает себя больной и всегда будет ею, она не может быть никем другим. Мы играем роль и в отношении самих себя, и все наши жизнеописания и биографии должны считаться с этим персонажем.

Я использую слово «игра»: в отношении персонажа трудно избежать ассоциаций с тем, что называют «комедией». И в самом деле, возникает вопрос: глубок ли, реален ли персонаж, которого мы являем и играем перед другими и перед собой, или же он призрачен, поверхностен. Я придерживаюсь мнения, что глубина психологических черт зависит от того, насколько базовыми, элементарными они являются. Очевидно, что телесные реакции, реакции кинестетического чувства или чувства равновесия более глубокие, чем реакции персонажа. Уровень персонажа надстраивается над прежними психологическими уровнями, в них не проникая. Поэтому персонаж не всегда логичен, а обычно полон противоречий и абсурда.

Поведение моей больной из Сальпетриера, которая была львицей, часто бывало курьезным. Эта бедная львица вела себя очень странно. Например, хотя эта ужасно свирепая львица так и норовила укусить за ногу, она не кусала врачей: она довольно хорошо их различала. Далее, чтобы во всей красе продемонстрировать свою свирепость, она

делала следующее забавное действие. Своими когтями — в которые превращалась ее рука — она вытаскивала из шкафа ящики других пациентов и выбрасывала содержимое на пол. В ящиках было много всего — бумаги, портретики, фотокарточки. Она разбрасывала фотографии по полу (я просил, чтобы ей позволили это делать). Я спрашивал себя, чего она хочет. Когда она находила фотографии маленьких детей, она наклонялась и съедала их. Да, возможно, львицы едят детей, но, в конце концов, у них нет привычки узнавать фотографии и их съесть. Здесь происходит смешение персонажа львицы и персонажа женщины, имеющей представление об изображениях и различающей детей. Глубинный характер женщины, ее знания сохранились. К тому же, подходило время обеда. Казалось бы, наша львица, наевшаяся детьми до отвала, должна быть совершенно сытой. Почему же она принимается за суп и ест его ложкой? Это несвойственно львице. Противоречия очевидны.

То же и с персонажами, которых мы играем перед другими. Наши персонажи не всегда совершенны: мы — несовершенные преподаватели, священники. Противоречия иногда скрыты под внешней оболочкой, но они существуют, и при желании их можно увидеть. Персонаж никогда не завершен, он всегда более или менее поверхностен.

Эти рассуждения вызывают порой сомнение. Вы скажете: «Итак, ваша милая дама, игравшая львицу, когда ела детей на фотографиях и суп ложкой, действительно верила, что она львица? Может, она вас просто разыгрывала? Она ломала комедию, обманывала вас». Да, это большая проблема, преследующая любые исследования психических и нервных болезней. Вопрос, возникший у вас по поводу львицы, можно поставить в отношении всех душевных болезней.

Несколько лет назад замечательный врач Арно, к сожалению умерший в прошлом году, сделал на заседании Общества психологии очень интересное сообщение об искренности невропатов. Он привел множество примеров из санатория в Ванве, где душевнобольные, считавшиеся чрезвычайно тяжелыми, вели себя как симулянты и даже сами это признавали. Он описал, например, меланхолич-

ную и педантичную женщину, которая пыталась обвинить себя во всех смертных грехах и долго рассказывала о своих преступлениях: как убила мужа, как приготовила бутылку с ядом, ингредиенты для которого покупала в разных магазинах и т. д. Доктор Арно, хотя и обладал большим терпением, в этот момент пришел в недоумение и сказал: «Послушайте, мадам, недавно вы совершенно по-другому рассказали о смерти мужа. У него не было никаких симптомов отравления. Вы прекрасно знаете, что не подливали ему яда». Больная, удивившись и не успев сориентироваться, призналась: «Да, конечно, я это прекрасно знаю, я не покупала яда и не отравляла своего мужа». — Значит, когда вы рассказывали мне эту историю, вы меня обманывали. — И эта милая больная ему отвечает: «Но так было нужно, чтобы показать всю свою недостойность. Это необходимо». Итак, создается впечатление, что она обманывает сознательно, из необходимости, как будто на обман толкает ее нечто важное. Подобные явления встречаются в трех из четырех случаев психических расстройств. Чаще всего больные играют. Не верьте и четверти того, что вам рассказывают. Они стараются создать у вас впечатление своего величия или своей вины. Они сами не верят и половине того, что рассказывают, а часто вообще ничему. Во всех их убеждениях множество противоречий.

Мне вспоминается больной, о котором мы поговорим подробнее на следующей лекции по нарушениям социальной оценки. Он утверждал, что во время войны был генералиссимусом французской армии и армий союзников. У этого бравого солдата двадцати двух лет была мегаломания. Он подробно объяснял, как Франция ему благодарна, ибо он победил немцев в чудных сражениях, и что ему приготовили прекрасный дом на авеню Булонского леса». Он по-дружески предложил: «Право же, президент Республики мне только что прислал знаменитого повара, который приготовит нам восхитительные блюда. Не хотите ли их отведать, я приглашаю вас отобедать со мной сегодня». Я не смог отказаться от такого приглашения и согласился пообедать вместе в его доме на авеню Булонского леса»: он был очень доволен. Но на этом все закончилось, сюжет был исчерпан, и в следующий миг он

сказал: «Не забудьте попросить у г-на Арно мне на обед отварную говядину».

Какое противоречие! Этот человек — генералиссимус, имеющий прекрасный дом на авеню Булонского леса, приглашающий меня отведать потрясающую кухню, попростому заказывает отварную говядину у директора санатория. Абсурд.

Мы имеем дело с особо деликатным поведением, развивающимся в психике человека и играющим все более важную роль: не с моторными реакциями, а с верованиями. Мы живем нашими верованиями, наши действия опосредствованы ими. Верования наполняют нашу жизнь. Однако они хрупкие и не фиксированы в нас, имеют довольно размытые границы и существуют только через слова. В веровании есть обещание действия, которое будет выполнено позже; но многие верующие совершенно спокойны, они знают прекрасно, что платить по счетам придется нескоро, что им не надо идти на костер инквизиции. Они называют себя верующими, ничего не боятся, и вера их поверхностна.

В связи с этим я бы хотел рассказать вам о важной работе, недавно появившейся в Америке. Это книга «Delusions and believes» («Заблуждения и верования») Кэмпбелла, профессора психиатрии из Бостона. Автор утверждает, что в реальной жизни и в психических болезнях именно верования играют главенствующую роль, что все основывается на верованиях. Я совершенно с ним согласен. Персонаж — это верование, верование в то, что мы Наполеоны или генералиссимусы. Именно в силу своей тонкости и хрупкости верования имеют самые разнообразные степени, и веками человечество совершенствует их, уточняя, делая более похожими на моторные реакции.

Первые моторные реакции были точными и определенными. Заменившие их верования — творения языка, свободного и искусственного, который может не иметь никакого значения. Нужно придать языку значимость, которой обладали действия, нужно преобразовать верование. Верование совершает огромный прогресс. Через несколько дней мы поговорим о более сложных верованиях, которые можно назвать рефлексивными. Сейчас же речь идет о верованиях, которые легко становятся абсурдными: именно

их называют верой. Верующие ничего не доказывают. Вера не нужны доказательства, она их полностью опускает, ей не нужны объяснения, она может быть туманной, в ней может быть масса противоречий. Противоречие верующего не беспокоит. Вера — это прежде всего тайна. Одним противоречием больше, одним меньше, это никого не волнует.

Персонаж и есть результат такой веры, созданной чувствами, которые мы испытываем к другим людям. Персонаж рождается в момент, когда чувство специализируется и уточняется. Социальные чувства сначала аморфны и принадлежат всему коллективу. Сексуальное чувство мужчины обращено практически ко всем женщинам. Чувство страха испытывается по отношению ко всем сильным и опасным мужчинам.

Постепенно чувства уточняются, и мы приходим к периоду избирательных тенденций, осуществляющих выбор. Избирательные тенденции порождают отличных друг от друга индивидов. Избирательная тенденция — это уточнение, делающееся практически спонтанно, без размышлений, но которое появляется как специализированная операция. В связи с этим я хотел бы вам рассказать о психической операции, которую я, как это часто делают психологи, условно назвал актом принятия. Акт принятия легко увидеть при лечении некоторых больных.

Вы лечите невропата, пробуете внушение, советы — все, что только можно. Больной сопротивляется, он невнушаем, не выполняет то, что от него хотят. Вы говорите себе, что на него лечение практически не действует. Это может продолжаться неделями, месяцами. В один прекрасный день вы замечаете, что больной потихонечку меняется: у него уже другое отношение к вам. Он принимает, впитывает как губка все, что вы ему говорите. Любое ваше утверждение рассматривается им как абсолютная истина. Он также становится невероятно внушаемым, но только для вас, и никого другого. Он долго сохраняет ваши внушения. Ему становится лучше от самого факта вашего прихода, и вы задаетесь вопросом: что же произошло?

Что это за метаморфоза? Это очень интересный вопрос в исследовании психологического руководства. Я вам не-

давно рассказывал про интересную книгу протестантского пастора об обращении в христианство. Вы найдете в ней в точности те же феномены. Человек месяцами, казалось бы, не воспринимает то, во что его заставляют поверить, не верит ничему и сильно сопротивляется. Затем в один прекрасный день он уже не сопротивляется ничему, принимает все что угодно, становится ревностным верующим, которого можно смело крестить. Метаморфоза происходит внезапно.

Эта метаморфоза сохраняется не только в явлениях патологического и религиозного руководства. Она существует постоянно в социальной жизни, и я бы хотел напомнить вам чудесный феномен, интересный в первую очередь молодым, — феномен любви. Любовь — довольно странное явление. Долгое время люди находятся рядом, встречаются, не находят ничего особенного друг в друге: ничего не происходит. Но вот однажды, не важно из-за чего — слова ли, обстоятельства, или особой черты человека — они влюбляются, совершенно меняются в отношении друг друга. Они приписывают персонажу другого огромную, исключительную важность и почти магическую власть над собой. Нет ничего более удивительного, чем иллюзия влюбленных, которые наделяют другого способностью укреплять их в слабости, излечивать в болезни, вдохнуть в них жизнь, постоянно их направлять. Они меняют другого, я бы сказал, — совершают акт принятия.

Для понимания акта принятия следовало бы сравнить его с более сложными феноменами несколько иного плана. Я, если позволите, сравню его с гипотезой. Пусть скажут, что я совершенно приземленный и неромантичный человек: любовь — это гипотеза, превратившаяся в фиксированную идею. Люди, видя друг на друга, могут выдвигать относительно друг друга гипотезы. Глядя на человека, на черты его лица, слыша его речь, мы строим некоторую гипотетическую конструкцию, создаем ему персонаж. Этот персонаж будет обладать властью, что соответствует самому определению персонажа, а поскольку речь идет о нас самих, этот персонаж будет обладать властью над нами. Человек, которого мы любим, способен нас утешить, когда мы печальны, поднять наш дух, когда

мы слабы, идти с нами по дороге жизни, помогать нам. Сам этот человек и не думает о такой своей власти, на нее не способен, но это не важно. Мы приписываем ему персонажа. Именно так создается любовь.

Так же как в случае подчинения при сомнамбулическом руководстве или религиозного обращения, гипотеза внезапно рождается в нас, превращается в фиксированную идею и становится верованием. Но вы знаете, что происходит, когда возникает гипотеза. По крайней мере в науке, формулируя гипотезу, мы выводим из нее следствие. Оно подтверждается или опровергается, и в зависимости от этого гипотеза меняет свою природу, признается истинной или ложью. То же происходит и в любви. Любовь — это работа по подтверждению персонажа; это гипотеза с выводом заключений и их проверкой. Влюбленный направляется к своей возлюбленной с такими мыслями: «Я печален и болен, ни на что не годен, во всем сомневаюсь. Посмотрим, буду ли я жизнерадостнее после этого свидания, исцелит ли меня ее улыбка». Такова гипотеза.

Одно из двух: либо влюбленный будет возрожден улыбкой своей прекрасной дамы и влюбится еще сильнее, либо, напротив, после свидания почувствует себя хуже и будет разочарован: он постоянно колеблется между двумя концепциями персонажа. В трагедиях Расина развитие любви показано в пяти актах: в первом акте предположение выдвигается, во втором — проверяется, в третьем акте встречает противоречия и опровергается, и так далее, до того как сформируется чувство и произойдет акт принятия. И так во всех верованиях. Это и есть механизм формирования персонажа. Персонаж создается верованиями, которые более или менее подтверждены поведением других и прежде всего тем воздействием, которое оказывает на нас их поведение.

Перед тем как завершить лекцию, не забудем общее правило, действующее каждый раз, когда люди собираются вместе: мы создаем собственный персонаж только после создания персонажа другого и по его образцу. Влюбившись сначала в свою прекрасную даму, мы точно так же влюбляемся в себя, с теми же гипотезами и той же проверкой их. Мы создаем свой собственный персонаж,

и этот процесс, с моей точки зрения, таит немало опасностей. Особенно осторожным следует быть в юности. Это время, когда формируется многое, когда создается не только карьера, любовь, религиозные и другие верования, но и строится — лучше или хуже — свой персонаж, создается «я» человека. В юности мы формулируем в отношении себя гипотезу. Несчастье тому, чья гипотеза — «Я больной, я слабый», кто принимается играть эту роль и увлекается ею. Счастливы те, кто выдвигает обратную гипотезу: «Я сильный, богатый и счастливый, мне во всем будет удача». Это — две гипотезы, два персонажа, и человек себя формирует и создает, полюбив того или другого. Это — построения человека о себе самом.

Но почему мы создаем то или иное построение? Мы говорим, что не годится выдвигать в отношении себя плохую гипотезу. Те, кто представляет себя слабым, становятся такими в силу своего убеждения. Но почему они в это верят? Почему мы формируем в отношении себя ту или иную идею, создаем того или иного персонажа? Прежде всего огромное влияние имеет мнение других. Мы создаем собственного персонажа так, как нам говорят. Люди друг другу подчиняются, диктуют друг другу персонажей. Вы — священник, и вам приводят пример: священники ведут себя так-то, что и вам следует делать. В семье, к сожалению, родители часто диктуют молодым людям их персонаж: мать нашептывает им, что они слабы, глупы, покорны ей навечно. Пресекаются всякие попытки сопротивления, подавляется всякая инициатива, — так создается их персонаж. Он формируется другими людьми, их примером и их приказами. Знакомые только с небольшим числом персонажей, семьи изобретают для своих детей персонажей химерических. Очень часто они достигают своего: эти персонажи воплощаются.

Но еще важнее личностный фактор. Мы выбираем персонаж, который принесет нам успех. Не следует забывать, что все наше психологическое поведение направлено на наше подкрепление. Рано или поздно, следует набраться мужества и изучить совокупность этих совершенно неразрешенных проблем психологической слабости и силы. Хотя мы в точности не знаем, что такое психологическая сила, мы постоянно к ней стремимся.

Мы все хотим быть сильными и ищем средства эту силу получить. Так, психологическую силу — или, по меньшей мере, ее иллюзию, — нам дают чувства радости и триумфа. Когда определенные действия достигают успеха, мы осуществляем по этому поводу реакцию триумфа: мы довольны, некоторое время находимся в приподнятом настроении. Есть роли, которые нас возвышают, и такие, которые приводят к упадку. Есть персонажи, приносящие нам счастье и несчастье. Мы постоянно встречаемся с этим в жизни.

Вот человек, лишенный психологической силы. Он окружен сочувствующей матерью, ограждающей его от всякого усилия, жалеющей его, всегда пытающейся похвалить, даже когда он этого не заслуживает. Он чувствует некоторый триумф. Ему лучше быть с человеком, который его жалеет, и это руководит его выбором. А вот женщина недовольная собой, потому что у нее неинтересная роль, ей недостаточно подчиняются: мать семейства, к которой относятся с некоторым презрением, не уважают ни муж, ни дети. И вдруг она оказывается в среде, где все — у ее ног, подчиняются малейшему ее знаку. Она вдруг открывает для себя профессию авторитаризма, столь опасную и столь явную в разных семьях.

Увы! Так же обстоит дело и со всеми физиологическими возбудителями, алкоголем, морфином. Прислушайтесь к признаниям людей, ставших морфинистами или алкоголиками. Прислушайтесь к словам человека, произносящего с отчаянием: «Я не был мужчиной, был слаб, волновался по любому поводу. Я не решался даже познакомиться с женщиной. Я был никчемным. Однажды я выпил немного больше вина и почувствовал себя человеком». Такого рода эффекты необыкновенны. Они чуть ли не столь же удивительны, что и религиозный подъем, Божественное откровение. С этого дня человек стал алкоголиком, потому что вино помогло ему раскрыться. Сколько людей однажды сделало подобное открытие морфия! Морфий покорил их своим ужасным воздействием, сиюминутными удовольствиями.

Так же с персонажем. Персонаж, которого мы играем, чрезвычайно вариативен: он может быть разным, получаться лучше или хуже. Мы вынуждены создавать пер-

сонаж преподавателя: это может оказаться делом очень утомительным и тяжелым и не давать ни триумфа, ни желанья продолжать. Или же все идет гладко, нас это увлекает, и мы продолжаем идти по этому пути.

Итак, мы дошли до стадии превращения в персонажей и можем ими оставаться годами — по крайней мере, до тех пор, пока психологическая эволюция, не позволит нам подняться над этим довольно элементарным уровнем верований. Но перед тем как покинуть персонаж, чрезвычайно интересный и важный в нашей жизни, мы остановимся на одном из наиболее замечательных его следствий и в следующей лекции обратимся к застенчивости и социальной оценке.

7 ФЕВРАЛЯ 1929 Г.

10. СОЦИАЛЬНАЯ ОЦЕНКА

На предыдущей лекции мы ввели понятие персонажа, и сегодня я продолжу о нем говорить. Это понятие кажется мне очень важным, основополагающим для построения личности другого человека и своей собственной. Оно служит в особенности для различения людей, что, как мы видели на примере индивидуации, первоначально представляло трудность.

Персонаж разделяет людей прежде всего по их качествам. Человек, квалифицируемый как булочник, отличается от преподавателя или солдата. Мы и сами себе приписываем особую роль, отличающую нас от других. Но есть свойство персонажа, о котором мы еще не говорили, и которое, с моей точки зрения, важнее остальных. Оно возникает из социальной иерархии и распределения: общество ранжирует персонажей, ставя их не рядом, как булочника и каменщика, а одного над другим: как солдата и унтер-офицера, полковника и генерала. Эта особенность общества получила необычайное развитие. В большинстве профессий, во всех социальных ситуациях есть иерархия: от простого служащего в офисе до заместителя начальника, начальника и министра. Иерархия существует и в светском обществе. Когда человек двадцать встречаются в салоне, чем они занимаются?

Мы уже много раз пытались говорить о визитах, беседах и о той игре словами, которая сыграла большую роль в эволюции речи, свободы и в формировании идей. Но в визитах и общественных собраниях есть и еще кое-что. Это — поля битвы, где люди сталкиваются друг с другом и меряются силами. Стоит собрать человек пятнадцать, как среди них возникает вопрос: какова ценность такого-то с точки зрения социальной ситуации, богатства, интеллекта, красоты, здоровья и т. д. Оценка людей друг другом происходит постоянно, и у нас самих есть потребность определять свое место среди других. Мы всегда спрашиваем себя: «Ниже ли я этого человека с разных точек зрения или выше? Много ли среди собравшихся людей выше меня? А тех, кто ниже меня?»

Социальная иерархия и ее формирование вполне заслуживает психологического изучения. Если не ошибаюсь, она была объектом очень немногих исследований. По сути, социальной иерархией занимаются только с социологической точки зрения. Изучается, какая иерархия существует в обществе, кто является главой, кто — заместителем и подчиненными, и описываются существующие социальные системы. Но посредством какой работы, какими действиями членов группы и психологическими операциями иерархия осуществляется, как она функционирует, — не изучается вовсе. Я не нахожу психологических исследований социальной иерархии, исследований фундаментального характера, которые, будь у нас немного больше здравого смысла, могли бы стать отправной точкой для социологии и политики. А ведь именно через психологические исследования раскрываются существующие между людьми иерархические отношения.

Психологическая проблема социальной иерархии предстает в двух очень разных аспектах. Первый я упомяну лишь вскользь, поскольку мы не будем изучать его в этом году: это само функционирование иерархии, осуществление функций, имеющихся у той или иной иерархической ступени. Общество называет вас капитаном, и вы должны играть роль капитана. Это гораздо сложнее, чем думают. Можно подумать, что прислугой может быть любой человек. Это не так. Есть особые добродетели и

особые силы, соответствующие каждой ступени иерархии. Есть функции, которые необходимо выполнять.

Несколько лет назад я говорил о социальной проблеме, кажущейся мне довольно любопытной: функции унтер-офицера. Она очень интересна и отличается как от функции солдата, так и от функции капитана, командира. Это специальная функция, которая предполагает свои сильные и слабые стороны. Таким образом, для каждой роли, каждой иерархической позиции существуют собственные качества. Начать, таким образом, следовало бы с исследования действий, соответствующих разным ступеням иерархии. Но, как мы сказали, этого недостаточно, поскольку, кроме организованной сверху иерархии, есть иерархия самоорганизующаяся. Кроме настоящего командира есть те, кто хотел бы занять это место. Кроме преподавателя есть те, кто только проходит экзамен на это звание, это не то же самое. Чтобы занять ту или иную должность, ведется борьба. Особая сторона иерархии — постоянная борьба людей друг с другом, — борьба не на смерть, а чтобы превзойти, встать выше других. Именно она приобретает такое значение в салоне.

Сегодня мы займемся не первым, социальным, аспектом, который считается изученным, но вторым — видимой и тайной борьбой людей, стремящихся обойти друг друга. Эта борьба существует, как мы только что сказали, в любом собрании — выборе костюма, разговоре. Эта борьба столь постоянна, что ее выделили в особое явление и дали странное название, — по-моему, первым его ввел Тард: социальная капиллярность. Она отражает устремленность вверх, побуждение человека подниматься в верхние эшелоны иерархии и, как следствие, доминировать над другими. Эту социальную борьбу, капиллярность, постоянное соревнование мы назовем функцией оценки.

У нас много функций — речи, пищеварения, памяти, — и есть функция оценки. Нехорошо, когда мы теряем положение, которого достойны. Нужно уметь отстаивать свое место, чтобы нас заметили, позволили занять место над другими. Мы все более или менее привычно используем функцию социальной оценки. Необходимо изучить ее психологию. Она очень сложна и обычно игнорируется.

Чтобы исследовать психологическую функцию, мы на протяжении многих лет используем обходной путь: обследуем больных, у которых эта функция нарушена, и ее аномалии как раз и показывают, чего именно больному не хватает, и в чем состоит отсутствующая у него функция. Итак, следует найти нарушения, соответствующие функции оценки, которые обнаруживают у человека ее дефицит и показывают, как ее реконструировать, в чем она заключается, как совершается.

Психологическое расстройство, которое следует рассмотреть в этом отношении, довольно банально. Его мало кому удастся избежать, но у некоторых оно может приобретать особую важность, о которой даже не подозревают. Эта проблема — застенчивость — хорошо известна и всегда вызывала мой интерес. Вот уже сорок лет я возвращаюсь к ней в первую очередь по эгоистическим соображениям: я и сам страдал ею в молодости. Изучение болезней также привело меня к мысли, что, возможно, нет ни одного психического заболевания, которое бы не начиналось более или менее выраженными проблемами застенчивости. В нем зародыш всех психических расстройств и неврозов, и он может развиваться в разные патологические формы — в первую очередь меланхолию и бред преследования.

Уже некоторое время назад психологи и моралисты осознали важность этого феномена: существует много исследований застенчивости. Можно выделить две их фазы. Я бы отнес свои работы с 1902–1903 гг. к началу второй фазы изучения застенчивости. А самое их начало восходит к трудам Ж.-Ж Руссо, который и сам был очень застенчивым и, как известно, кончил бредом преследования. В своей «Исповеди» и «Прогулках одинокого мечтателя» он много раз говорит о застенчивости, не очень хорошо ее понимая.

В конце XVIII века появилась довольно любопытная работа г-на де Циммермана об одиночестве. В ней есть интересные мысли, предвосхищающие психологию социального поведения: о достоинствах и недостатках одиночества, о том, почему люди любят уединение, почему они так нуждаются в нем: по-моему, оно чрезвычайно полезно. Автор изучает в этой связи трудности социальной

жизни и отчасти застенчивых людей. Позднее появляются работы Болдуина «Развитие ребенка и расы» (1897), труд Дуга (1896), книга бывшего ректора Лапье «Логика воли» (1902), в которую входит большая глава о застенчивости, и недавняя работа Хатенберга (также 1902), — хотя и современная, но придерживающаяся старой точки зрения.

С этого времени (1902–1903) — и в прочитанных ранее курсах, и в работе по навязчивостям — я основываюсь на другой позиции. Исследование застенчивости, выполненное нами двадцать лет назад, и сейчас небесполезно. Среди слушателей этого курса, я уверен, найдутся многие, кто подхватит и разовьет рождающиеся идеи, которые я пытаюсь высказать. Я хотел бы напомнить вам в этой связи психологию таланта, которая меня всегда очень интересовала. Скажу о Леоне Дюпюи. Он не профессиональный психолог, а любитель с совершенно иной карьерой. Он посещал мои занятия, слушал лекции годами. Я заинтересовал его этой проблемой, и в 1914–1915 г. он показал несколько статей, которые так мне понравились, что я попросил своего коллегу и друга Леви-Брюля опубликовать их в «Философском обозрении» («Revue philosophique»). В томе за 1915 г. вы можете прочесть интереснейшую статью Леона Дюпюи «Основные стигматы конституциональной застенчивости» с очень хорошими наблюдениями автора над самим собой и многими людьми, которых он посчитал страдающими этими стигматами. Тогда же, к удовольствию некоторых, я предложил тему застенчивости для конкурса в Академии моральных наук и уговорил Дюпюи принять в нем участие. Он отправил доклад, за который в 1920 г. ему была присуждена премия. Доклад все еще не опубликован, хотя и содержит множество интересных мыслей о застенчивости, на которые мы иногда ссылаемся.

Застенчивых людей очень много. Можно сказать, что почти все в юности более или менее серьезно страдают застенчивостью и должны с нею бороться. С первого взгляда застенчивый — это человек, испытывающий ужас перед обществом. Застенчивая девушка или юноша приходят в отчаяние от приглашения на званый обед, бал или вечеринку. Они испытывают что-то вроде патологического страха перед подобными собраниями. Когда их хотят

туда отвести, они сопротивляются, придумывают болезни, чтобы остаться дома. Родители очень удивлены этой реакцией. Они никак не могут понять своих детей.

Родители часто чувствуют по-другому, чем дети: они находятся в другом жизненном периоде. Застенчивость появляется в определенное время жизни, когда поведение меняется. Становясь старше, несколько отходя от дел, в первую очередь отходят от социальной баталии — их положение лучше, но оно фиксированно. Люди считают вас человеком с таким-то положением; пусть это не бог весть что, но, в конце концов, вы им довольствуетесь. Я не собираюсь менять ваше место в этой системе. Даже если было бы возможно вас понизить, это не так легко. А про то, чтобы подняться несколько ступенями выше, не может быть и речи.

Родители занимают более или менее фиксированное место в иерархии: их уважают, мнение о них не меняется. Как следствие, когда они выходят в свет, они идут спокойно, без оружия и мыслей о схватке. В случае молодых людей дело обстоит по-другому. Для них эта ситуация не определена ни в отношении профессии, ни в отношении семьи или любви, ни даже уважения к ним. В конце концов, девушку постоянно оценивают как уродливую или миловидную, хорошо или плохо одетую, грубую и глупую или, наоборот, блестящую. Мнение о ней еще не устоялось, и очень важно его завоевать.

В целом бедные молодые люди идут на сражение, а их родители — нет. Есть люди, которые не любят битв; это вполне естественно. Вот почему у наших застенчивых молодых людей перед выходом в общество, который будет для них сражением, появляются самые разные проблемы. Их проблемы пытались понять по-разному. В это время К. Ланге и В. Джемс проводили свои исследования эмоций, и первое замечание по поводу застенчивых: у них часто случается так называемый приступ робости. Понаблюдайте за этими людьми, которых заставили идти на прием, выбили почву из-под ног, не посчитавшись с их состоянием духа, — на поле битвы. Вы заметите у них массу проблем. Очень часто это висцеральные нарушения. Изменяется дыхание. Можно было бы даже записать на осциллографе учащенное, замедленное или прерывистое

ПСИХОЛОГИЧЕСКАЯ ЭВОЛЮЦИЯ ЛИЧНОСТИ

сердцебиение, разные проблемы с пищеварением. Если они должны вечером идти на бал, у них начинается несварение желудка и т. д.

Проблемы робости проявляются в первую очередь в кровообращении. Достаточно долго периферическим сосудистым реакциям кожи лица придавалось огромное значение. Очень многие застенчивые краснеют: говорят даже, что это патогномический, характерный признак застенчивости. Люди вбивают это себе в голову, и, как вы знаете, застенчивость может перейти в особое психическое расстройство — эреутофобию, боязнь покраснеть. Часто у молодых людей краснота становится отговоркой: «Я не хочу показываться на этой встрече, потому что буду красным до корней волос. Это совершенно непереносимо». Эреутофобия — болезнь, вытекающая из застенчивости и страха борьбы.

Эти физиологические нарушения изучались с видимой точностью и стали отправным пунктом для объяснения болезни. Полагали, что застенчивые — люди, чья нервная система склонна к подобным реакциям. Их симпатическая нервная система заставляет краснеть лицо, нос, изменяет сердцебиение, дыхание: дело в неудачной нервной конституции. Им надо дать немного белладонны, и все пройдет. Больше здесь нечего ни сказать, ни сделать. На этом основываются работы, о которых я вам говорил, — особенно последняя, Хартенберга. Застенчивых относят к категории эмотивных; это вегетоники или симпатикотоники, и все объясняется этими умными словами.

В наших лекциях мы часто повторяли: это объяснение слишком просто, грубо и не соответствует в точности проблеме. На самом деле, эмотивность — очень распространенное явление. Есть много эмотивных людей, которые эмоционально вспыхивают, когда просто открывается дверь, когда они внезапно слышат шум, выходят на улицу, видят пламя и т. д. Они эмотивны, но отнюдь не застенчивы. Значит ли, что эмотивный человек однозначно является застенчивым? Весьма спорно. Я отсылаю вас к статье Леона Дююи, которая интересна своей литературной эрудицией. Дююи черпает свои наблюдения не только среди знакомых ему людей, но и в мемуарах разных литераторов. Составив весьма интересный список

великих писателей, он показал очень важный факт: многие писатели — такие как Альфред де Мюссе или Эдгар По — были страшно эмотивны, но не застенчивы. Они были больны эмотивностью.

И наоборот, можно встретить людей ужасно застенчивых и далеко не столь эмотивных, как принято думать. Не нужно считать застенчивого трусом, это не одно и то же. Застенчивый может вас необычайно удивить, поразить мужественными поступками, героизмом в самых разных ситуациях. Мы прекрасно знаем много случаев, когда во время войны застенчивый человек становится героем, не испытывая страха перед лицом опасности. Он даже скажет вам с грустью: «Жаль, что в салоне передо мной нет настоящей опасности. Если бы на меня нападали, у меня бы сразу нашлись силы, все пошло бы как по маслу; но на меня не нападают — вот отчего я застенчив».

Таким образом, есть застенчивые незэмотивные и незэрусливые. Это не так просто объяснить. К тому же грубо и неточно объяснять любую застенчивость приступом робости. Многие застенчивые находят средства избежать этого приступа: самое простое — это не пойти на встречу. Оставаясь дома, они не испытывают кризиса робости, но от этого не перестают быть застенчивыми. Факт того, что человек не идет на встречу — факт застенчивости самой высокой степени, очень характерный, но в котором нет приступа робости. Впрочем, сам этот приступ может быть очень разным. Меня когда-то интересовал вопрос зэреутофобии. Я рассказывал о молодой женщине с очень серьезной патологической застенчивостью. У нее была смуглая матовая кожа, совершенно не способная к покраснению, так что во время особо серьезного приступа эмотивности она резко бледнела. Румянец совсем не обязателен. Наконец, приступ робости банален: это приступ эмотии. Когда машина разбивается или несется на вас, у вас будут в точности те же проблемы с дыханием, сердцебиением, тот же румянец, та же бледность. Это не объясняет приступа робости. Мы говорим об очень туманном объяснении, восходящем к тому времени, когда все стремились объяснить физиологическими нарушениями, поверхностными и более или менее реальными.

Необходимо наконец продвинуться в изучении застенчивости, вводя социальные понятия. Речь идет не об особой эмотивности, не просто о нарушениях симпатической системы, а об обществе и социальном поведении. Оставим в стороне общие реакции, которые могут произойти при взрыве или пожаре, и вернемся к социальному поведению. Я следовал этой логике в работе 1902 г., говоря: «Застенчивый человек — это человек, который не умеет осуществлять социальное поведение». Эта болезнь социального поведения трудна для объяснения и понимания еще и потому, что мы сразу сталкиваемся с возражением, которое сами застенчивые постоянно ставят перед нами: «Но я вполне способен вести себя так, как вы говорите, делать то, чего ждут от меня в салоне».

Вот девушка, которая должна в салоне сыграть на фортепьяно сложное музыкальное произведение. Это для нее большое испытание. Вы говорите, что ее болезнь состоит в том, что она не может выполнить этот социальный акт. Но она вам ответит: «Я очень хорошо играю это сложное произведение, когда никого нет. Следовательно, я могу совершить это действие».

Я постоянно привожу наблюдение, которое меня поразило в юности. Один молодой человек выбрал профессию преподавателя, но жаловался на особую трудность: «Несчастье мне! Я создан для этой профессии. Я хочу быть преподавателем. Мне нравится эта профессия, но я не могу ни слова сказать в присутствии другого». Я позволил себе спросить: «Но откуда вы знаете, что вы прекрасный преподаватель? С чего вы это взяли?» «О, — ответил он, — это элементарно и доказательство бесспорно. Дома я только и делал, что расставлял стулья и блестяще читал лекции. Значит, я отлично могу провести урок с учениками, нужно только, чтобы их не было в классе». Я его убедил, что это не так и что он, возможно, ошибся в своем призвании.

Задумавшись над этим случаем, я пришел к некоторым психологическим наблюдениям. Наши действия очень различаются и постоянно изменяются в зависимости от условий, в которых они должны быть выполнены. Этот милый человек, читая лекцию стульям в своей комнате, в действительности не совершал действия, на-

зываемого чтением лекции. Он ошибся в обозначении. Назовите это, как хотите, — хотя бы декламацией в уединении. Это не лекция, поскольку не хватает необходимого условия, элемента, который и создает лекцию — глаз слушателей, их лиц. Мой друг не читал лекций и не умел этого делать.

Девушка вас уверяет, что она прекрасно играет сложный отрывок: следовательно, она умеет это делать. Но одно дело — сыграть отрывок одной, и совсем другое — сыграть его скучающим людям, которые только делают вид, что вас слушают. Это два совершенно разных акта. Во втором случае девушка не могла сыграть произведения, она совершала другое действие. Таким образом, нужно вернуться к той мысли, что при застенчивости речь идет о трудности социального действия, и все, связанное с социальным действием, становится также затруднительным. Мы останавливались на этом в работе 1902 г., но с того времени немного усовершенствовали эту теорию. Работа Дююи и мои лекции по этому вопросу, нашедшие отражение в книге «Психологическое лечение» («Les Médications psychologiques»), показывают необходимость различать даже социальные действия.

Правда ли, что застенчивые неспособны ни на какое социальное действие? Ничего подобного. Дююи в своих статьях приводит забавное замечание, кажущееся мне вполне справедливым. Если вы поместите очень застенчивого человека, неспособного в салоне вымолвить ни слова, в несколько абсурдную ситуацию — на улицу, где довольно темно и где собеседники его не видят, — он будет отлично беседовать. Переместите его в незнакомую обстановку, в гостиницу, где он никого не знает и его никто не знает. Предпримите меры предосторожности и не называйте его имени, чтобы собеседники ничего о нем не знали. Он будет очарователен, искрометен, будет общаться, не испытывая никакой застенчивости.

Вот что очень необычно. Застенчивый, говорили мы, не способен на социальное действие. Но вот социальные действия, и он блестяще с ними справляется. В чем же проблема в первом случае? Он и сам вам скажет: в том, что знают его имя. Что это значит? В обществе у нас существуют разные формы поведения. Наш застенчивый человек

находится в одном из тех промежуточных положений, о которых я упоминал в начале лекции: в группу, которой родители его представляют, входят как знакомые, так и незнакомые. Ее образуют как родственники, давно его знающие, так и совсем незнакомые с ним люди. Там половина знакомых, а половина — нез знакомых, и это полужнакомство проявляется в серьезном обстоятельстве: все люди, с которыми он должен говорить, называют его имя, указывают на него: «Вы сын таких-то, я вас знаю, я знаю ваших родителей». Они хорошо его знают. Что же значит — быть немного знакомым или вовсе не знакомым?

Замечания, которые мы делали в начале занятия, позволяют нам предположить следующее. Быть знакомым — значит быть помещенным в некую категорию, занесенным в каталог, классифицированным. В салоне появляется старик: его статус определен, к нему есть некоторое более или менее конвенциональное уважение, в зависимости от достигнутого им социального положения. Он больше ни с кем не конкурирует, он уже прошел классификацию. Так происходит с хорошо известными людьми. Если наш молодой человек общается с дядями и тетями, близкими ему кузинами и кузенами, его позиция определена. Его ценят больше или меньше, но все решено, от него больше ничего не требуется. И как следствие — никаких баталий. С ними он не застенчив.

Когда он встречается с совершенно незнакомыми людьми, он еще не классифицирован, но в этом случае он и не подлежит классификации. Совсем незнакомые с ним люди в гостинице не знают его имени и никоим образом не оценивают его положение. Им не известно, великодушен ли он, умен или нет; его не ставят в иерархию, не классифицируют. Эта проблема просто не возникает. Напротив, в салоне, куда его приводят родители, он оказывается в сложной промежуточной ситуации — среди людей, которым известно его имя и которые хотят его классифицировать, занести в каталог.

Рассмотрим внимательнее эту социальную ситуацию. Когда мы входим в салон, люди, которых мы встречаем, занимают по отношению к нам разное положение. Если в салоне пятьдесят человек, человек десять вас знают, и вы их знаете, и можете честно поставить выше себя. Одни из

них — пожилые люди, достигшие более или менее высокого положения, другие перегнали вас благодаря своим работам. Вы засвидетельствуете им свое почтение. С ними все понятно. Человек десять также классифицированы и стоят ниже вас. Это дети, которые не принимаются в расчет, школьники, начинающие обучение, девочки в коротких юбочках, — все они не важны. Они не включены в социальное соревнование, мы не спрашиваем их мнения, они тоже классифицированы. Но, кроме первых и вторых, есть группа, находящаяся в поиске своего места в классификации. Вам придется бороться с этими тридцатью. Зачем эта борьба? Неужели нет более простого выхода?

Таким решением будет сесть в уголке, ни с кем не говорить, не высовывать носа и интересоваться соседом. Застенчивые люди часто так и поступают, за исключением тех, кто встает у притолоки и мешает проходу. Застенчивые избегают сражений. Если вы так боитесь, если вы этого не хотите, оставайтесь в углу и будьте трусом.

Почему бедного застенчивого всегда преследует безумное желание включиться в собрание, беседовать, бороться? Он боится битвы и сам же ее начинает, — это смешно. Его толкает на это другая потребность, социальный зуд, о котором мы только что говорили: та самая социальная капиллярность. Его положение не определено, но он хотел бы быть классифицированным и на как можно более высоком уровне; он так этого желает, что сложилась даже привычка — дурная, с моей точки зрения, — говорить, что застенчивый человек — гордец, жаждущий самой высокой оценки и злящийся, если этого не происходит. Внешность застенчивого человека это подтверждает. Он действительно слегка похож на гордеца. Он хочет быть оценен, хочет занимать выдающееся место в обществе, но почему?

Вернемся к проблеме социальной иерархии. Мы видели, что разным классам общества соответствуют разные функции. Но существуют не только функции. В каждом социальном классе у других есть обязанности по отношению к вам. Долг есть не только у генерала, но и у солдат и унтер-офицеров по отношению к генералу. Высокая социальная позиция предоставляет большие возможности, средства комфорта и отдыха, социальные

ПСИХОЛОГИЧЕСКАЯ ЭВОЛЮЦИЯ ЛИЧНОСТИ

преимущества. Наивысший обладает главной властью, характерной для его функции. Это — командная власть: он командует, это его роль, и ему подчиняются. Неужели плохо быть господином, которому все подчиняются? Это дает большие преимущества — в первую очередь в глазах молодого человека, который не задумывается и не задается вопросом о том, что командование труднее подчинения, не требующего ни усилий, ни борьбы. Осуществление действия предполагает расход сил; действие утомительно. Если, чтобы множество человек подчинилось, достаточно лишь назвать действие, это действительно дает большие преимущества.

С другой стороны, когда мы приказываем и это выполняется, действуют психологические законы, заставляющие нас чувствовать радость. Мы испытываем триумф от действия, выполняющегося по нашей команде, как если бы совершали его сами, и чем больше людей выполняют это действие, тем больше наш триумф. Боссюэ в одной из своих надгробных речей говорил, что принц, командующий армией, действует как будто в нем одном — триста солдат: очень интересное и точное психологическое замечание.

Итак, наш застенчивый хотел бы иметь возможность командовать, но командование и подчинение имеют самые разные последствия с точки зрения психологической динамики. Подчиняющиеся вам люди повинуются вашему малейшему желанию, даже не ожидая команд, исключительно для того, чтобы завоевать вашу благосклонность, и все это — без того, чтобы вы себя чем-то утомляли.

Кроме всего прочего, зависимые от вас люди неизбежно становятся льстецами. Хорошо пользоваться расположением начальника, поскольку тот отдает приказы, защищает и наделяет властью, — и они все это получают, если приведут начальника в благоприятное расположение духа. А вы знаете, что привести в благожелательное состояние духа можно, вдохновляя и возвышая. Нужно создать возможность для реакций триумфа, о которых мы все время говорим.

Как доставить людям чувство триумфа, даже не подчиняясь им? Напоминая им о совершенных ими прекрасных поступках, о былых триумфах, которые снова приводят их

в возбуждение. Лесть, комплименты, подарки, дары — для начальника постоянная подпитка, и когда на это смотрят со стороны, не спрашивая себя, за что эта плата, воображают, что он обладает огромными достоинствами.

Позиция начальника обладает особым преимуществом, о котором я бы хотел сказать несколько слов, потому что для наших застенчивых оно очень важно. Его можно резюмировать одним психологическим понятием, одновременно обиденным и сложным — понятием почтения, обходительности. Почтение испытывают по отношению к высокому начальству. Очень выгодно встречать людей, которые относятся к вам с почтением, это очень отрадно. Сколько несчастных все время жалуются, что их жена, дети, окружающие не испытывают к ним никакого почтения.

По сути, слово «почтение» значит лишь то, о чем я только что говорил. Оно означает подчинение, отсутствие сопротивления, нападения, критики, насмешек, предполагает поздравления, бесконечную лесть, приятности разного рода. Когда люди требуют к себе почтения, вы спросите: «Они требуют просто подчинения?» Да, но подчинения особого. В нашем мире есть фатальный экономический закон, очень неудобный: за все надо платить. Чье-либо подчинение нужно заслужить. Чтобы добиться подчинения, нужно командовать по-особому и следить за послушанием, осуществлять поведение весьма любопытное, сложное и дорогостоящее. Такое положение завоевывается усилиями, признание завоевывается делами. Все время приходится платить, и эта плата утомительна: потому что, во-первых, истощает наши силы и, во-вторых, распространяется на будущее. Люди боятся не столько сегодняшних трат, сколько завтрашних. Буду ли я завтра столь же силен, так же хорошо себя чувствовать, чтобы осуществлять эти действия? Эти люди будут меня ценить, если я им пообещаю так действовать, но вдруг завтра у меня не хватит мужества выполнить обещание? Итак, чтобы завоевать подчинение и повиновение, нужно учитывать настоящие или будущие действия.

Почтение — совершенно особая ситуация. Она соответствует тому, что в политической экономике называют кредитом или авансом. Авансы, знаки уважения — это наше подчинение, на которое мы соглашаемся без

оплаты. Мы слушаем старшего, угождаем ему, делаем комплименты, возвышаем его, ничего не требуя взамен. Почему? Потому что считаем, что он уже уплатил когда-то давно. Мы уважаем родителей, потому что они когда-то за это заплатили. Мы испытываем почтение к нашим старым учителям, потому что те нам когда-то помогли. Мы уважаем сына почтенных родителей, потому что те в прошлом оказали услуги стране. Вот превосходное положение, которое я вам очень рекомендую. Прекрасно иметь состояние, особенно, которое не надо зарабатывать, уже приобретенное кем-то и когда-то. Вот идеал жизни. Состояние, которое заработал сам, — совсем не так интересно. Что нужно, так это унаследовать состояние без необходимости его сколачивать, унаследовать из прошлого, от предков, а в придачу получить и уважение.

В завершение вернемся к нашему застенчивому бедняге. Застенчивый — это слабый человек, социальный астик, наполовину меланхолик, который боится не только настоящего, но и в особенности будущего действия. Он боится не столько людей, — так как может быть очень смелым, — сколько действия, которое должен выполнить. Ибо социальная оценка обязывает его к такому количеству настоящих и будущих действий, что это каждый раз выливается в борьбу, в сражение. Когда он выходит в свет, он выходит на поле битвы: ему нужно бороться от первого слова до последнего.

Бороться против чего? Вот, например, сосед, отпускающий иронические замечания и превращающий его в посмешище. Если вы позволите это сделать, то упадете в глазах остальных, потеряете свой социальный статус. Нужно ответить тому, кто отпускает шуточки и иронизирует, быть сильнее его. Нужно ответить более удачными шутками, направленными против него, иметь большую живость, проворство в ответе. Это — быстрая схватка.

Дююи в своей работе подтверждает это: застенчивый не так скор на слово. Как говорил Руссо, он крепок задним умом: на обратном пути придумывает, что должен был сказать в салоне. Он не умеет отвечать на колкости. Однако это не совсем так. Он прежде всего не умеет бороться. У него нет социальных привычек, знания людей, у него недостаточно багажа, чтобы отвечать на шутки,

он — плохой борец. Таким образом, застенчивый человек получает низкую социальную оценку. В результате битва, в которую мы вовлечены, кажется ему ужасной: он с самого начала знает, что обречен на поражение, и после каждой такой встречи будет падать в глазах окружающих его девушек и дам, которые станут считать его еще глупее, чем в прошлый раз. Его статус постоянно снижается и, заранее зная, что будет побежден, он боится социального действия. Оно представляется ему чем-то ужасным, что он должен уметь и не умеет делать.

Социальная борьба необходима, чтобы утвердить персонаж и постоянно его поддерживать. Она играет основную роль в нашем социальном положении и в создании нашей личности. Эту роль, впрочем, можно играть лучше или хуже. Об одном из расстройств мы уже говорили. На следующей лекции мы завершим изучение иерархии разговором о нарушениях социальной оценки.

14 ФЕВРАЛЯ 1929 Г.

17. НАРУШЕНИЯ СОЦИАЛЬНОЙ ОЦЕНКИ

В прошлой лекции о застенчивости мы отметили интерес и важность психологической функции социальной оценки — по большому счету довольно плохо изученной. Как следует из названия, она осуществляется только в социуме. Ее условие — социальная группа не должна быть ни слишком знакомой, где нас прекрасно знают и где, как следствие, мы уже были оценены, ни вовсе не знакомой, где до нас нет дела, где нас и не собираются оценивать. Речь идет о чем-то среднем, о такой группе, в которой, выражаясь обыденным языком, мы собираемся заводить знакомства.

Там в форме особого действия осуществляется функция оценки. Как мы видели, она заключается в том, чтобы вести себя определенным образом и приписывать соответствующее поведение другим: считать себя низшим в отношении одних людей в группе и высшим — в отношении других.

В основе низшего или высшего поведения лежит вопрос о командовании и подчинении. Мы подчиняемся

→ одним людям и командуем другими. Это порождает феномены похвалы, поздравлений, приветствия и, в особенности, любопытный феномен обходительности, почтения — подчиненного поведения, за которым не следует немедленного вознаграждения. Возникает целая совокупность особых форм поведения, разворачивающихся в группе. Застенчивый человек — это тот, кто такого поведения боится, не владеет им и избегает, насколько возможно. Он боится акта оценки.

Итак, мы исследовали эту форму поведения в малознакомом обществе. Однако всякое действие оставляет в нас своей след. В результате тенденции легче воспроизводятся, складываются привычки, которые с появлением языка преобразуются в выражения, утверждения и верования.

Мы отметили в прошлый раз, что среди собравшихся в салоне людей есть те, кто, в отличие от застенчивого юноши, не испытывает беспокойства (в частности, родители, пожилые люди), объясняя это тем, что они уже прошли оценку. Эти люди уже заняли свое социальное положение, оно им было присвоено. Им не нужно бороться за оценку, и они сразу переходят во вторую группу психологических феноменов — привычек и верований, следующих из актов оценки.

Связанные с социальной оценкой верования имеют особую важность. Они есть у каждого из нас, сопровождают нас во всех ситуациях и продолжают действовать, даже когда мы одни. Мы считаем себя оцененными в отношении как окружающих нас людей, так и тех, с которыми мы можем встретиться. Мы спокойно говорим: «Столько-то людей ниже меня. Я могу ими командовать, — они будут делать мне комплименты, почитать меня, — а других считаю выше себя и испытываю к ним уважение». Всю жизнь мы так себя оцениваем, — это неизбежно и играет в обществе огромную роль. Чтобы это понять, увидев второй аспект функций оценки, мы, как всегда, рассмотрим случаи, когда этот феномен преувеличен, и его патологические формы, довольно распространенные.

Патология полна случаев нарушений оценки. Одна из обычных их форм — расстройство неполноценности. На каждом шагу, в особенности у молодых людей, встречаются странные утверждения, иногда, к сожалению,

нию, совершенно искренние, согласно которым эти люди считают себя ниже всех, маленькими и незначительными. Если эти черты не преувеличены до смешного, они не неприятны. Говорят, что скромность — украшение юности, и что люди, считающие себя ниже других, справедливы. Нас устраивает, когда другие ставят себя ниже, и мы это одобряем.

Но очень часто это доходит до абсурда: есть люди, все время ставящие себя слишком низко в социальной иерархии. Если вы помните, в прошлом курсе по памяти я уже рассказывал о подобной психологической работе, заключающейся в классификации явлений, расстановке их на иерархической лестнице. Это очень важно с психологической точки зрения, и мы на каждом шагу сталкиваемся с этими проблемами. Когда у нас есть воспоминания, представления, мысли, мы должны совершить в отношении их оценку. Нам пришла в голову некая мысль. Какова ее ценность? Насколько она важна? Иногда мы говорим: «Она совершенно не важна, ничтожна, случайна; такая ерунда только мне могла прийти в голову, и я ставлю ее на самый низ лестницы». А иногда, напротив, мысль кажется нам важной, обоснованной, серьезной, реалистичной, и мы говорим: «Она имеет основания в прошлом; это воспоминание, представляющее действительное событие». Или же мы начинаем придавать ей статус реальности в настоящем, делаем ее чем-то реальным, что доводит до галлюцинации.

Нам приходится классифицировать очень многое; человеческая жизнь проходит в подобной классификации. Мы постоянно раскладываем наши действия и поступки по полочкам. Это, по сути, основная черта элементарного интеллекта — способность сортировать бумаги, приводить вещи в порядок. Подобно тому, как мы приводим в порядок вещи и мысли, мы пытаемся устанавливать порядок и среди людей. Людей нужно ранжировать и делать это правильно.

Подавленный человек, страдающий, как принято сейчас говорить, комплексом неполноценности, ставит себя слишком низко в иерархии, в классификации. Так же как он считает все свои мысли незначительными мечтаниями, он и себя полагает незначительным. Эта манера считать

ПСИХОЛОГИЧЕСКАЯ ЭВОЛЮЦИЯ ЛИЧНОСТИ

себя ничтожным может проявляться в самых разных элементах личности, о которых мы говорили, и которые учимся распознавать.

Прежде всего, как говорилось несколько лекций назад, это собственность. Первобытные народы понимали человека гораздо шире, но и у нас сохранилось кое-что из этого отношения. Для первобытных народов личность, индивидуальность распространялась на все, что было так или иначе связано с телом человека. Обломки ногтей, экскременты, выпавшие волосы, одежда, даже место, где сидел человек, — все это становилось частью человека и предполагалось, что, делая дурное на месте, где человек сидел, можно навредить и ему самому. Таков принцип магических практик, колдовства и множества подобных явлений. Кое-что из этого сохранилось в нашем понятии собственности, только мы различаем больше нюансов и классификаций. Наша собственность — часть нас самих, нашей личности.

Человек подавленный, с комплексом неполноценности, начинает с сокращения своей собственности. Отсюда происходит меланхолическое расстройство, которое может показаться очень странным, если не принимать в расчет его источник — бред разорения. Впав в меланхолию, эти люди начинают утверждать, что не смогут заплатить за квартиру, что их дети будут ночевать под мостом и пр. Если человек в нормальной ситуации станет вам говорить, что нуждается в деньгах, рассказывать об ограниченности средств, о потерях, он уже в меланхолии. Ограниченность средств — одно из меланхолических состояний, акт неполноценности.

Полагать себя разоренным — значит немедленно понизить себя в социальной иерархии, поставить себя ниже многих бедняков. С развитием болезни комплекс неполноценности может принять очень любопытную форму, играющую роль во многих невротических проблемах юности. Это — идея или чувство неполноценности своего тела, важнейшей составляющей человеческого существа. За меланхоликами, считающими себя разоренными, следуют те, кто считает себя безобразным. Такие люди встречаются очень часто. Одно из наших первых наблюдений, сделанное около сорока лет назад, касается очень симпатичной

девушка, которая с ужасом обнаружила над своей верхней губкой небольшие черные волоски, совершенно не волновавшие молодых людей, но казавшиеся ей ужасными. Она думала, что из-за этого ее невозможно полюбить, что она просто чудовище. Она довела себя до галлюцинаций, из-за деревьев ей слышались голоса, кричавшие ей, когда она проходила мимо: «Волосатая! Волосатая!»

Это телесное уничтожение. Итальянский психиатр Морселли когда-то относил этих больных к классу, который называл дисморфофобией, заключающейся в убежденности в своей телесной деформации, уродстве. Подобно тому, как девушка жаловалась на усы, другие стесняются прыщика на носу, красноты или еще чего-нибудь. Феномен покраснения один из самых важных. Эта болезнь, к сожалению, часто встречается у людей от шестнадцати до двадцати пяти лет, особенно у девушек. Ее называют эреутофобией (страх покраснения). «Когда я вхожу в салон, то краснею до кончиков волос. Какой кошмар! Это ужасно и ставит меня ниже всех. Я и сама воспринимаю себя ниже всех из-за того, что краснею». Для многих людей — а мне известно достаточно случаев — это довольно серьезная болезнь, являющаяся не чем иным, как болезненным выражением комплекса неполноценности, берущим начало в патологической застенчивости и слабости социальных функций.

Спустимся еще ниже в этой знаменательной функции оценки. В первую очередь у довольно пожилых людей мы встречаемся с уничижительным мнением по поводу своих интеллектуальных функций. Мне вспоминается несчастная меланхоличная дама, говорившая, что больше всего несчастна оттого, что стала слабоумной города X. В этом городе слабоумная только она, — и это ужасно, когда на тебя показывают пальцем, ужасно чувствовать свою глупость, умственную ничтожность. Существует множество случаев недооценки себя, принижения собственных сил, своей личности. Не забудем, что, когда речь идет о социальной функции, психологическая операция имеет два аспекта: есть я и есть другие. Как только я начинаю классифицировать, создавать иерархию, я определяю свое в ней место и место, которое занимают по отношению ко мне другие.

Всегда или практически всегда люди с комплексом неполноценности в отношении себя также имеют комплекс превосходства в отношении других. Другие выше их, они их подавляют. Чаще всего эти мысли приобретает характер преследования. Эти индивиды окружены людьми, которые недостижимы по своим интеллектуальным качествам, красоте, силе, богатству и, кроме того, могут их уничтожить, а потому они окружены преследователями. В частности, речь идет о психологическом явлении, о котором я вскользь упоминал. И мы еще вернемся к нему в следующий раз, чтобы показать, что в основе бреда преследования лежит меланхолия, моральная депрессия. Человек, полагающий, что его преследуют, считает своих преследователей выше и сильнее себя. Он неизбежно унижается. Идеи преследования и превосходства других идут рука об руку с комплексом неполноценности.

Разумеется, в психической патологии встречаются противоположные явления: как есть люди, страдающие комплексом неполноценности, так есть и множество людей с комплексом величия, считающих себя выше других и выражающих это самыми различными способами. Можно предположить, что существуют и промежуточные формы — сдержанное выражение превосходства. Вот логика такого поведения: люди сознают, что сами по себе ничтожны, но им посчастливилось найти могущественных союзников — людей, обладающих величием и неопровержимой силой, которые им помогают, протезируют, возвышают. Какое состояние души я имею в виду? Увы, это основа мистицизма. Мистицизм, как замечательно сказал г-н Сейер, это вера в связь с высшими силами: «Сам по себе я ничто, последний из рабов Господа. Но в силу этого я первый среди людей». Превосходство возникает как раз из этого союза с высшей силой.

Те из вас, кто уже давно посещает мои лекции, помнят, что мы выводили из этого явления важное понятие о поведении, играющем большую роль в обществе. Я дал ему шутовское название: поведение унтер-офицера. Нет человека счастливее унтер-офицера. Он обладает всеми преимуществами командира без его неудобств. Ему подчиняются, он может заставить слушаться, может наказывать; в то же время, ему не нужно наказывать самому,

а главное, не нужно самому придумывать команды, — он их просто получает сверху. Трудность командования состоит в изобретении необходимого и полезного в данной ситуации приказа, в его адаптации. Унтер-офицер не должен ничего придумывать и рассчитывать. Готовый, уже сформулированный приказ спускается сверху, он его принимает, и если ему не подчинятся, то наказывать будет уже вышестоящий.

Позиция унтер-офицера настолько удобна, что к ней стремятся все люди во всех социальных ситуациях. Люди вообразили, что они унтер-офицеры. Я когда-то отмечал, что человек религиозный монополизировал эту психологию: он — унтер-офицер. Приказывает не он, а Бог, и Бог наказывает за невыполнение; Бог его возвышает. Это, если угодно, нечто среднее между депрессией, унижением и гордостью. Настоящие гордецы ставят себя в первый ряд и считают это заслуженным. Они полагают, что выиграли все битвы социальной оценки.

Я бы хотел также напомнить понравившееся вам когда-то любопытное наблюдение, которое сделал во время войны и потом детально описал во втором томе «От тревоги к экстазу». Речь идет о молодом солдате, выведенном мной под именем Александра. Этот несчастный молодой человек в начале войны получил очень серьезную психическую болезнь, продлившуюся три года. Это была очень интересная болезнь. Мобилизация на него сильно подействовала, поскольку он оказался вдали от родителей. Тревоги разного рода, неприспособленность к казарменной жизни привели его в тяжелое состояние меланхолической депрессии, которая первоначально приняла форму навязчивости и продолжалась полтора года. Его преследовали товарищи, начальство — все, даже городские газеты, которые, по его мнению, относились к нему как к последнему ничтожеству, и т. д. Он ужасно переживал, сделался совершенно несчастным из-за всех этих преследований и унижений и чувствовал себя ниже всех.

А затем произошла метаморфоза: период унижения сменился периодом гнева (сегодня мы не будем об этом говорить, но это чрезвычайно интересный феномен сам по себе). Этот человек стал активен, гневлив, мстителен и

начал борьбу с преследователями — своим полковником, офицерами, — стремясь к победе и веря в нее. Он хотел подвести всех под трибунал, выдвинуться на первое место и отомстить за все перенесенные унижения. Этот переходный период гнева длился несколько месяцев.

Вслед за ним возникло удивительное расстройство, продолжавшееся больше года, которое я назвал бредом генералиссимуса. Он провел пятнадцать месяцев в психиатрической лечебнице близ Парижа в качестве генералиссимуса французской армии и армий союзников, одержавшего множество выдающихся побед и увенчанного немеркнущей славой. Успех ждал его везде, во всех мыслимых и немыслимых ситуациях, — не только на войне, но и в любви, торговле, всюду. Он был первый во всем, и это свойство проявлялось у него в довольно любопытных психологических особенностях. Он относился ко всем с долей презрения и в то же время подчеркнуто вежливо, как некто неизмеримо выше других. Великий король снисходителен к своим подданным; он не нападает как тот, кто должен бороться и соперничать. Великий король вне конкуренции, он превосходит в силу самого своего положения. Так и этот человек был спокоен и дружелюбен как генералиссимус, как великий человек.

Таковы формы нарушения социальной оценки — расстройства неполноценности и превосходства. Напоминаю вам о них, поскольку они имеют огромное значение для изучения общества и в конечном счете есть у всех нас — все мы такие. Большинство людей — либо униженные, либо тщеславные, «сильные», авторитарные люди. И те и другие плохо или относительно плохо определяют свое место среди других. Наше положение среди близких и общества в целом невозможно определить точно, это удастся лишь отчасти, с трудом. В зависимости от нашего склада мы делаем те или иные промахи.

Авторитарный человек без конца борется, чтобы занять место повыше. «Сильный человек» сам ставит себя на верхние ступени и полагает, что это заслужил. Надменный пользуется своим высоким рангом, который ему больше не нужно ни завоевывать, ни отстаивать. Он ведет себя, как наш генералиссимус, который мил и добр, поскольку ему не надо бояться: он недосыгаем. Напротив,

робкие люди ставят себя слишком низко в социальной иерархии, столь свойственной человеческой жизни: мы не только участвуем в битвах за социальную оценку (в которых застенчивые — проигравшая сторона), у нас есть и стойкие убеждения об оценивании.

Что представляют собой эти убеждения? Как, например, объяснить — что было бы чрезвычайно интересно — расстройства, о которых я только что вам рассказывал, и которые должны зависеть от каких-то психологических явлений, определяться некоторыми законами? Прежде всего, позвольте в двух словах напомнить вам научное понимание слова «бред», которое мы столь часто употребляем. Бред — убеждение, верование, с нашей точки зрения, ложное. Я говорю «с нашей точки зрения», потому что мы никогда не знаем, что на самом деле истинно, а что ложно. Обычно верование считается истинным, если принимается большинством. Большинство полагает, что ваше место такое-то. На этом и сойдемся. Большинство закрепляет за вами это положение: придерживайтесь его, не забирайте ни выше, ни ниже.

А когда наш храбрый солдат Александр провозглашает себя генералиссимусом французской армии и армии союзников — это бред, ложное верование, поскольку ни один человек во Франции и за ее пределами так не считает. Он — не более чем солдатик. Его собственное верование противоположно верованиям большинства.

Однако бред не тождественен любому ложному верованию, поскольку это последнее может быть простой ошибкой. В чем отличие ошибки от бреда? Оно очевидно и связано с психологическими механизмами. Мы говорим, что человек совершил ошибку, если считаем, что он способен ее исправить. Мы говорим: он ошибся, потому что не подумал, был невнимателен к опыту. Ему достаточно раскрыть глаза. Если бы он был внимательнее, послушал, что ему говорят, проверил факты, он бы увидел, что ошибается. Так происходит во всех случаях, и нам кажется, что все ошибки можно исправить. Человек ошибся: мы готовы милостиво объяснить, в чем его ошибка, а в чем — истина, и думаем, что он нас поймет. Так мы понимаем ошибку.

Напротив, в бреде ложное верование невозможно исправить простым обращением внимания или наблюде-

нием за собой. Приходится с сожалением признать, что человек совершенно неспособен это сделать. Вы могли бы безуспешно доказывать Александру во время болезни, больше года, что он не генералиссимус. Какой бы аргумент вы ни привели, какое бы доказательство ни нашли, оно моментально было бы отвергнуто. Когда его припирали к стенке, надоедали вопросами, он отвечал, что это — военная тайна. Так он объяснял все и спокойно продолжал быть генералиссимусом.

Не забудем, что это одна из форм верования. Высшие верования можно изменить, прибегнув к аргументам, потому что эти верования основаны на совокупности фактов. Они — результирующая разнообразных наблюдений, воспоминаний, слов людей и учитывают очень многое. Рефлексивные верования являются плодом размышления. Представьте себе собрание, на котором присутствуют двадцать человек. Каждый высказывает свое мнение, и в результате складывается общее, учитывающее двадцать различных позиций. Есть другие формы верований, не принимающие в расчет ни размышление, ни аргументы: элементарные верования. По-видимому, человечество с них начинало. Верования — это особый союз слова и действия. Со временем люди увидели важность этих утверждения, обещаний, соглашений и научились их осуществлять. Но поначалу эти обещания и соглашения основывались не на размышлениях, а на базисных чувствах. Мы вновь возвращаемся к его величеству чувству, конституирующему личность.

Элементарные верования заслуживают названия веры. Вера, безусловно, отлична от рефлексивных верований. Вера — это элементарное верование, основанное на чувстве, которое не принимает во внимание ни мнения других, ни факты, ни аргументы. Вот почему совершенно невозможно переубедить верующего. В этом старая ошибка религиозных аргументов. Аргументы бессильны против верований. Очевидно, что позиция Александра была противоположна дискуссионной; его задевало, когда ему возражали, чего не бывает у человека с рефлексивными верованиями, который принимает возражения, нуждается в них. В случае элементарных верований противоположные мнения оскорбляют, задевают. Убеждения в

собственном величии и ничтожности основаны на чувстве. Они представляют собой акты оценки, сопровождаемые верованием.

Довольно долго уже я пытаюсь показать, что все психологические функции делятся на две группы: первичные и вторичные. Основная функция — действие в отношении внешнего мира. Вторичная функция надстраивается над первичной, ею определяется. Я приветствую другого — это социальное действие, вызванное появлением человека и знакомыми чертами. Акт приветствия — первичный акт, но этот первичный акт вызывает во мне множество вторичных реакций. Он может вызывать во мне неприятные чувства, неловкость, утомление, меня ранить. Это реакция грусти, присоединяющаяся к первичному приветствию. Или же, напротив, приветствие сопровождается во мне огромной радостью, триумфом и в таком случае приятно, мило.

Мы можем объяснить все связанные с оценкой верования чувствами, которые присоединяются к акту оценки у застенчивого человека. Робкий человек должен действовать в социальной группе, сделать так, чтобы одни признали его выше, а другие ниже себя. Он, таким образом, должен выдержать сражение, признать себя победителем или побежденным в отношении десятка человек, что довольно утомительно и трудно.

Есть люди, которые осуществляют эти операции очень легко, свободно, как бы играючи. Многим же это тяжело. Чувство, которое присоединяется к акту оценки, изменяет поведение. Возьмем для начала одну из самых простых первичных эмоций. Акт оценки может состояться только при участии усилия, не без труда. Молодой человек, собирающийся на ужин, должен приложить усилие, сказав себе: «Я встречу того-то и того-то; мне нужно представить себя в лучшем свете, прилично одеться и не болтать глупостей. Мне следует быть внимательным». Эта первая форма акта оценки — внимание, которое индивид уделяет социальному поведению, — сейчас же приводит к выделению особой группы людей: людей интересных.

Вам известны разные нарушения интереса при неврозах. Некоторые невропаты страдают чувством пустоты и, когда их приводят в салон, говорят: «Это совер-

шенно бесполезная затея. Никто здесь не представляет для меня никакого интереса. Мне никто не нравится, и никто не раздражает. Я не пытаюсь никому понравиться. Все эти люди мне совершенно безразличны. Они ничего для меня не значат». Такое социальное безразличие очень характерно и часто очень серьезно.

И напротив, существует феномен социального интереса. Молодой человек вошел в салон и увлекся некой девушкой: она его интересуется, она для него — персона, представляющая особый интерес. Это уже модификация акта оценки путем добавления определенного усилия.

В случае второй формы к актам оценки присоединяется усталость, и это приводит к феноменам застенчивости. Люди, которые входят в салон, хотят по крайней мере осуществить акт оценки: «Я попробую показать себя с лучшей стороны, совершить для этого усилие. В конце концов, возможно, в этом есть смысл. Я попытаюсь». Но эти попытки их истощают. Они находят их чрезвычайно затруднительными.

Мы когда-то изучали законы усталости. Усталость — вторичная реакция, направленная на остановку, ограничение, уменьшение действия. Она подавляет интерес. Поскольку интерес (в том числе и к другому) требует усилия, когда молодой человек устает, он говорит: «А вообще-то, она вовсе не так хороша. Не стоит тратить на нее столько сил. Это меня утомляет». Девушка мгновенно теряет привлекательность, становится ему безразличной. Мы возвращаемся к феноменам антипатии. Если интерес породил симпатию — мы испытываем симпатию к человеку, который нам интересен, — то утомляющие нас люди нам антипатичны.

Увы, любой род социальных отношений, как и все, с чем мы имеем дело в жизни, как любое действие, связан с расходом сил. За все приходится платить. Вот бы спать и спать, но даже сон утомляет и требует усилия: слабые люди даже спать не могут. Только мертвый экономит силы и ничего не расходует. А уж если жив, то, будь добр, расходуешь силы: этого требуют люди, которых мы встречаем. Мы тратим силы в угоду обществу: чтобы здороваться, подчиняться, соглашаться или отказываться, делать что-то. Все социальные отношения связаны

с затратами: иногда эти затраты велики, иногда малы, и думаю, можно разделить наших знакомых на две группы: на экономичных и дорогих. Мы окружены людьми, которые для нас либо экономичны, либо дорогостоящи, и в зависимости от наших предрасположенностей, от количества нашей психической силы нам больше нравятся первые или вторые. Есть группа людей, — как, например, школьные товарищи, — с которыми мы познакомились давно и теперь вместе взрослеем и стареем. Они знают нас много лет, и с ними мы уже не совершаем актов оценки; они нас либо уважают, либо нет. Когда-то очень давно они сделали этот выбор, и теперь речь о нем уже не идет. Эти люди очень экономичны. Когда с ними обедаешь, можно позволить себе быть смешным и глупым. Это очень приятно, совершенно неумоительно, и можно позволить себе расслабиться.

Но такие экономичные люди редки. Практически всегда мы окружены дорогостоящими людьми. Это в первую очередь наши соперники и конкуренты, поскольку с ними нужно держать ухо востро, они всегда готовы занять наше место, а мы пытаемся им этого не позволить. Это постоянная борьба, а всякая борьба дорогостояща и утомительна. Затем есть люди, которые еще не прошли оценку и не очень хорошо представляют, выше они нас или ниже; мы тоже этого не знаем. Между тем их нужно победить. И тут происходит соперничество, оценивание. В зависимости от их поведения в салоне они занимают свои места. Покидая салон, мы говорим: «Да он просто дурак, я гораздо лучше его» или наоборот: «Он не так глуп, как я полагал». Мы находимся в постоянном соперничестве с этими людьми. Это тоже дорогостоящие люди.

Нашим застенчивым, страдающим психологической слабостью индивидам эти люди доставляют много хлопот. Они их считают неприятными. Это вторая форма, которую принимает социальная оценка под влиянием чувств.

Третья форма, к сожалению, печальная — болезненно меланхолическая. В состоянии меланхолии действие нас не просто утомляет, но вызывает ужас. Мы его боимся как огня, как смерти. Мы полагаем, что оно несет с собой смерть, и переживаем чрезвычайно интересное со-

ПСИХОЛОГИЧЕСКАЯ ЭВОЛЮЦИЯ ЛИЧНОСТИ

стояние, которое я назвал страхом действия. Речь идет о страхе социального действия, страхе оценивания. Это — не мелкая и безобидная, а сильная застенчивость, уже не антипатия к тем, кто должен победить, а ненависть к ним, чувство преследования. Встреча с этими людьми истощает до полусмерти, и мы полагаем, что они нас убивают, становятся нашими преследователями. Эта форма оценки приводит к депрессии и предельным формам комплекса неполноценности.

К счастью, наше последнее размышление гораздо приятнее. Есть такие акты, которые сопровождаются триумфом, успехом, и такие состояния духа, при которых все действия ведут к успеху. Невозможно себе представить, что определенное действие не завершится успехом. Когда Александр думал о триумфе, он в первую очередь представлял себе военные победы; шла война, это было естественно. Но, как я говорил, любое действие имело тот же эффект, было для него поводом для триумфа, будь то любовные отношения или коммерция. Помнится, чтобы перевести его мысль на что-то другое, я занял его беседой об арктических экспедициях к Северному полюсу. Он мгновенно ухватился за идею, нашел ее чрезвычайно интересной и принялся объяснять мне, как несколько лет назад во время последней экспедиции водрузил на полюсе французский флаг. Он добился триумфа и успеха в сфере, которая не имела ничего общего с его карьерой генералиссимуса.

Каким бы ни было действие, оно будет сопровождаться триумфом. В этом весь гордец, ключ к объяснению его характера. Он и помыслить о чем-нибудь не может без чувства незамедлительного успеха. Эти люди обладают огромной мощью.

В чем заключается понятие о наших возможностях? Это представление о том, что произойдет с нашим будущим действием. Я представляю себе то, что должен сделать. Если мне кажется, что я не справлюсь, — я слаб. Если же при мысли о будущем проекте мне видится большой успех, я становлюсь сильным, представляю себя сильным. Такой персонаж, как Александр, считает себя обладающим огромной силой, возвышающей его над другими, поскольку все его действия завершаются триумфом.

Можно порассуждать о невозможности для некоторых людей производить оценку без мыслей о триумфе или поражении. Это во многом меняет черты характера и имеет интересные последствия. Вы сразу их заметите. Когда горделивый человек представляет свое действие, это всегда сопровождается триумфом и радостью, степень которых зависит от важности акта. Триумф и радость тем больше, чем больше мобилизуется сил.

Вы знаете, что радость и триумф заключаются в трате сил, которые были мобилизованы для совершения действия. Я мобилизовал сил на сотню франков, но действие удалось, и у меня еще осталось девяносто франков. Я волен ими распорядиться, как захочу, я их трачу. Радость — это не что иное, как трата накопленного. И чем больше мы мобилизуем сил, тем сильнее разрядка. Если вам предлагают небольшое путешествие и говорят: «Завтра мы едем в Версаль», то эта прогулка вас не пугает и не требует основательной подготовки. Вам не нужно брать с собой много денег и вещей; это незначительная поездка. И если она не состоится, отменится, ничего особенного не произойдет.

Но вот мы отправляемся завтра вместе в Рио-де-Жанейро. Нужно подготовиться, взять деньги, запастись банковскими билетами и наличностью. Мы собираемся с силами. И вдруг назавтра нам говорят, что мы никуда не едем. А у нас в карманах уже целое состояние. Вы знаете по собственному опыту, как опасно брать деньги из банка: нет гарантии, что они туда вернуться. Деньги, которые следовало положить обратно, часто вместо этого тратятся, что, правда, доставляет огромное удовольствие и радость.

Именно этим мы объясняем любопытную особенность характера гордеца и людей, оценивающих себя слишком высоко. Поражает размах их планов и грандиозность воображения. Храбрый Александр совершал исключительно великие подвиги. Например, он решил написать письмо. Пусть так, пожалуйста, — я не против. Но он тут же предупреждает меня, что это письмо будет адресовано всем властям Франции и стран союзников. Поэтому письмо должно быть размножено в количестве нескольких тысяч экземпляров. Мгновенно все обретает грандиозность.

Почему? Дело в том, что грандиозное действие приносит большие плоды, чем малые, и в своих мыслях гордец это беспрестанно демонстрирует.

Можно было бы исследовать много других любопытных аспектов этих поступков, — в частности, то, что гордость и чрезмерно высокая оценка, как и уничижение, ведут к бездействию. Поскольку каждое действие достигает успеха еще до осуществления, все кончается тем, что человек перестает что-либо делать вообще. Таково отношение Александра, сидящего в кресле, неподвижного, не шевелящегося, — в точности как меланхолик. Меланхолик прерывает все дела из-за страха действия. У Александра же всякое действие прерывается предвосхищаемым триумфом.

Я бы хотел упомянуть — поскольку, к сожалению, нет времени останавливаться на этих проблемах подробнее — одно чрезвычайно интересное и сложное для объяснения наблюдение. Вот страдающие манией преследования, которые годами, порой тридцать лет, заперты в лечебнице. И все эти годы они повторяют, что их мучают жуткие преследователи, что они очень слабы, что они ничтожества, их оскорбляют, презирают. А затем внезапно или постепенно их речь меняется. И они начинают говорить: «Я прекрасно понимаю, что меня преследуют. Это оттого, что я большой человек, неизвестный, скрывающийся принц, потому что я бесценен»; возникает мегаломания, бред величия.

Я хочу обратить внимание тех из вас, кто изучает психиатрию, на эту интересную проблему. Ее трудно понять. Она считается плохим признаком и предвосхищает приближающуюся деменцию, разрушение психики. Но какая связь между разрушением психики у страдающего бредом преследования, деменцией и этой радостью? Я думаю, что прямая. Высшие интеллектуальные процессы требуют траты сил, тогда как низшие связаны с гораздо меньшими затратами. Когда высшие процессы исчезают, у нас оказывается много сил для низших, и мы можем наслаждаться триумфом. Приближение деменции превращается в состояние радости, экзальтации и величия. Таким образом, вы видите, что понятие заниженной или завышенной оценки касается самых разных сторон, не

только социальных отношений и форм поведения, но и чувств. С нашей точки зрения, эти проблемы имеют огромный интерес, поскольку понятие оценки способствует совершенствованию личности.

Известно, что разделение общности на индивиды — очень сложная операция. Я подчеркивал, что в традиционных культурах, так активно изучаемых сегодня, индивид невнятен. Эти народы понимают, что такое группа, представленная тотемом; именно группа является собственником, обладает властью, ей принадлежит все. Индивид понимается только как часть группы. И необходим огромный психологический прогресс, чтобы он был понят сам по себе и обрел личную ценность. Наше исследование социальной оценки проясняет процесс индивидуации. Можно предположить, что первоначально социальная оценка применялась не ко всем. Она осуществляется только в отношении вождя. Вождь оценивался и тем самым выделялся среди других в качестве индивида.

Весьма вероятно, что психологический прогресс шел медленно и постепенно. Он распространялся сначала лишь на некоторых членов группы.

Напомню в двух словах потрясающую историю, так занимавшую меня в прошлом году. Это рассказ известного египтолога, профессора Море о древнем Египте за много столетий до нашей эры. Он связан с египетской революцией, которая представляется мне очень любопытной. По-видимому, первые египтяне считали бессмертным только правителя. Он один мог рассчитывать на жизнь после смерти. Бедные подданные были обречены. Через некоторое время правитель по доброте душевной милостиво распространил бессмертие на своих главных министров. Так, вокруг него оказались люди, также считавшиеся бессмертными. Народ счел это несправедливым, и был прав. Он устроил революцию, чтобы бессмертие было даровано всем, и получил его. Так что сегодня мы все с вами бессмертны благодаря той далекой египетской революции.

Итак, вы видите, что все психологические явления первоначально распространяются на одного, двоих, троих, — а потом уже на всех. Когда-то оценивался только вождь, а теперь мы все оказываемся в этом положении;

у нас у всех есть свидетельство о рождении, которым когда-то обладали только единицы. Вот огромный прогресс, достигнутый личностью благодаря социальной оценке; он еще не завершен, и личности еще предстоит многое приобрести. Думаю, что грандиозный прогресс приходит с появлением внутреннего мышления и личности, ограниченной своим телом, о чем мы поговорим позже. Но перед тем как приступить к этому исследованию, рассмотрим очень любопытное патологическое явление. В следующий раз мы займемся чувством воздействия, или кражи мысли, которое возникает у людей, страдающих манией преследования.

18 ФЕВРАЛЯ 1929 Г.

18. ЧУВСТВО ВОЗДЕЙСТВИЯ

[ПЬЕР ЖАНПЕ]

Современная личность поражает своими отличиями от первобытной личности, как мы ее описывали на протяжении четырех лекций, говоря об элементарных социальных чувствах любви, ненависти, величия и унижения. Личность сегодня гораздо четче, определеннее. Она имеет четкие границы и не простирается вовне индивида, а главное, индивиды отдельны как друг от друга, так и от группы. Начиная с доисторического человека, личность претерпела удивительную эволюцию. В связи с чем?

На протяжении нескольких лекций мы пытались дать предварительный ответ. Социальные отношения, и прежде всего понятия иерархии, командования, вождя, подчиненного, социальной оценки и неполноценности, — все это внесло огромный вклад в уточнение границ личности. Мы говорили об этом во многих курсах.

Однако, думаю, это объяснение неполное. Мы дорожим нашей личностью. Мы не просто различаемся качествами, званиями, добродетелями, социальным положением, но еще и обладаем личностью, и это — различие слишком важное, чтобы им пренебречь. Различия в званиях и социальном положении непостоянны. Мы можем подняться или опуститься по общественной лестнице, можем сравняться с кем-то. Но от этого наши личности не станут одинаковыми. Даже если уйти от социальной

оценки, как это происходит у застенчивых людей, люди не станут менее разными. Они разделены и непроницаемы друг для друга. Человек закрыт для других.

Таким образом, к доисторической эволюции личности, феноменам тела собственного, индивидуальных и социальных чувств прибавляется нечто новое. Этот новый элемент личности, как мне кажется, следует искать прежде всего в таком первостепенном и во многом загадочном феномене, как внутренняя мысль, в противоположность внешним действиям совершающаяся внутри, интимно-психологически. Именно в этом состоит новая сторона личности, и чтобы к ней подойти, как обычно, обратимся к примеру, взятому из патологии и демонстрирующему важность заключенной в нас самих и скрытой от других внутренней мысли. Я бы хотел поговорить о знаменитых чувствах, в самом общем виде называемых чувствами воздействия (на личность и мысли), изучением которых на протяжении десятилетия с большим энтузиазмом занимался замечательный психиатр Г.-Г. де Клерамбо.

Клерамбо обращает внимание на некоторые патологические чувства, иногда существующие с юности, вначале едва заметные и простые, но в которых можно различить зародыш мании преследования: они характерны для начала бреда преследования и мистических расстройств. Эти явления, впервые описанные Клерамбо, можно разделить на две группы: вместо его несколько туманной классификации мы предлагаем свою.

Клерамбо много пишет о так называемых интрузивных феноменах. Больные говорят, что нечто вторгается в их мысли. Они жалуются, что неожиданно в разгар чтения или работы в голове возникает нечто, — например, песня, повторяющееся слово, шутка, не имеющие никакого отношения к теме. Эти вторгающиеся мысли очень интересуют Клерамбо. Они возникают, по его теории, из-за анатомических и физиологических проблем в мозге. Существуют определенные мозговые центры, которые под воздействием опухолей или интоксикации вызывают эти интрузивные явления. Именно они дают начало патологическим чувствам и, в частности, чувству преследования — ощущению, что кто-то воздействует на человека, вкладывает в него чуждые чувства и мысли.

Я не совсем согласен с автором в оценке относительной важности этих групп феноменов. Клерамбо полагает, что интрузивные феномены имеют исключительное значение и являются источником чувства преследования. С моей точки зрения, он преувеличивает. Интрузивные явления встречаются у всех, они существуют постоянно. Можно сказать, вся наша психологическая жизнь складывается из таких явлений. Вот сейчас, когда мы с вами говорим о патологических чувствах у преследуемых, дверь аудитории открывается и закрывается, кто-то входит; раздастся шум из того или другого угла. Это все интрузивные феномены. Они не так уж сильно нам мешают. Мы не можем проработать и получаса без того, чтобы в голове не возникли затрудняющие работу мысли, воспоминания, мотивы, случайные слова, — но мы с этим прекрасно справляемся, спокойно все это переносим. В норме человек сталкивается с ними постоянно и не обращает на них ни малейшего внимания.

Я думаю, что больные, жалующиеся на интрузивные явления, уже страдают от чувства воздействия. Если они становятся объектом внимания больного, значит, он уже оказался во власти тех странных чувств, которые мы называем чувствами воздействия. Именно эти чувства наиболее важны и с ними необходимо как следует разобраться. О чем идет речь?

Речь идет о группе сложных чувств, изменяющихся в зависимости от предмета, которые следует изучить каждое в отдельности. Приведу лишь несколько примеров. Один из наиболее частых — чувство автоматизма; оно наиболее распространено и вызывает меньше всего вопросов. Человек жалуется, что поступает не по своей воле, его руки действуют сами по себе, он произносит слова помимо своей воли, что-то мешает его свободе: «Меня принуждают говорить, отказываться, сопротивляться. Сам бы я не сопротивлялся. Меня охватило что-то вроде автоматизма».

Далее идут более интересные и сложные явления. Это знаменитое чувство присутствия. Мы изучали его особую форму, названную мной чувством радостного присутствия. Мистики часто описывают ощущение незримого божественного присутствия, когда они чувствуют возбуждение, вдохновение, умиротворение. Это чувство

радостно, и именно оно больше всего изучалось. Мы многократно убеждались, и я пытался показать вам, что чувство присутствия, известное в первую очередь в связи с мистикой, божественным присутствием, является в действительности распространенным чувством, которое может появляться в разных обстоятельствах. У людей есть чувство присутствия друга, любимого человека, того, кто подскажет и утешит. Мы обладаем чувством присутствия в отношении любого человека.

Но сейчас я бы хотел обратить ваше внимание на то, что оно не всегда утешительно и радостно, но часто болезненно, неприятно и не несет человеку ничего хорошего. Вот, например, нервная девушка, страдающая слабоумием, у которой начинается бред преследования и которая к тому же очень застенчива. Она жалуется, что плохо засыпает. Когда она ложится спать, ее преследует ощущение, будто в ее комнате кто-то есть: кто-то ходит, выходит и возвращается в комнату, и самое главное, смотрит на нее. Это очень ее нервирует. Чувство присутствия принимает здесь печальную форму, становится помехой. У этой девушки, впрочем, такое болезненное чувство сохраняется и в течение дня. Она все время испытывает потребность побыть одной: «Ах! Я была бы гораздо спокойнее, если бы могла побыть одна, чтобы никто за мной не наблюдал, не контролировал, не смотрел на меня».

Вы прекрасно видите, что речь идет об обострении социального беспокойства, вызванного застенчивостью. Действие легче осуществить, когда мы одни: в присутствии другого оно мгновенно становится сложнее, утомительнее. Достаточно часто люди, испытывающие потребность в поддержке и одобрении, стремятся постоянно быть на людях. «Я бы хотел, говорят эти люди, быть другом работающего человека, другом человека, который пишет, который трудится. Я ему совсем не мешаю. Буду рядом с его рабочим столом. Он сможет писать, сочинять, исследовать, что ему заблагорассудится. Я буду очень тихо сидеть. Никто и не скажет, что я хоть капельку ему мешаю». Но, конечно, вы ему очень мешаете, вы не даете ему ничего сделать. В присутствии другого невозможно работать так же, как в одиночестве. Это чувство

ПСИХОЛОГИЧЕСКАЯ ЭВОЛЮЦИЯ ЛИЧНОСТИ

социального беспокойства вызывает расстройство чувства присутствия, в свою очередь, приводящее к чувству воздействия.

Следующее чувство — открытости мыслей — еще серьезнее и интереснее. Это распространенное чувство, о котором мало говорится и на которое стоит обратить внимание, поскольку это позволяет сделать важные наблюдения и выводы. Некоторые больные жалуются на особую мучительную трудность: их мысли угадывают; они не могут просто думать сами по себе. Когда они одни в комнате, где, очевидно, никого кроме них нет, у них возникает ощущение, что их мысли известны. Мне вспоминается несчастный молодой человек с тяжело и стремительно развивавшейся шизофренией. Он остро ощущал эту проблему, и его жалобы действительно трогали, поскольку он выражался очень толково. Он говорил: «Наконец у нас появилось право на хоть сколько-нибудь нелепые мысли. Нас не заставляют все время быть серьезными. Нам могут приходиться в голову глупости. Они есть у каждого. Почему же мне отказывают в праве думать об этих глупостях? Мне в нем отказывают, потому что они известны. Мои мысли естественным образом делятся на две группы: те, в которые я охотно посвящаю других, о которых говорю вслух, потому что считаю их достаточно серьезными, и мысли нелепые, пригодные только для меня. Но ведь все хотят знать и знают именно эти мысли».

Существуют разновидности чувства открытости мыслей. Человеку может казаться, что не только его видят насквозь, не только он сам прозрачен, но и он может читать мысли других: иными словами, их мысли связаны между собой, и, зная мысли одного, можно узнать мысли другого. Это — источник многих суеверий и веры в телепатию и ясновидение, очень любопытная разновидность.

Мы подходим к наиболее важной и тяжелой форме: патологическое явление, которое можно назвать кражей мыслей. Если подумать, сам термин кажется странным. Украсть можно многое: пальто, часы — это хоть как-то объяснимо, — но украсть мысль, странно, как такое может прийти в голову? Однако это довольно распространенная идея. В любой психиатрической больнице вы увидите целую группу людей, страдающих манией преследования,

начальной стадией меланхолии или шизофрении, которые жалуются: «У меня украли мысль. Кто-то отнимает мою мысль». И психиатры уже давно подтверждают, что такое действительно встречается. Психологи, которые почти всегда очень невежественны в отношении патологии, не оценили в должной мере этот действительно странный феномен — не выдумку и не нечто из ряда вон выходящее, но встречающееся у тысяч людей.

Приведем несколько примеров. Я напому случаи, рассмотренные нами несколько лет назад. Полезно бывает воспользоваться старыми примерами: это облегчает понимание. Я когда-то настаивал на выражении «кража мысли», которое звучит, если можно так сказать, как репортаж с места преступления — в момент совершения кражи.

В патологической психологии следует остерегаться воспоминаний. Многие больные скажут вам, что у них вчера или месяц назад украли мысль. Их слова не слишком вразумительны, не слишком ясны. Следовало бы по возможности поймать их на месте преступления — в тот момент, когда происходит хищение мысли. Вот поразивший меня некогда пример.

Девушка с начинающейся шизофренией, принявшей позднее тяжелую форму, страдала разными невропатическими расстройствами. У нее, в частности, был ужасно застенчивый характер, что делало ее мрачной, грубой и, казалось, малоспособной. Приходилось большим терпением и лаской ее приручать, и это позволило вести с ней беседы, в которых она была не столь обеспокоенной, грубой и робкой. Как раз во время одной из таких бесед я стал свидетелем просветления. Ее лицо, обычно напряженное и недовольное, совершенно расслабилось и стало практически улыбающимся; исчезла грубость выражения, и она казалась почти утонченной и интеллигентной. Как всегда происходит в подобных случаях, пациентка была очень счастлива и довольна собой. Она совсем не проявляла никакого расстройства и хорошо себя чувствовала. И вдруг дверь комнаты открывается, и мать в вечернем платье, не слишком ловко и умно бросается к больной, осведомляясь, как она себя чувствует и может ли она выйти в залу к гостям. После первоначального удивления, —

а она, подобно всем больным такого рода, ненавидела сюрпризы, — девушка пришла в ярость. Она была в ярости еще и от слов матери, так как все прекрасно понимала: мать ревновала ее и не хотела, чтобы та вела себя свободно с другим: ведь сама она не могла выдать из дочери ни слова. Итак, девушка очень рассердилась. Мгновенно изменилось выражение ее лица, она снова заговорила грубым тоном и впала в глубокое расстройство. Дочь наклонилась ко мне и шепнула: «Теперь вы и сами можете убедиться: мать пришла, чтобы украсть мои мысли». Это была поимка преступника, крадущего мысли, «с поличным».

С тех пор у меня была возможность наблюдать это явление в более полной форме — у очень интересного больного. Я опубликовал свои наблюдения в июльском номере «Медико-психологических анналов» («Annales médico-psychologiques») за 1928 г. Этот юноша лет двадцати переживал начало параноидальных или мистических состояний преследования. Когда входили в его комнату, видели совершенно нормального человека, высокого парня хорошего сложения, приятного в общении, любезного и интеллигентного. Хотя был иностранного происхождения, он говорил на безупречном французском и обладал глубокими историческими и литературными познаниями. Разговор с ним был очень приятен. И все же сразу бросалось в глаза что-то странное: он предлагал сесть, а сам оставался стоять в углу прислонившись спиной к стене и ни в какую не хотел покидать этого места; даже когда мы уходили, он не провожал до двери, а протягивал руку, не сходя с места. Когда его просили объяснить причину: «Почему вы не передвигаетесь по комнате? Почему стоите, приклеившись к стенке?» — он отвечал маловразумительно, что боится проблем, нервных кризов, которые когда-то были у него, если он отходил в сторону, но, добавлял он, на это не стоит обращать внимания.

Действительно, этот славный малый страдал от очень странных приступов. В описанных выше ситуациях ему казалось, что какой-то человек или предмет проходит у него за спиной, оставаясь незамеченным, приближается сзади и, невидимый, может проникнуть внутрь, войти в него через спину, чтобы овладеть его личностью. Вна-

чале эта идея проявилась в форме навязчивости. Он с большой тревогой спрашивал: «Возможно ли это? Может ли кто-нибудь действительно воспользоваться моей невнимательностью, чтобы пройти у меня за спиной и отобрать мое я, мои мысли?» Он немного сомневался. Но сомнение было недолгим. Через несколько часов или день стойкой и чрезвычайно тяжелой навязчивости начинался настоящий бред: он был убежден, что кто-то входил в него, похитил три четверти его личности, овладел им и разрушает, поедает его изнутри. Он хотел отомстить, защититься, стал агрессивным и очень опасным: мог бы наброситься и убить, обвиняя окружающих в покушении на его личность. Это продолжалось двое суток или немногим дольше, и затем приступ достаточно резко прекращался. Он возвращался в нормальное состояние, говоря: «Глупости все это. Никто в меня не входил».

Вот такие довольно необычные патологические феномены. Они всегда указывают, как я вам уже говорил, на малоизученную психологическую функцию, которая должна здесь присутствовать и которая, вероятно, нарушена. О чем может идти речь в случае кражи мыслей? На сегодняшний день объяснение этого явления неполно: мы не знаем всех психологических функций, которые могут играть роль. В первом исследовании феномена кражи мысли, которое я представил во втором томе «Психологического лечения» («Les Médications psychologiques»), я предложил предварительное этому объяснение. По-видимому, это объяснение в определенной мере соответствует реальности. Очевидно, что в тот момент, когда больной жалуется на кражу мыслей, он действительно в некотором смысле ослаблен. Он что-то потерял. Его жалоба нелепа, но в конце концов не беспочвенна. На примере девушки, о которой я вам рассказывал, это хорошо видно. Я восхищался тем интеллектуальным и душевным прогрессом, который у нее начинался в наших беседах. Она, безусловно, поднималась на более высокий психологический уровень. Эмоция, вызванная неожиданным приходом матери, привела к понижению — даже ниже исходного уровня. Девушка, если угодно, потеряла психологическую силу, новые способности, возможности рефлексии, владения собой, стала беднее, у нее наступил

спад, депрессия. Она объясняла это по-своему, как кражу мыслей, что во многом было правильно, — она, и правда, нечто потеряла.

Эти пациенты, таким образом, схожи с людьми, страдающими чувством пустоты. Больные с приступами так называемой психолепсии — те, кто вследствие эмоции или потрясения теряют способность ощущать, становятся нечувствительными, теряют способность к любви, привязанности. Чувство кражи мыслей — одна из форм чувства пустоты. Между тем существует интересное различие, о котором я бы попросил вас поразмышлять, поскольку не могу говорить о нем с абсолютной уверенностью. Страдающие подлинным чувством пустоты никого не обвиняют. Когда человек вдруг чувствует себя холодным, безразличным, теряет ощущение реальности мира, он говорит: «У меня больше нет привязанностей, пристрастий, я превратился в деревяшку, окружающие меня вещи ненастоящие. Я не понимаю, что происходит вокруг меня». Но не жалуется, что ему нанесли вред. Здесь нет внешнего действия — только чувство пустоты. Когда это чувство объективируется, выносится вовне, оно придает всему особый оттенок: предметы становятся нереальными, нематериальными, уподобляются грезе, а люди начинают восприниматься как трупы. Мы часто говорили о больных, которые могут сказать: «Вокруг меня все мертво, одни мертвецы». Это объективная форма чувства пустоты, но еще не кража мыслей.

Я думаю, в краже мыслей присутствует особая реакция. Мы ее исследовали несколько лет назад. Это реакция меланхолии, тревоги, страха. В тот момент, когда больные испытывают эти чувства, они боятся собственного действия, чем-то испуганы. А страх всегда имеет внешний аспект — угрозу. Они потеряли психологическую силу, но боятся, чувствуют угрозу своей жизни, своим мыслям. Это — первое объяснение. Но можно продвинуться дальше. Больные, утверждающие, что их мысли известны, указывают на функцию, имеющую первостепенное значение. Мы говорили о ней несколько лет назад, изучая мышление. Предлагаю назвать ее функцией секрета. Секрет прекрасно описан моралистами. Хорошо известно, что у нас есть секреты, что

иногда нам сложно их хранить, что есть люди, умеющие хранить секреты, и те, у кого это плохо получается.

О секрете заговорили давно. Само слово можно найти уже у Лабрюйера и многих других писателей-моралистов. Думаю, в книгах по психологии не найдется и главы о секрете. Однако секрет — гораздо более серьезное, чем полагают, психологическое явление. Обычно психологические явления выражаются явно. В самом деле, я часто говорю, что все психологические явления — это действия, формы поведения, и, становясь социальными, они превращаются в речь, командование, подчинение. Это простое описание психологических фактов не оставляет места тайне. Психологическое явление — форма поведения, движение моих рук и ног, звук произносимого мной слова. Именно так психологические феномены воспринимаются другими людьми. Общества бы не было, если бы психологические феномены не могли восприниматься всеми. В общем, на ранних стадиях психологической эволюции, в первичных функциях секрета не было.

Подтверждение этому мы находим в описаниях традиционных народов, детей и душевнобольных. Существует целая категория людей — представители традиционных обществ, дети, больные, — у которых нет функции секрета, они не знают, что это такое. У маленького ребенка нет секрета. Больной в состоянии психического распада громко разговаривает и говорит всякие глупости: он совершенно не представляет, не понимает, что что-то нужно сохранить в секрете.

Для наивного человека верование связано его выражением. Иметь верование значит его выражать, утверждать, и многие говорят: «Если я не могу говорить вслух, я не могу и думать. Если я не говорю о том, во что верю, я не могу верить. И наоборот, когда я верю во что-то, мне нужно это утверждать. Когда я думаю о чем-то, мне нужно об этом сказать». Если помешать этим людям говорить, они будут думать о другом.

Секрет, таким образом, — совсем не примитивная психологическая функция, а позднее явление. Он появляется в период рефлексии, размышления, о котором мы часто говорили.

Размышление — явление для жизни очень важное, но и довольно опасное. Мы должны все время реагировать на происходящие вокруг нас явления, встающие перед нами вопросы. Нас ставят в ситуацию, когда нужно дать ответ, выразить мнение, принять или отвергнуть предложение. Вместо этого вы говорите: «Спасибо, вы предложили идею, я ее обдумую». Вы знаете, что такое «обдумать». Это значит воскресить в памяти благоприятные и неблагоприятные воспоминания, взвесить их, превратить свою голову в дом советов и прийти к единому решению. Но это не дает ответа собеседнику. Размышление, рефлексия — по своей первой характеристике — оттягивают действия. Люди, которые начинают размышлять, — люди, действующие медленно. А если вы действуете медленно, вы сразу же оказываетесь в опасности, вы не даете ответа и не реагируете на событие. Люди вокруг вас, соседи, враги могут воспользоваться временем, когда вы ничего не предпринимаете.

Можно ли им сказать: «Понимаете, я пытаюсь решить, мне хочется и того, и этого, я еще не выбрал»? Нет, это не очень благоразумно, поскольку, если вы раскроете свои планы, то еще до их осуществления ваши противники успеют что-нибудь против вас предпринять. Вы же не думаете, что всегда уместно обнародовать планы. Когда вы планируете действие, оно еще не готово. Вы задумали статью, хотите провести исследование, которое может принести вам премию. Неблагоразумно рассказывать о нем на каждом углу, будьте осторожны! С сегодняшними нравами в науке найдется десяток исследователей, которые опубликуют статью до вас. Лучше не делиться своим замыслом: рассказывая о нем, вы сразу окажетесь в невыгодном положении. Даже если идею не позаимствуют, ее заранее раскритикуют. Не стоит показывать заготовки.

Внешнее выражение психологических феноменов может быть опасным — это видно и на примере другой ситуации. Многие наши мысли, психологические операции совершаются просто как игра, чтобы нас отвлечь, взволновать, вдохновить к жизни. Нам нужно рассказывать самим себе истории. Когда работа трудна, важно представлять себе грядущий грандиозный успех и немеркнущую славу. Пусть это несерьезно, несбыточно, но у нас есть потреб-

ность представлять себе заранее успехи и радости, — без этого мы бы не стали работать.

Что будет, если вы начнете озвучивать все свои мечты, мысли «про себя», которые вас поддерживают? Другие начнут над вами смеяться, говорить, что это нелепо и смешно, и разрушат ваши мечты. Мелочи, — скажете вы, — поскольку и сами прекрасно знаете, что это только мечты. Но, убивая ваши мечты, другие унесут и вашу смелость, и то воодушевление, которое вы в этих мечтах черпаете.

Приходит эпоха, когда не всегда так уж хорошо выражать вовне психологические феномены, делать их публичными. Я полагаю, в эту эпоху люди изобрели очень интересную функцию — секрета. Нечто подобное есть уже у животных. Животные открыли, что иногда хорошо замаскировать действия, которые не должны быть замечены, что их следует совершать, скрываясь в лесу, — по той же причине, что подготовка действия не тождественна самому действию, и противников не стоит посвящать в этот процесс. Лис, который хочет поймать птицу, прекрасно умеет затаиваться, — он скрывает свое действие, делает его тайным.

Но для людей важно скрыть не только действия, а прежде всего слова — ведь действия стали словами в эпоху размышления, и наша подготовка действия совершается с помощью речи. Утаивание у лиса превратилось в словесный секрет у человека.

Возможно ли это? Вполне возможно — мы говорили об этом три-четыре года назад. Слово — действие, обладающее особыми преимуществами, среди которых есть одно очень любопытное: слово сохраняет свою значимость, даже когда оно свернуто, слабо. Это отличает его от движений тела. Если я хочу ударить соседа кулаком, удар должен быть достаточно сильным, чтобы сосед его почувствовал. Слабый, мизерный удар противник даже не почувствует, и я не смогу ни ранить его, ни заставить убежать, ни даже напугать. Напротив, слово остается значимым, даже будучи очень тихим: его все еще может услышать находящийся рядом со мной. Заговорщики, скрывающиеся под покровом ночи, переговариваются шепотом и очень тихо готовят свою вылазку. Редукция

слова не уничтожает его, поскольку есть драгоценный собеседник, который будет слушать всегда, даже когда я говорю совсем тихо. Даже если сделать слово почти неслышным, останется один человек, который все-таки его услышит: я сам. Если я прикажу сам себе, этот приказ останется в силе, даже если звучащее слово будет практически сведено на нет.

Итак, слово можно свернуть, скрыть, — и постепенно люди изобрели поведение словесной тайны. Оно сложно. Вероятно, было немало ошибок. Вот почему и сегодня столько людей не умеют хранить секрет: это сложное действие. Постепенно с эволюцией общества происходило и совершенствование секрета. Вождь племени описывался когда-то с каменным, ничего не выражающим лицом, умеющим прятаться, а традиционным народам, особенно на Востоке, приписывалась способность скрывать все свои мысли — так шла долгая эволюция поведения секрета. Последнее достижение в поведении секрета, — правда, не всегда симпатичное, но, надо признать, весьма сложное — это ложь, обман. Обман чрезвычайно важен в психологической эволюции. Умение врать уже говорит об эволюции психики и свидетельствует о различении внутреннего и внешнего действий. Это значит — иметь одно внутреннее убеждение, а внешне выражать другое.

Ложь постепенно усовершенствовала секрет, люди стали хранить в тайне свои размышления, желания, подготовительные действия, а также скрывать их обманом.

Так ли серьезны эти последствия? Думаю, да. Поведение секрета и обмана является истоком явления первостепенной важности в эволюции человечества. Если не ошибаюсь, это — отправной пункт внутренней мысли, знаменитого картезианского мышления. Философы, как мне кажется, сделали одну ошибку. Начиная с Платона, они рассматривали человека как нечто свершившееся, раз и навсегда данное, все свойства и явления которого обладают всегда той же ценностью и реальностью.

Философы открыли, что человек мыслит. Совершенно справедливо. Но мышление представлялось им явлением, аналогичным элементарным рефлекторным реакциям конечностей или глаз. Оно казалось им чем-то неизбежным, фундаментальным. С той поры, как люди начали думать,

сущность человека связывалась с мышлением. Только постепенно, благодаря историческим и патологическим исследованиям, мы сегодня приблизились к другому пониманию. Следует учитывать, что у человека не всегда были идеи, которые есть сегодня у нас; были времена, когда люди преспокойно жили, не размышляя. Думаю, что мышление не является началом интеллектуальной жизни, как полагал Декарт. Мысль возникает не в начале, а в конце. Она появилась поздно, когда люди уже сформировались, научились говорить, верить, скрывать свои убеждения.

Мысль — гораздо более позднее явление, поэтому позволю себе покритиковать сегодняшних философов, чьи теории небезынтересны, но основаны на еще не решенных проблемах. Сегодня привыкли к простым объяснениям жизненных процессов, апеллируя к высшим психологическим функциям. Например, поворот растения к солнцу или листопад считались следствием движения солнца или изменения влажности. Корни ориентируются к влаге или к центру земли: одним словом, это — формы поведения простейших растений.

Однако сегодня многие авторы находят более экстравагантные объяснения. Растения, говорят они, имеют память, восприятие, чувства, мысли — в конечном итоге все объясняется элементарным мышлением. Не возражаю. Вполне возможно, уже в начале эволюции жизни и психики и было что-то напоминающее мысль. Почему бы и нет? В конце концов, прогресс начинается с малого. Поскольку мышление возникло и сегодня существуют суждение, мораль, рассудок, вполне вероятно, что вначале также были элементы мысли и суждения. Однако эти исходные элементы развивались и приняли совершенно иную, отличную от первоначальной форму. И мы не можем по конечной форме определить исходную.

Я часто повторяю: «Когда вы видите дуб, вы не можете априори сказать, что он вырастает из желудя; это не очевидно, и маленькие дети этого не знают. Потребовались столетия, чтобы человечество узнало об этом, потребовался опыт, не сводимый к простому созерцанию дуба. Надо было собрать и посадить желуды, пронаблюдать за их ростом и только тогда констатировать, что дуб происходит из желудя. Эволюция, ее элементы и принципы не

даны априорно. В начале истории человечества, возможно, существовало нечто похожее на мышление. Мышление, каким мы его знаем, не тождественно той первой мысли — метафизическому принципу; оно представляет собой нечто совершенно особое, и мы еще поговорим об этом позже в отношении личности в целом.

Формирование мысли, операция секрета становится важной психологической функцией. Без нее невозможно понять поведение пациентов, о которых я только что вам рассказывал. У разных душевнобольных страдает то одна, то другая психологическая функция. При застенчивости нарушается операция социальной оценки. У других расстройство воздействует на особый элемент — операцию секрета. В обществе, в группе, к которой мы принадлежим, важно уметь что-то сохранять в секрете, а что-то нет, иметь что-то для себя и что-то для других. Это трудная операция, которая сближается с оцениванием, поскольку, чтобы создать благоприятное впечатление о себе, лучше кое-что не афишировать. Что уж говорить — мы не ангелы. В обществе следует показывать себя с лучшей стороны и скрывать то, что не столь хорошо. Это должен уметь каждый. Но это сложно и плохо получается у застенчивых, и, как следствие, одна из их проблем в обществе — нарушение функции секрета.

Расспросите больных, жалующихся, что их мысли всем известны. По сути, они прекрасно все сознают, знают, что боятся предстать такими, какие есть, что им надо научиться выбирать и что на деле они выбирают очень плохо — у них плохо, неполно работает функция секрета. Они постоянно ошибаются, показывают то, чего не следует, и наоборот. Вот в чем проблема: с момента фиаско операции секрета они разучиваются что-либо скрывать, что и приводит к чувству кражи мысли.

Это исследование раскрывает важную проблему личности. Мы описали работу по отделению людей друг от друга и видели, что у первобытных людей это разграничение совершается плохо, индивид сливается с группой. Мы сказали, что социальная иерархия несколько разделяет людей, выделяет из подданных вожда. Я только что отмечал, что это разделение неполное, поскольку не исключены случаи равенства и изменений

в иерархии. Не будет ли функция секрета играть здесь важную роль? С секретом появляются и психологические феномены, которые у вас никто не может отобрать. Исключения составляют некоторые патологические случаи. Мы знаем, что можем хранить секрет в обществе, в салоне, делать это в течение двух-трех часов не составляет для нас труда. У нас есть собственность, которая послужила отправным пунктом в создании личности. Наше тело, зависящие от него предметы, одежда, а для первобытного человека — даже кусочки волос, ногтей, все, что зависит от тела, — наша собственность.

Эта собственность важна, но зыбка. В конце концов у нас можно отобрать все, можно лишить нас собственности. Но есть нечто, чего у нас не отнять, — наше мышление. Вы можете заставить меня сказать что угодно, но есть то, что я храню как самое святое — мои мысли.

Способность мыслить сразу же вносит фактор различения первостепенного значения. Он вам известен: мы все — друг перед другом, видим друг друга, но это не мешает нам иметь свою собственную манеру поведения, которую сосед не может предугадать. Это — формирование того, что называют «глубиной души», внутренним миром. Это совершенно особое свойство, которое у нас не отнять. Оно радикально отделяет нас от других. Люди рядом с нами никогда не проникнут нам в душу. Это — нечто особое, с чем человек должен считаться.

Когда-то традиционные народы понимали личность очень широко, включая в нее одежду, экскременты, все, что от нас исходит и зависит. Каковы границы личности теперь? Границы личности — это границы ее тайны, границы ее мысли. Где заканчивается моя тайна? Граница моей тайны — лицо, глаза, губы. Она не выходит за эти пределы. Вы не можете проникнуть внутрь. Именно там — моя настоящая личность, которая теперь больше, чем когда-либо, отделена от других.

Мы подходим к современному представлению о том, что человек ограничен своим телом. Тело когда-то было точкой отсчета личности, но личность из него выросла, стала гораздо более обширной. Теперь она возвращается, и именно в теле, голове, лице мы помещаем личность. Ее помещают, как вы знаете, в разные точки. Личность

Психология эволюция личности

другого пытаются локализовать позади или между глаз. Что касается нашей собственной личности, то, думаю, мы помещаем ее несколько ниже, ближе к основанию гортани, немного ниже уровня голосовых связок. Но, как бы то ни было, личность заключена в нас самих. Вот отправная точка эволюции, имеющая первостепенную важность, которая должна привести к современной личности. Мы поговорим теперь о последствиях мышления для личности и обратимся к проблеме я и индивидуального сознания.

21 ФЕВРАЛЯ 1929 Г.

19. Я, ДУХ, ДУША

Мышление, о котором мы говорили в прошлый раз, может, безусловно, пониматься по-разному, и неудивительно, что философы пытались положить в основание Вселенной нечто, построенное по модели мышления. Но не следует забывать, что это всего лишь теория, философское построение.

На самом деле, нам известна лишь собственная мысль. Мы можем предполагать, что нечто похожее на нее играет роль в мире, но не можем этого увидеть, почувствовать. Знакомое нам мышление — особый способ действия, и прежде всего подготовки действия. Это неполное действие, попытка действия, совершаемая особым образом. Но как? Оно совершается под покровом тайны, только и всего: это действие — мысль.

Вам известно, как люди оберегают тайну военных приготовлений, тайну производства или коммерции. Это общий закон поведения живых существ: только начатое действие не производит такого эффекта, как уже законченное, и его стоит скрывать. Когда действие стало вербальным, что в эволюции произошло довольно поздно, возникла необходимость скрывать слово. Животные маскировали свои действия, таились в зарослях, выслеживая добычу, а люди прячут свои слова от других людей. Мысль — это социальное средство подготовки действия. Верно также и то, что эти робкие дебюты мысли привели к поведению, имеющему огромное значение. Сведенное к минимуму внутреннее действие изменило поведение.

Существует большая разница между внутренним, не воспринимаемым другими действием и действием внешним, совершающимся при помощи рта, ног и рук. Мышление — это поведение, ставшее простым и легким, но породившее разные дальнейшие новообразования.

Сегодня я лишь упомяну проблему, которую мы будем подробнее изучать в следующий раз, — иллюзию аутизма, эгоцентризм, ставший предметом исследования Жана Пиаже из Женевы. Этот автор замечает, что огромный недостаток человеческого мышления, внутренней мысли — эгоизм и замкнутость в себе, опасность говорить только о себе и всех судить по себе. Он отмечает, что с семи лет, а в особенности лет в одиннадцать-двенадцать, у ребенка происходит глобальное изменение суждения и умозаключений в связи с тем, что он становится способен примерять себя к другим. Вопрос эгоцентризма и аутизма мы подробно рассмотрим на следующей лекции.

Но как могло произойти это преобразование, этот переход от мысли эгоистической и внутренней, принимающей в расчет только самого индивида, к мысли, соотносимой с другими вещами? Это происходит, когда мысль освобождается от действия, с которым была связана. Наши первые рефлексы и действия неизбежно эгоистичны. Рефлекс создавался, чтобы защитить наше тело, глаза, кожу, организм. Совершая действия, мы должны оставаться в себе и заботиться о себе. Внешнее действие неизбежно нагружено личными мотивами.

Когда появляется слово, действие облегчается. Поэты говорят, что слово крылато. Почему? Потому что слово намного легче. Оно требует лишь незначительных движений и не связано непосредственно с человеческими желаниями или страданиями. Слово во многом свободно от эгоистического поведения. Ставшая в слове еще более свободной и крылатой, избавясь даже от критики другого, мысль может теперь отделиться от индивида. И в самом деле, нам кажется, что мышление обладает поразительной свободой. Мы можем думать о чем хотим, выходить за собственные пределы, строить химерические миры. Мы можем все изменить мыслью, получившей огромную свободу. Таким образом, мысль удивительно преобразовала поведение.

Поскольку поведение изменилось, личность, зависящая от него, также меняется. Личность — это целостное поведение, неравное сумме отдельных реакций, — это то, что делаем мы сами и чему нас все больше учит общество.

На это индивидуальное поведение мысль окажет ответное действие. Оно во многом изменится, и вот каким образом. Прежде всего можно сказать, что благодаря мышлению личность становится гораздо более упорядоченной, постоянной и стабильной. Первобытная личность подвержена влиянию сиюминутных желаний в зависимости от того, голодны мы или сыты, испытываем жажду или утолили ее. Личность в прошлом зависела от наших желаний, от возможностей среды и менялась вместе с ними. Человек то злится, то спокоен; иногда его охватывают сильные желания, иногда, напротив, он совершенно безразличен. Это зависит не только от него, но и от окружающей среды. Следовательно, первобытная личность, которую мы назвали персонажем, едва ли останется постоянной. Мы отмечали это на предыдущей лекции. Общество вынуждает нас играть персонажа; обществу необходим персонаж, и нужно, чтобы персонаж был более или менее постоянен. И мы подчиняемся: сохраняя персонаж, мы вынуждены его варьировать. Как мы говорили, персонажи могут быть самыми разными, что уже привело к феномену одержимости, изменениям личности, характера. Персонаж изменчив.

Мышление в своей эволюции сделало возможной рефлексю. Рефлексия — это внутреннее размышление, которое возникает в момент осуществления разных тенденций, даже забытых или же тех, которые мы не хотим претворять в жизнь. Вот голодный человек видит еду, ему не принадлежащую. Если он поддастся непосредственному желанию, то поспешит к еде и возьмет ее. Если он способен на рефлексю, он подумает о последствиях своего поступка: «Если я возьму эту пищу, то наемся, но меня схватят, меня задержит жандарм и, возможно, после этого у меня, напротив, будет гораздо меньше еды. Я попаду в тюрьму и буду очень несчастен». Таким образом, происходит внутренняя активация тенденций, которые исходно не даны. Они возникают одна за другой.

Подлинное размышление предшествует действию и заключается в рассмотрении наших желаний, знаний, а также сказанного другими людьми. Одним словом, мы резюмируем всю нашу прошедшую жизнь и вкладываем ее в настоящее, в действие. На совещательном собрании вы оглашаете закон, резолюцию. Вы оглашаете их перед людьми, чьи интересы и желания отличны от ваших, кто представляет другие страны и сообщества. Каждый персонаж высказывает свое мнение, пожелание. Эти разные желания борются друг с другом и в конечном итоге объединяются. При рефлексии мы создаем в себе такое совещательное собрание. Результатом которого становится окончательное решение, в большей или меньшей степени объединяющее различные, порой противостоящие тенденции членов собрания и в то же время различные тенденции наших желаний, которые без этого противостояли бы друг другу.

Такое окончательное решение учитывает гораздо больше, чем решение сиюминутное. Если мы повинемся сильному мимолетному желанию, в следующее мгновение у нас может появиться новое желание, и мы пожалеем о содеянном. Если мы все обдумали, мы уже вызвали второе действие; оно уже связано с нашим решением. Изменение будет меньшим. Персонаж благодаря рефлексии преодолевает свою изменчивость и становится более стабильным. Нам это хорошо знакомо. Человек, обладающий способностью рефлексии и мышления, относительно устойчив. Мы знаем, с кем имеем дело, он всегда тот же. Слабоумный капризен, и мы никогда не знаем, что ему захочется, взбредет в голову. Итак, личность движется в направлении стабильности, постоянства, внутреннего единства и целостности.

Вы видите, что, однажды возникнув, различные тенденции и инстинкты затем объединяются и вызывают всегда более или менее то же реальное поведение. Единство создается благодаря мышлению. Это единство, бесспорно, несколько искусственно, поскольку осуществляется нами, но, несомненно, это большой прогресс. Так происходит в стране, где есть совещательное собрание. Когда оно неплохо составлено, его усилия ведут к единству. В автократиях, где правит тиран, теоретически всегда есть

революционеры, оппозиция, хотя на практике все сложнее. В странах с представительной формой правления в революционерах нет необходимости. Революционеры представлены в совещательном органе, они имеют слово, с их аргументами считаются. Принимаемый закон является плодом их позиции и мнения других. Нет необходимости в партийной конфронтации: единство гораздо сильнее.

Целостность, ее прогресс проявляются в очень важном, значительно более сложном, чем это может показаться, психологическом явлении: развитии интереса и заинтересованного поведения. В курсе философии вы изучали эпоху английского философа Джона Стюарта Милля, когда многие авторы придавали личному интересу первостепенную роль. Утверждалось (это позиция Дж.С. Милля), что с самого начала жизни, с первобытных существ, люди подчинялись своему интересу, что именно интерес направлял всю их жизнь. Еще несколько лет назад один автор, Ле Дантек, в любопытной книжке под названием «Эгоизм как основа общества» утверждал, что начало всех действий — в эгоистическом расчете. С моей точки зрения, в этом кроется большое заблуждение, не только моральное, но и психологическое. Интерес — очень сложный и высокоуровневый феномен, поведение интереса присуще не всем. Маленькие дети, традиционные народы, ослабленные больные не блюдают своего интереса. Сколько раз мы пытались напоминать больным об их интересах, говорили им, что их надо учитывать.

Больной не удерживает основного интереса, а подчиняется сиюминутным страданиям и желаниям. Расчет своих интересов, по мысли Иеремии Бентама, — это поведение математика, а значит, поведение очень высокого уровня, и можно сказать, что основной целью первых религий и морали было формирование заинтересованного человека.

Что собой представляют первые религии? Это формы поведения, правила, позволяющие избежать эмоциональной горячности. «Осторожно, завтра вы пожалеете о том, что сделали сегодня. Вы будете наказаны, и я хочу остановить вас угрозами». Таково развитие интереса. Интерес был первой добродетелью. Когда люди стали способны мыслить, возник и интерес.

Интерес привел к упорядочению жизни. Интересы, безусловно, различны; мы увидим, что они тоже могут меняться: целостность человека несовершенна. Но в конце концов поведение интереса дает нам уже иных персонажей. Интерес, увлечение может длиться два, три, десять лет, придавая единство человеку.

Мышление способствовало не только большей, чем у персонажа, упорядоченности личности, но и прогрессу в отделении людей друг от друга. На прошлом занятии мы отмечали, что в мышлении граница между индивидом и миром на первый взгляд почти абсолютна. Наша мысль представляется нам нерушимым бастионом. Моя мысль внутри: она для меня, а не для других; вы можете взять у меня все, но вы не сможете отобрать мысль. Таким образом, моя мысль отделена от мыслей других, это нечто, что принадлежит мне больше, чем все остальное, — больше, чем одежда, даже больше, чем мои речь и движения: мысль внутри меня.

Так, благодаря мышлению различие людей усиливается. Возможно, сегодня оно стало еще больше, мы создали идеал полной обособленности, и каждый человек — это маленький мир, отделенный от других. Так ли это? Будет ли этот процесс продолжаться и дальше? Неизвестно. На сегодняшний момент мы живем в эпоху, идеальную для личности, обособленной от других.

Обособление людей друг от друга ярко проявляется в очень интересном явлении, которое важно понять с психологической и психиатрической точки зрения, — поведении инициативы. Когда изучаешь психические болезни, поражает, насколько психология далека от практики, как мало она занимается насущными проблемами. Очень часто врач, имеющий дело с душевнобольными, сталкивается либо с отсутствием, либо с преувеличением инициативы. Однако в психологических работах не найдется, пожалуй, практически ничего на эту интереснейшую тему. Попробуем разобраться, что такое инициатива.

Обычно нам известна причина человеческого поведения. Мы исследовали первые действия и рефлексы и знакомы с понятием, несколько вульгарно называемым возбуждением, которое я вслед за физиологами склонен называть стимуляцией или стимулом. Мы знаем, что

действие вызывается некоторой стимуляцией. Удар по коленному сухожилию является таким внешним воздействием, толчком, вызывающим рефлекс. Это справедливо для всех наших элементарных реакций.

На следующей ступени эволюции стимуляция усложняется: появляется речь, берущая начало в приказе, командовании и подчинении. Второй источник стимуляции, который в обществе становится преобладающим, — стимуляция, исходящая от наших соседей. Окружающие нас люди постоянно побуждают нас к действию. Стоит кого-нибудь встретить, как нам начинают надоедать разными требованиями. Именно из-за этого невропат так боится общества. Общество все время накладывает свои требования: необходимость приветствовать, говорить определенным образом, что-то искать, отвечать, помнить и пр. Общество окружает нас распоряжениями, побуждает ими к действию. Получается, что наши действия определяются этими двумя источниками: стимуляцией, исходящей от внешнего мира и общества.

Если бы дело сводилось только к этому, мы бы постепенно поняли поведение человека. Вот человек недвижно сидит в кресле. Если ничего не меняется в мире, он должен оставаться в состоянии покоя. Если никто к нему не обращается, не говорит с ним, у него нет повода двигаться, он должен оставаться неподвижным, что и происходит. Вы можете увидеть в больницах множество пациентов, истощенных меланхолией или сорокалетних больных шизофренией, совершенно неподвижно сидящих в кресле. Они не двигаются, потому что им ничего не говорят. Если им предложить что-нибудь, они, как правило, начинают сердиться, потому что сопротивляются действию. Если они не разгневаются, можно ожидать некоторой реакции. Их просят поздороваться — они здороваются, просят встать — встают. Они совершают только те действия, для которых существует внешняя стимуляция.

Я много раз рассказывал вам о любопытной больной, которая годами не совершала никаких движений без точных указаний. Нужно было просить ее открыть рот, сходить в туалет; сама она ничего не делала. Если санитарка не говорила ей сходить в туалет, происходила неприятность, и так со всеми жизненными функциями.

У этой больной было полное отсутствие инициативы; она совершала лишь действия, к которым ее побуждал внешний мир или социум.

В норме дело обстоит иначе. Но почему? Потому что внутри нас бурлит котел, в каждый момент готовый дать неожиданную стимуляцию. Человек сидит неподвижно, его лицо бесстрастно, но внутри кипит работа: он думает, размышляет о возможных действиях, сравнивает их друг с другом. И чем заканчивается это сравнение? Появляется решение. Если человек решает почитать, встать, погулять, это желание вызывается не тем, что ему показали книгу, а потоком образов, тенденций, внутренних размышлений, приводящих к этому заключению.

Это целое совещательное собрание, гудящий рой, где депутаты говорят друг с другом, обсуждают, спорят. Если решение не будет достигнуто, скажут, что они ничего не делают. Но вот решение принято, и весьма неожиданное. Сбрасывают министра, творят бог весть что, но что-то должно получиться из этого непрекращающегося внутреннего бурления. Инициатива — как раз тот тип действия, которое появляется без непосредственного побуждения извне. Очевидно, что в прошлом были провокации, выступления, обсуждения, оставившие воспоминания и делающие возможным сегодняшнее размышление. Вероятно, в прошлом есть основания для этого действия, но я не знаю, что говорилось десять лет назад. В настоящий момент этой внешней стимуляции нет. Значит, действие, совершаемое сегодня, обладает инициативой.

Инициатива — наиболее важное следствие внутренней мысли. Именно она придает человеческому поведению особое, чрезвычайно интересное свойство. Вам известны работы Джеймса Болдуина по этому вопросу. Он часто пытается охарактеризовать человеческое поведение как спонтанное. Поведение человека очень отличается от явлений физического мира. Болдуин говорит, что это знает уже маленький ребенок в колыбели, который благодаря этому различает окружающие его вещи и людей. Он знает свою бутылочку, свою погремушку. Это постоянные объекты, в которых он может быть уверен. Когда он берет бутылочку, пользуется ей, результат все время один: он находит там то же вещество, с тем же

вкусом и испытывает то же удовольствие. А кормилица — персонаж непредсказуемый, она отличается от бутылочки: никогда не знаешь, что она сделает. Иногда она в хорошем расположении духа, иногда в плохом, и совершенно непонятно, почему. Временами она ласкает, но может и отшлепать. Ребенок понимает только одно: он находится в мире отличных друг от друга объектов. Существуют непостоянные, непредсказуемые объекты. Болдуин приходит к выводу, что в этом — источник понятия живого существа.

По-видимому, данное замечание не лишено истины, хотя и не бесспорно. Ведь мы видели, что спонтанность, инициатива возникают как раз из внутренней мысли и ее следствий. Следовательно, изначально примитивный персонаж преобразуется с развитием рефлексии и мышления. Это преобразование столь велико, что мне кажется справедливым введение и нового его обозначения. Следовало бы сохранить понятие «персонаж» в отношении личности на стадии внушаемости, непосредственных верований, личности, не обладающей рефлексией и мышлением, и выбрать слово «я» для описания новой эпохи эволюции — личности мыслящей, обладающей рефлексией. Я приобретает огромное значение. Философы веками восхищались я и считали его чем-то основополагающим. Очевидно, что формирование я — очень важное явление. Но и здесь нужно быть осторожным: философы относят я к истокам жизни. Это все время делает Мен де Биран; он приписывает я характеристики инициативы, спонтанности, постоянства, и говорит, что я существует с момента появления живых существ, с самого начала жизни.

Я не думаю, что вещи следует представлять именно таким образом. В начале жизни я существует не более, чем персонаж. Еще до персонажа должно возникнуть тело. Уже на ранних этапах персонаж достаточно развит. Что касается я, это изобретение человечества. Человечество изобрело много прекрасного и много ужасного. Но одно из самых прекрасных изобретений, скажете вы, — создание моего я. Это замечательно; человечество создало индивида. С этим изобретением появились и формы поведения в отношении я, особые законы, которых не было в такой мере в эпоху персонажа: закон уважения личности, закон

личной свободы, закон уважения инициативы. Здесь — начало вековой борьбы между внешним авторитетом и внутренней критикой.

Я упомяну в этой связи очень понравившуюся мне статью философа и моралиста Бело о развитии личной критики: «Социальная дисциплина и развитие критического духа» (1929). Он показывает, что между социальным духом, представляющим авторитет, власть общества, и критическим духом, который развивается в каждом человеке, существует противоречие. Этой статье можно противопоставить философию Дюркгейма, который недооценивал индивидуальный критический дух и роль индивидуальности.

Индивид в эпоху я, таким образом, противостоит обществу. Это борьба авторитарных религий и еретиков, теократии и демократии, постоянный бунт индивида против общества. Подобные изменения проявляются не только в политике. Они сказываются на всем нашем поведении, на всех действиях. Я бы хотел напомнить вам исследование, которое часто приводил, чтобы показать, что развитие инициативы и изобретение я имело вполне ощутимые последствия: они изменили наш язык. Я упоминал поразительное изобретение особой части речи — личного местоимения. Я уже рассказывал вам об этом интересном явлении, так что простите за повторение: если бы я составлял конкурсные темы для экзамена на ученую степень по философии, думаю, озадачил бы многих кандидатов, предложив им в качестве темы конкурса личные местоимения: я, ты, он. Взглянем на них поближе, задумавшись над философской проблемой, которую ставит перед нами личность.

Несколько лет назад, в эпоху Рибо, получил известность удивительный факт: современные люди используют личные местоимения по-разному. Маленькие дети до трех лет не пользуются местоимением первого лица «я», не умеют этого. Говоря о себе, они обычно используют свое имя. Вместо того чтобы сказать: «Я хочу пить, дайте мне попить», двухлетний ребенок скажет: «ребеночек хочет пить» или «дайте ребеночку попить». Эта привычка маленьких детей прекрасно известна всем мамам. На это не обращают особого внимания, так как к трем годам

она проходит, и дети начинают использовать личное местоимение.

Но психическая патология представляет любопытные иллюстрации этого явления. В приюте для умственно отсталых даже среди больших детей найдутся многие, кто не умеет использовать местоимение «я». Я приводил пример тридцатидвухлетней женщины в Сальпетриере, в отделении доктора Н., которая, говоря о себе, использовала свое имя, а не местоимение «я».

Много работ было опубликовано на эту тему; особенно стоит отметить «Болезни личности» Рибо (1885), где проблема была поставлена, хотя и не была полностью разрешена. Этот вопрос рассматривался также в исследованиях Коллэна «Детство слабоумного ребенка» («Annales médico-psychologiques», май 1919, с. 210), где он много говорит об отставании в формировании личного местоимения, обычно появляющегося на втором году жизни, а при слабоумии — лишь к пяти-шести годам. Простой симптом запаздывания в использовании местоимения «я» у ребенка пяти лет — уже плохой знак, признак интеллектуальной задержки.

Анри Валлон также опубликовал на эту тему статью: «Эхолалические формы речи» («Journal de psychologie», октября 1911, с. 439). У него был замечательный испытуемый. Жаль, что я не был знаком лично с этим колоритным персонажем, которого Валлон представил под именем Фернана. У этого парня четырнадцать лет была очень любопытная речь: он никогда не употреблял местоимение «я». Если debil или ребенок двух лет заменяет местоимение «я» местоимением «он», Фернан заменял «я» на «ты». Это еще более странно, и объяснение Валлона очень интересно. Он показал, что «ты» у его испытуемого соответствует «он» у обычных больных, но эта переменная свидетельствует о более социализированной форме, поскольку молодой человек говорит о себе так же, как другие обращаются к нему. В своей речи он в точности повторяет слова других. Когда мы спрашиваем ребенка: «Ты хочешь пить?», он должен нам ответить: «Я хочу пить» или «да», что одно и то же. Это повторение, но с некоторым нюансом — с употреблением личного местоимения первого лица. Слабоумный Валлона использовал

только второе лицо. С ним случилась неприятность, и он громко повторял: «Ты наложил в постель. Это плохо, это грязно. Тебя побьют, накажут. Фернану попадет». Здесь используется третье лицо (Фернан), но вместе со вторым. Существуют проблемы использования первого лица, и они продолжаются долго, разрешаясь лишь позднее.

Эти статьи стоит прочитать и обдумать, особенно те из них, где приводятся наблюдения за больными в лечебницах. О чем говорят эти различия в речи? Думаю, что местоимение «я» является кратким резюме множества индивидуальных действий. Это результирующая наших представлений о «я», его мощное и усиливающее утверждение.

В лекциях на эту тему я приводил воображаемый пример, чтобы показать вам градации речи. Представим себе вождя первобытного племени, который начинает мыслить по-человечески, и посмотрим, как он ведет себя в различных войнах племени. Сначала, когда племя было совершенно дикое, когда это были просто животные, не имеющие языка, вождь дрался вместе со всеми, смешивался с другими, как другие, наносил и получал удары; его поведение было тем же, что и у подчиненных. Это просто-напросто стадия рефлекторного действия.

Опустим несколько промежуточных стадий и перенесемся в эпоху речи и командования. В этот момент наш дикий вождь, — назовем его для простоты Жаном, — совершил огромный прогресс, он изобрел командование. Он больше не сражается сам. Он стоит на холме, не наносит сам удары и не получает их от других. Он ограничивается тем, что кричит своим солдатам: «Вперед, вперед!». Он командует битвой, замещает сражение словом. Это уже значительная эволюция.

В третий период в дело вступает вера в его авторитет, его персонаж. Так, вместо того чтобы кричать: «Вперед!» — вождь использует собственное имя. Он говорит: «Жан хочет, чтобы вы шли вперед. Жан приказывает наступать. Жан приказывает вам сражаться». Здесь вклинивается третье лицо, поскольку персонаж представлен обобщенно. Достаточно упомянуть его в приказе.

Происходит значительное изменение приказа. Жан приказывает идти, но этого недостаточно. Почему? Потому

что подданные хотят быть уверенны, что приказ отдает именно вождь. Они боятся, как бы приказ не исходил от низшего чина, от заместителя. Они хотят быть абсолютно уверены, что это именно Жан отдает приказ, и именно он накажет их за неповиновение. У них есть необходимость в более обоснованном подтверждении, поэтому вождь и использует сложную фразу; он говорит: «Жан говорит, что Жан жаждет битвы». В итоге, он повторяет свое имя дважды, затем он сокращает и получается: «Я хочу, чтобы вы сражались». «Я» подразумевает включение полноценного, рефлексивного я, — того, которое приказывает и которое говорит.

Таким образом, это огромный прогресс в развитии личности: благодаря ему эволюция я конкретизируется и приобретает внешнее выражение.

На этом я не останавливается. В ту же эпоху оно переживает метаморфозу, на которой мы вынуждены остановиться очень спешно, хотя она чрезвычайно любопытна. В тот же период я, берущее начало во внутренней мысли, в тайной речи, становится духом. Вопрос о духе сегодня обсуждается религиями и метафизикой. Я думаю, что психолог не должен ничего упускать: существует психология духа, как и личных местоимений, и мы должны понимать, как формируется это понятие. Без одобрения или неодобрения, не уточняя, что в нем есть и чего нет, мы должны знать, чему это понятие соответствует.

И здесь возникает сложность, о которой я хочу вас предупредить. Впрочем, она хорошо описана в трудах Болдуина. Когда читаешь столь многочисленные сегодня работы о традиционных народах, это впечатляет, и хочется сказать: «Понятие духа очень древнее, примитивное. Оно было уже у дикарей. Они помещали дух во все объекты; они говорили о духе дерева, скалы, ветра, как они говорили и о духе вождя. Значит, понятие духа прошло большой путь». Лишь Болдуин, если не ошибаюсь, увидел в этом большое заблуждение. На самом деле, понятие духа в традиционном обществе вовсе не так определенно и не соответствует тому, что мы сегодня называем духом или душой; оно совершенно другое, и было бы ошибкой эти понятия смешивать. Для нас дух характеризуется в первую очередь его отличностью от тела. Как говорит Болдуин,

психологическая эволюция всегда совершается через дуализм, противопоставление, и одна из важнейших дихотомий человеческой мысли — противопоставление души и тела, не существующее для человека традиционного общества. Он видит дух везде, в живых и неживых телах — скалах, море и т. д. Понятие духа для него неотделимо от тела.

Я попытался объяснить это примитивное понимание души, когда описывал в первом томе своей книги «От тревоги к экстазу» первые этапы эволюции верований. Когда верования только появились, они не распространялись на все возможные объекты. Психологические явления всегда сначала избирательны, начинаются с какого-то определенного персонажа. Ранние верования привели к представлению о существах, первыми из которых были люди: вождь, солдаты. Затем это понятие расширилось. Говоря, что скала обладает душой, первобытный человек просто хотел сказать: «Скала — это существо. Для меня она заслуживает веры, она — существо, обладающее силой, могуществом, имеющее свои свойства. Я называю ее существом, так же как называю существом вождя племени». Он приписывает социальные понятия неживым объектам, но пока не разделяет душу и тело. Это разграничение гораздо более позднее, чем полагают, и я убежден, что его практически нет и у маленьких детей. Вы прочтете по этому поводу у Пиаже, что дети довольно долго смешивают понятия тела и души и не умеют их разграничивать.

Вам известен взгляд социологов на природу понятия духа в собственном смысле слова, как отличного от тела. Они выводят его из исключительных психологических явлений, которые кажутся не зависящими от материальных объектов. Фрезер и Тейлор в Англии выводят понятие духа из феноменов сна, грезы, галлюцинации, бреда. Дикарь, говорят они, может объяснить свои сны, только обращаясь к понятию духа. Дюркгейм подвергает теорию Фрезера и Тейлора сомнению, и я с этим согласен. Это объяснение притянуто за уши и совершенно неправдоподобно. Дикарю не нужны объяснения; у него их немного, и его это устраивает. Маленькие дети не пытаются ничего объяснить, у них нет понятия тайны; дикарь, которому приснился сон, не воспринимает свой сон как нечто мистическое, ему не нужно сложного объяснения сна.

Впрочем, как говорит Дюркгейм, при желании нашлось бы предостаточно внешних объяснений, и маловероятно, что дикарь стал бы объяснять сон через понятие духа.

Итак, я думаю, что понятие духа постепенно рождается из поведения на стадии рефлексии, на стадии мышления. Понятие духа — это понятие индивида, который отделен от тела и скрыт от глаз. Обычное тело доступно, его движения можно увидеть; они могут быть едва уловимы, но тем не менее в конечном итоге доступны восприятию. Внутренняя мысль человека недоступна органам чувств, и между тем ее необходимо учитывать; мысль опасна, ее нужно угадать. Так вот, получается, что мышление — это особая, отличная от тела, субстанция. Безусловно, за этим скрывается огромное заблуждение: мысль кажется отличной от движений тела, что на самом деле не так. Она представляет собой те же движения, те же слова, но выраженные в другой форме. Дух был задуман и создан, чтобы принять на себя особые, свойственные мышлению атрибуты.

Затем появились философы, а когда за дело берутся философы, все сразу усложняется и запутывается. Они попытались превратить понятие духа в абсолютный принцип и сказали: «Есть душа, которая представляет собой особую субстанцию, полностью отделенную от телесной и обладающую особыми качествами». Вам известно, что Декарт особо в этом преуспел, разграничив телесную, или протяженную, субстанцию и совершенно от нее отличное абстрактное мышление. Такое радикальное разделение не оставляет место взаимодействию. В последующие века философы изо всех сил пытались сблизить то, что было разделено, но не знали, как заставить действовать мысль на тело и тело на мысль.

Прежде всего есть практическая трудность, присущая исключительно понятию души. Считается, что мы обладаем душой и телом. Но можете ли вы сказать, что именно вкладываете в эти понятия, — поскольку нельзя же относить одно и то же явление и туда, и сюда, ведь речь идет о разных образованиях, с разными свойствами. Однако вы знаете, с каким трудом люди разделяют духовное и материальное. Они не умеют их разграничить, вернее, умеют в теории, но не на практике.

В своей последней книге, о которой я уже упоминал, я описывал милую экстаичную женщину, имеющую превосходные отношения с Богом. У нее есть одно выражение, которое кажется нелепым. Она все время говорит: «Мои отношения с Богом духовны, исключительно духовны». — Но простите, говорю я, то, что вы описываете, очень напоминает обычные отношения между мужчиной и женщиной. Какая, по-вашему, здесь разница? — «О, как вы можете смешивать такие вещи? Одно дело дух, а другое — тело». Для нас, внешних наблюдателей, это одно и то же. Эта женщина пытается сделать телесное духовным. И наоборот, есть философы, которые переводят духовное в телесное. Непонятно, что отнести к телесному, а что — к духовному.

Самая большая трудность появляется в отношении действий. Я решил прогуляться. Это духовное или телесное? Гулять — передвигать ногами, значит — явление телесное. Мне хочется что-то сказать. Слово телесно. А что мы называем чисто духовным? Непонятно. И в житейском языке и в языке философов они меняются местами, переходят одно в другое. Содержание духовного и телесного оказывается в высшей степени изменчивым.

Эта темная сторона вопроса ни в коей мере не умаляет прогресса в этой области. Мысль неточна, тем более что мы постоянно ошибаемся относительно ее истинной природы, но это уже кое-что; она способствовала удивительной эволюции личности.

Однако каждое завоевание прогресса таит опасность, и развитие мысли, развитие *я* тоже несет с собой риск. Наряду с завоеваниями, свершившимися благодаря эволюции *я* и мышления, существуют трудности и ошибки, и мы закончим исследование социальной личности рассмотрением явлений аутизма и эгоцентризма, столь модных сегодня в теориях детства и традиционного общества.

25 ФЕВРАЛЯ 1929 Г.

20. ЦМЛЮЗИИ АУТИЗМА

Когда читаешь работы современных психологов, что я вам часто рекомендую, привлекают внимание два схожих по смыслу понятия довольно недавнего происхождения,

ПСИХОЛОГИЧЕСКАЯ ЭВОЛЮЦИЯ ЛИЧНОСТИ

которые сегодня часто встречаются: «аутизм» и «эгоцентризм». Они для нас небезынтересны.

Поскольку вы часто будете сталкиваться с этими выражениями, попытаемся их понять и подумаем, что за ними стоит. Они связаны с ролью мышления, его значением в развитии личности, а следовательно, и с темой нашего исследования.

Сегодня понятия аутизма и эгоцентризма встречаются в двух типах работ. Во-первых, в медицинских, психиатрических трудах, в связи с так называемой цюрихской школой профессора Эугена Блейера, интересно и оригинально разрабатывающего теорию великого немецкого психиатра Эмиля Крепелина. А во-вторых, независимо, как нечто совершенно иное, они предстают в трудах педагогов, тех, кто занимается детьми и детской психологией. В частности, они встречаются практически на каждой странице книг Жана Пиаже из Женевы.

Начнем с рассмотрения этих понятий в трудах психиатров, а затем детских психологов и попытаемся понять, есть ли сходство между этими на первый взгляд независимыми теориями. Понятия аутизма и эгоцентризма появились в психиатрии при изучении тяжелого и странного заболевания, еще и сегодня мало понятого, которое называют ранним слабоумием. [Под влиянием работ Блейера и Крепелина этот диагноз сейчас известен как шизофрения. — *Прим. перев.*]

Раннее слабоумие — болезнь, заполонившая психиатрические больницы. Можно сказать, что более половины больных психиатрических больных в лечебницах страдают этим заболеванием. Его значимость признавалось уже психиатрами эпохи Б.-О. Мореля. Эта болезнь вышла на первый план в теории и трудах Крепелина, который связал с ней множество расстройств и симптомов.

Для психиатрии Крепелина характерно внимание к прогнозу. В изучении психических болезней будущее больного интересует его даже больше, чем настоящее. Упрощая и подытоживая в двух словах объемные труды Крепелина, можно сказать, что, согласно ему, вся область психической патологии делится на три части. Первая часть — острые заболевания, которые проходят довольно быстро и чье повторное возникновение маловероятно;

вторая — периодические болезни, которые излечиваются в более или менее отдаленном будущем и повторяются несколько раз в течение жизни; наконец, третья — неизлечимые хронические болезни.

Крепелин относил раннее слабоумие к третьей группе. Это болезни, которые часто поражают человека в юности, начинаясь в семнадцать-восемнадцать, реже в двадцать пять лет, продолжают во взрослом возрасте и приводят к деменции, по-видимому, неизлечимой, и наводняют больницы людьми, остающимися там без изменений до конца своих дней.

Эти больные всегда озадачивали врачей и психологов. В самом деле, они очень странные. Уже в эпоху Мореля, как и в эпоху Крепелина, сталкивались с трудностью понимания их особенностей. Морель говорил уже довольно давно: «Они выглядят как слабоумные, но таковыми не являются». Действительно, им свойствен очень странный характер; они похожи на слабоумных, страдающих деменцией, что отражается в названии: *déments précoces* [по-французски — больные преждевременным слабоумием], хотя термины употреблены здесь очень неточно. Как говорится в известной шутке, эта болезнь называется *démence précoce*, ранним слабоумием, потому что она — не ранняя и не слабоумие. Однако эти люди производят впечатление слабоумных. Они либо сидят в кресле годами недвижно, ничего не делая, либо делают глупости, рвут, портят окружающие предметы. С этим ничего нельзя поделать. С трудом удастся привлечь их внимание, когда они понимают, что от них требуют, то начинают всячески всему сопротивляться. В их поведении, безусловно, есть элемент деменции.

Между тем это не деменция. Они отличаются от больных, которых мы обычно называем слабоумными. Деменция характеризуется нарушением первичных функций интеллекта, а первичными функциями мы назвали те, что связаны со стимуляцией, исходящей от внешнего мира. Речь, например, — первичная функция, поскольку начинается с подчинения приказам, а приказ исходит из внешнего мира. Речь также воздействует на внешний мир. Когда мы говорим, мы формулируем наши желания и распоряжения, которые вызывают у других определен-

ные действия. При деменции, по-видимому, эти функции потеряны. Например, после кровоизлияния в мозг больной деменцией теряет речевую функцию: не понимает слов, не реагирует на них и не говорит. Эта потеря полная, сохраняющаяся иногда на протяжении всей жизни больного: во всяком случае, они не могут осуществлять элементарную функцию речи годами.

Впрочем, достаточно часто деменция заходит дальше и распространяется на перцептивные функции. Перцептивная функция — это реакция на объект. Когда показывают какой-нибудь предмет, человек в норме знает, что с ним делать. Когда показывают перо, он знает, как его взять, чтобы писать. Есть реакции на внешние объекты, перцептивные акты. При настоящей деменции они оказываются потеряны.

Больной ранним слабоумием приводит в недоумение. Он может годами оставаться в постели в маразматическом состоянии, и вдруг неожиданно вступает в разговор; время от времени он приводит довольно тонкие наблюдения по поводу окружающих людей, жалуется на медсестер и врачей. Он расскажет вам, что такой-то врач завидует другому, и в этом замечании будет доля истины. Это тонкие наблюдения. Как происходит, что человек может впасть в слабоумие, свойственное деменции, и в то же время замечать проявления зависти у окружающих? Более того, неожиданно он расскажет вам о своей молодости с удивительной точностью, с потрясающими деталями: он все прекрасно помнит и замечает. Впрочем, уже его сопротивление и возражения отражают отсутствие подлинного паралича функций, подлинной слепоты или вербальной глухоты. Он понимает, его размышления временами очень сложны.

Нам известно, что высшие процессы, — такие как размышление, рассуждение об истинности вещей, — предполагают существование низших. Человек, посвящающий вас в свои сомнения по философскому вопросу, очевидно, обладает и элементарными функциями верования, утверждения, речи. Таким образом, мы можем сказать, что он совершенно ничего не потерял. Все первичные функции сохранены и остаются таковыми иногда вплоть до очень преклонного возраста.

Больные ранним слабоумием, оставаясь в больнице тридцать лет без изменений, ни на что не способные, могут по прошествии этого времени проявить свои знания и размышления совершенно удивительным образом. Можно предположить, что они сохранили все первичные функции, но не умеют ими пользоваться. Болезнь распространяется на сферу функционирования, поддержания этих функций в большей степени, чем на тенденции поведения как таковые.

Вот почему со времени Мореля и Крепелина психология такого человека всегда привлекала внимание, хотя и была плохо понята. Иногда говорилось, что важнейшей характеристикой является отсутствие чувства, полная нечувствительность. А иногда все объясняли сопротивлением и негативизмом. Особенности этих больных изучали со всех сторон. Эти попытки очень многочисленны. Было в них и много интересного. Я бы хотел напомнить вам довольно интересный подход, о котором мы, вероятно, недостаточно знаем. Это исследования, проведенные в Америке одним из самых замечательных американских психиатров Адольфом Майером, работавшим в клинике в Массачусетсе, а затем в Университете Джонса Хопкинса в Балтиморе. Он долгое время изучал раннее слабоумие, и результаты этих исследований несколько лет печатались в «Психиатрическом архиве» («Archives de psychiatrie»). Вы найдете прекрасный обзор его работ в статье швейцарского психиатра Теодора Флурнуа: «Точка зрения Адольфа Майера на раннее слабоумие» (в психиатрическом журнале «L'Encéphale», май 1926, с. 183). Позиция Мейера мне особенно интересна: она справедливо отвергает упрощенные гипотезы, объясняющие эту болезнь анатомическими нарушениями на клеточном уровне. Он показывает, что анатомы ограничиваются мозговыми изменениями и что все объяснения, апеллирующие к интоксикации или недостатку железистой секреции, весьма скороспелые и плохо согласуются друг с другом.

Автор приходит к очень интересной, хотя и неполной интерпретации: в раннем слабоумии он видит последний этап развития тех нарушенных, неадекватных форм поведения, которые возникают очень рано, еще в подростковом возрасте. Это, говорит он, дети,

которые не смогли адаптироваться должным образом к окружающей их среде. Они либо слишком сильно, либо недостаточно любят окружающих — родителей, братьев и сестер. Эти дети либо превозносят себя, считают себя гениями, либо, напротив, испытывают комплекс неполноценности, ощущают свою полную никчемность. Они склонны к мечтательности, бесконечному чтению, это молодые люди, которые читают днями и ночами огромное множество книг, совершенно их не понимая; они все время обсуждают наиболее абстрактные, сложные темы, и уже в юности испытывали диссоциации, разного рода проблемы. Эти трудности, добавляет автор, — психологического толка.

В норме люди вынуждены адаптироваться к среде, в которой они волею судеб оказались. Нам следует жить там, где мы есть, пытаться понять наше окружение, несколько его изменить и измениться самим в соответствии с ним. Плохая психологическая адаптация приводит к формированию неверных ходов мысли, нарушению психологических функций и заканчивается этой странной псевдодеменцией.

Эти мысли Адольфа Майера содержат вполне справедливые психологические наблюдения о больном в ранней юности. Они интересны, но, как я вам говорил, неполны, поскольку автор лишь переместил проблему. Из этой теории мы можем вынести лишь то, что шизофрения начинается гораздо раньше, чем принято думать. К нам приводят двадцатилетних девушек и юношей, и мы констатируем у них раннее слабоумие. А Майер просто побуждает нас признать: «Необходимо начинать обследование с тринадцати лет. Именно в это время, а не в двадцать лет, начинается болезнь». Вот что показывает нам автор, но он не объясняет, почему и как происходит это психическое отклонение. Таким образом, несмотря на исследования Адольфа Майера, дискуссия продолжалась.

Я бы хотел обратить ваше внимание на крупного и очень интересного французского психиатра, умершего преждевременно несколько лет назад, — Шаслэна. В своей книге «Элементы ментальной семиологии» (1912) он развивает представление о болезни несогласованности; на этой идее основывается Блейер. Шаслэн утверждает,

что у больных ранним слабоумием, как уже замечалось, функции сохранены, но есть определенная их диссоциация, функции не связаны друг с другом, нет целостности, внутренней согласованности. Он говорит, например, о довольно известном явлении: необычном выражении лица при раннем слабоумии, что отмечалось многими исследователями и действительно довольно странно. Между выражением лица и словами этих больных нет соответствия. Когда человеку грустно, когда он говорит о смерти своих родителей, обычно выражение лица соответствует этим словам. Когда он рассказывает что-то забавное, у него веселое лицо, а когда шутит — оживленное.

Как говорят сами родители, выражение лица наших больных очень загадочно; оно может быть одухотворенным, утонченным и когда человек говорит какие-нибудь глупости, что-то незначительное. Или, напротив, они могут делать очень важные замечания с идиотским видом. То же самое с решениями. Они выражают сильные желания, страсти, но ничего для этого не делают или делают обратное.

Шаслэн обнаружил это явление в определенных ответах, действиях, не согласующихся с происходящим. Пример, который он приводит, представляется мне довольно неудачным. У парижанина спрашивают, как пройти к площади Шатле. Человек отвечает довольно туманно: «Площадь Шатле находится между Порт Майо и Порт Венсан». Автор утверждает, что в этом и состоит несогласованность.

Понять эту несогласованность трудно, и когда-то мы много спорили на этот счет с Шаслэном о том, что можно считать диссоциацией. Диссоциация чувств и действий не является истинной диссоциацией. В самом деле чувство может присоединяться к любому действию: можно быть грустным, когда ешь, говоришь, читаешь. Если чувство не согласуется с действием, это не подлинная элементарная диссоциация, а новый рефлекс, который не присоединяется должным образом к предыдущему. Наличие чувств, плохо объясняемых и плохо адаптивных, еще не говорит о распаде психики. Ответ, что Шатле находится между Майо и Венсаном — не диссоциация, свойственная настоящей деменции, а просто ошибка синтеза, согласования ответа и ситуации. Это — изъясн внимания. Ответ весьма

расплывчатый, но вовсе не лишен смысла; здесь еще нет распада. И вы видите, что сам человек прекрасно знает, где находится площадь и как она расположена по отношению к Сене. Диссоциация неполная и весьма спорная.

Именно этот вопрос проясняет Блейлер. Изучив много случаев раннего слабоумия, он пришел к мысли, которую я не могу не признать чрезвычайно интересной. В то время, в 1903 г., я сам опубликовал работу о навязчивостях, в которой говорил, что важнейшей особенностью больных психастениями является недостаток адаптации к реальности, отсутствие интереса к ней. Психастеник живет вне реальности, он уходит от нее. Блейлер, ссылаясь на эти работы, оборачивает ситуацию: «Слово “аутизм” дает позитивное определение того, что Жане с негативной стороны называет потерей чувства реальности». В целом Блейлер пытается понять, почему эти люди больше не интересуются реальностью, не адаптируются к внешнему миру. И вот его ответ: это происходит оттого, что они живут в другом мире — внутреннем мире мечтаний и грез.

Грезить свойственно всем, в том числе невропатом. Мы изучали это под именем продолжающейся истории. Можно сказать, что страдающие ранним слабоумием — это больные грезами. Все их внутренние силы, вся психологическая энергия направлена на создание истории, которую они рассказывают сами себе, и в этом рассказе их вовсе не занимает внешняя реальность. Они разделили внутреннее мечтание и внешнее восприятие.

Эта мысль очень интересна и справедлива. Побудив больных говорить, завоевав доверие, часто их посещая и присутствуя при спонтанном мечтании, легко убедиться, что у них очень необычный, экстравагантный мир фантазий. У меня была возможность описать многие случаи. В этой связи я рекомендую вам обратиться к моей последней книге, где я описываю больную под псевдонимом Сесиль. Я уже выводил ее под именем Натали, но вынужден был его изменить. Эта девушка двадцати восьми лет невероятно экстравагантна. У нее внутри — не один, а не менее сотни романов, причем многотомных, которые она непрерывно сама себе рассказывает. Она представляет, что убила русского царя,

спрятала его тело, связалась с группой революционеров, которых называет отрядом «Летучая мышь». Она связана со всеми возможными разбойниками и революционными социалистами. Она — дочь принца и известной актрисы и т. д. Такие огромные, длинные романы она рассказывает себе, мысленно их сочиняет. В то же время, этому виду раннего слабоумия свойственно полное безразличие к семье. Больная сжимается в кресле, не хочет ничего делать, ничем не занимается, никому не отвечает и отказывается что-либо понимать.

Согласно Блейлеру, именно в этом состоит фундаментальная особенность раннего слабоумия: внутренняя жизнь противопоставлена внешней. Как это глубоко и замечательно сказано! Мы говорили о мышлении и его роли в мире. Но вот мышление слишком велико, поглощает весь разум, нет ничего, кроме внутренней мысли. В описанном случае мысль время от времени еще находила себе выражение, а у других больных нет и этого, все сводится к бесконечному мечтанию.

Насколько справедлива эта теория? Прежде всего следует признать, что не все больные шизофренией полностью в нее вписываются, и что у многих внутренняя жизнь столь же ничтожна, как и жизнь внешняя. Тем не менее, как правило, греза наяву характерна для большого числа больных. И еще, почему они так грезят? Что характерно для их мечтаний? У Блейлера сложилась целая школа последователей, и словом «аутизм» (жизнь внутри себя) стали называть форму личных грез, отрешенных от событий внешнего мира и окружающих людей. Примерно в том же значении применяется также термин «эгоцентризм», хотя психиатры охотнее используют первое. Аутизмом же называется потеря чувства реальности и непомерное разрастание внутренней жизни.

Сделаем несколько замечаний относительно этой теории. Во-первых, в связи с этими больными следует определиться с понятием реальности. Если под реальностью понимать материальный мир, окружающие нас предметы, то, мне кажется, многие больные шизофренией приспособлены к нему гораздо лучше, чем принято думать. Они любят свою комнату и не хотят ничего в ней менять: они прекрасно едят и ждут, когда будут кормить, они

любят свою кровать. У них есть характерные привычки в отношении внешних предметов.

Представители школы Блейлера, в особенности Минковский, замечают, что эти больные кажутся гораздо более сохранными, если с ними не разговаривать, а предоставить возможность действовать самостоятельно. Иногда можно увидеть, как они играют друг с другом в мяч во дворе, и в игре они неплохо приспособляются к мячу, к физической ситуации.

И здесь следует опять вернуться к уже знакомому наблюдению: трудности адаптации больного ранним слабоумием в первую очередь касаются реальности особого рода — социальной реальности. Думаю, это недостаточно учитывается. Раннее слабоумие — это в первую очередь социальная деменция. С самого начала заболевания возникают трудности отношений в семье. По этому поводу говорилось много наивного о лютой ненависти или безмерной любви к родителям. Возникают проблемы адаптации к среде, родителям, братьям и сестрам. В детстве больной не может приспособиться к семье, впоследствии — к нам, окружающим его людям.

Полагаю, что в этой связи мы можем сделать любопытные замечания об историях, которые они придумывают. Действительно, в обычной жизни нам не рассказывают странных, необычайных историй, не подготовив наше восприятие. Вы не станете рассказывать мне, что Сена замерзла и что мосты переместились из-за льда, если вы не подготовите для этого почву, не сделаете ваш рассказ правдоподобным. Этим же людям совершенно не заботит, что мы думаем. Они вслух говорят о возмутительных вещах, не воспринимая нашего возмущения. Это их совершенно не касается.

Девушка, которая спокойно рассказывала, что она — мать семейства, что она встретила на улице троих своих детей, что ее муж — принц, ставший социалистом, и они вдвоем убили царя, говорит все это просто и спокойно, не заботясь о впечатлении, которое ее рассказ на вас производит. Она не спорит. Именно здесь ключ к пониманию: эти люди никогда не утруждают себя аргументацией, не заботятся о том, чтобы что-то доказать. Это им совершенно безразлично.

Приведем другой пример расстройства, о котором я вам часто рассказывал: возьмем персонажа с другой болезнью, но подобными же нарушениями. Александр, который был во время войны солдатом второго ранга, полтора года пребывал в полной уверенности, что он — генералиссимус французской армии и армии союзников. Он рассказывал мне без тени иронии, что президент Республики назначил его генералиссимусом, и толпа кричала ему: «Да здравствует Александр!» — что он победил немцев в памятной битве при Аргонне, ни в коей мере не заботясь о том, чтобы сделать свой рассказ правдоподобным, ответить на возражения. У него совершенно отсутствовали доказательства.

Когда мы просим таких больных что-то разъяснить, создается впечатление, что они просто не понимают, чего мы от них хотим. Для них не существует проблемы доказательств, они им не нужны. Это так, потому что это так.

У этих двух больных, Сесиль и Александра, я отметил любопытное завершение нашего разговора — всегда одно и то же, что требует нашего внимания. Когда я уж очень мучил Александра, говоря ему: «Я не понимаю, почему президент Республики выбрал солдата второго ранга, служащего писцом, — впрочем, делающего это весьма плохо, — чтобы назначить генералиссимусом», Александр с самым серьезным видом подносил палец к губам и говорил: «Тсс! Не будем об этом, это — военная тайна и не подлежит разглашению». Также, когда я просил Сесиль какое-нибудь доказательство того, что она убила русского царя и руководила бандой «Летучих мышей», она останавливала меня: «О, нет! Не будем об этом, это политическая тайна».

Это слово, к которому прибегают и многие другие, заставляет нас задуматься. Не слишком ли часто встречается такой способ аргументации? Нет ли других областей, в которых секрет закрывает обсуждение? Увы, есть! Если мы обратимся к возможно более серьезным, но во многом сходным с этими религиозным верованиям, то увидим, что религиозные обсуждения не очень-то практикуются. Я говорил об этом много раз. Обычно человек религиозный не любит обсуждения и не понимает его. У него

есть очень удобное средство от них уходить; он всегда прерывает их, говоря: «Вы не понимаете, это — ничего, тайна», — и все этим заканчивается. Одна экзотичная больная, о которой я вам часто рассказывал — Мадлен — прерывала все обсуждения именно таким образом. Когда я спрашивал ее, почему Бог выбрал именно ее, она всегда мне отвечала: «О, это религиозная тайна».

Что означают тайны, политические и военные секреты, которыми больные прикрываются? Слово «тайна» требует отдельного психологического исследования, на которое у нас сейчас нет времени. Когда-то это слово имело смысл. Оно означало тайное знание определенной группы людей, недоступное другим. Религиозная тайна, как и военная тайна наших больных, вовсе не такова. Эти люди вовсе не считают, что есть посвященные в их тайну, которые поймут ее лучше меня. Тайну не понимает никто, но это не имеет значения. Это — отсутствие общего понимания.

Идет ли речь о философских тайнах, неподвластных человеческому разуму? Нет, философские тайны — общее явление, которое нас не задевает, с которым мы все смирились. Если я вам скажу, что зарождение жизни — тайна, что понятие времени и существование прошлого — вещи таинственные, это вас совсем не беспокоит. Мы привыкли: это тайны для всех, их никто не обсуждает, и они не мешают верованиям.

Религиозная тайна, как и тайна больного ранним слабоумием, — явление иного порядка: в них человек стремится искоренить психологический феномен, который называют доказательством. Ему не нужно доказательств, он верит на другом основании, вполне возможно, очень неплохом, — на основании чувств, утешения. Он и слышать не хочет о доказательстве. Доказательство — это социальный феномен, существующий только для общества. Больного ранним слабоумием не интересует общество, у него нет социальных чувств. Возможно, в этом кроется фундаментальная проблема аутизма. Аутизм — это бегство в собственные мысли, не оставляющее места чувствам и доводам других.

Прежде чем перейти к заключению, мне хочется показать вам ту же мысль в педагогических исследованиях.

Вам известны труды Пиаже. Я напоминаю вам еще раз прекрасную книгу «Суждение и мышление ребенка» (1924). В этой чрезвычайно интересной книге автор стремится показать, что ребенок рассуждает не так, как взрослый. Изучая суждения ребенка, Пиаже останавливается на многих моментах, которые у нас сейчас нет времени рассматривать. Например, маленький ребенок только рядопологает предметы, но не производит соподчинения. Он не понимает наши предлоги и союзы, не понимает слов «потому что», «поскольку», выражения принадлежности. Все понятия рядоположны, что говорит об отсутствии у него точных отношений.

Я отсылаю вас к прекрасному исследованию, посвященному маленькому французскому слову «de» [здесь в значении: «один из», «некоторые из», «часть чего-либо». — *Прим. перев.*]. Пиаже показывает, что ребенок не знает значения этой частицы, не понимает таких выражений, как «часть моих цветов, некоторые из моих цветов».

Другое исследование, которое мне хотелось бы отметить, касается отсутствия у ребенка определений. Целая глава, занимающая треть книги, посвящена обсуждению одного психологического теста. Вы знаете, что называется тестом со времен Бине и Симона. Это небольшой, заранее подготовленный вопрос, вполне стандартный, который ставится перед человеком, и на основании ответов делают вывод об интеллектуальных способностях.

Из многочисленных когда-то отобранных тестов Пиаже проводил знаменитый тест трех братьев. Он вам известен. Ребенок говорит: «У меня есть два брата: Поль и Жан», а вы его спрашиваете: «А у твоего брата Поля сколько братьев, и сколько братьев в твоей семье?» Этот вопрос кажется простым. Заметим, однако, что ребенок не может правильно на него ответить. Возникает заминка. Возможно, швейцарские дети не так развиты по сравнению с парижскими. Во всяком случае, когда я рассказал о полученных Пиаже результатах французским учителям, то вызвал возмущение. Они утверждали, что их ученики ответили бы гораздо лучше. Возможно. Надо будет проверить.

Я думаю, вряд ли дети ответят правильно на двойной вопрос Пиаже. Согласно этому автору, только к десяти-

одиннадцати годам, то есть, довольно поздно, дети могут решить задачу о трех братьях: практически всегда они ошибаются. Если спросить ребенка пяти-шести лет, он скажет: «У меня два брата, но у моего брата Поля братьев нет; братья есть у меня. В семье два брата, и это те два брата, которые есть у меня, вот так».

Кроме теста трех братьев Пиаже рассматривает и другие тесты, в частности тест промежуточного цвета. Ребенку говорят: «Вот три девочки, все они блондинки. Однако у одной из них, — назовем ее Эдит, — волосы светлее, чем у Сюзанны, но темнее, чем у Жанны. Какая из трех самая темненькая, а какая самая светленькая?». Ребенок на вопрос не отвечает, он запутался.

Добавим сюда тест, который мне тоже очень нравится, поскольку он сильно облегчает понимание. Это знаменитый тест правой и левой руки. Вы знаете, что уже в очень раннем возрасте, к трем-четырем годам, умный ребенок знает, что есть правая и левая рука. Когда ему говорят: «Дай мне правую руку» или «дай мне левую руку», он прекрасно с этим справляется. Однако продолжим эксперимент. Встаньте напротив него и скажите: «А теперь возьми мою правую руку» или «возьми меня за левую руку». Ребенок не понимает ровным счетом ничего, он не знает, что делать. Он дает свою правую руку, но не понимает, что у вас тоже есть правая рука, по крайней мере, не знает какая из них правая.

Пиаже несколько усложняет задачу, — на мой взгляд, делая ее слишком сложной, — выкладывая предметы на стол. Он берет ключ и кладет его в центр стола. По обе стороны от ключа он кладет два других предмета, карандаш и монетку, и спрашивает ребенка: «Какой предмет справа, а какой слева от ключа? Если я поменяю их местами, они останутся справа от меня?» Ребенок в растерянности. Он не понимает, что вы придаете объективный смысл словам «левый» или «правый», что речь идет о вас, а не о нем.

Я бы очень рекомендовал вам почитать у Пиаже детальное обсуждение результатов. Он возвращается к общей мысли: когда речь идет об идеях — как в случае с братьями, страной, семьей, родителями, папой, мамой, соотечественниками — или более простых понятиях левого и правого, между ребенком и нами существует различие:

ребенок воспринимает эти слова как абсолютные, а мы — как относительные. Для ребенка свойство быть братом, как и свойство быть правым или левым абсолютны, неотъемлемы от объекта.

Когда описывают мальчиков рядом с ним, говорят: «Этот мальчик большой. Этот толстый. Этот светловолосый. Этот темноволосый». Он прекрасно все понимает и для него такой-то мальчик блондин, толстый или маленький. Все определено, и это его устраивает. И слово «брат» столь же абсолютно. Два ребенка в семье, Поль и Жан, обладают свойством быть братом, так же как и быть толстым или маленьким. Для нас это не одно и то же. Для нас понятие брата имеет относительный характер. Эта особенность не существует сама по себе. Поль и Жан по отдельности, если ничего не знать о другом, не являются братьями. Они становятся ими только в отношении друг друга; и сразу встает важнейшая психологическая проблема взаимности: если Поль мой брат, то и я — брат Поля. Это совершенно новая характеристика, и семья, в которой есть не два брата, а три, также является понятием относительным, поскольку в ней отражено отношение всех трех братьев.

Аналогично для понятий «право» и «лево». Для ребенка пяти лет правая рука — это рука, обладающая определенными свойствами. Его научили, что правая рука обладает особенностями, отличными от левой: она более ловкая, ею держат перо. Ее называют правой рукой, как и его называют определенным именем, и это свойство правой руки абсолютно, оно ей неизменно принадлежит. Напротив, для нас правая рука не есть что-то абсолютное. Она правая в отношении другой и в отношении тела, определенных положений тела. Правая рука может оказаться слева от человека и быть его левой рукой: когда речь идет о другом человеке, это поразительно. Правая рука человека, стоящего перед нами, находится напротив нашей левой, но для него она правая.

Аналогично и с лежащими на столе объектами. Когда Пиаже спрашивает, справа или слева находится карандаш, он ставит огромную проблему, которая уже рассматривалась когда-то физиками. Помните размышления физиков, в особенности Максвелла, о течении жидкостей и

электрическом токе? Они используют понятия правого и левого потока, предварительно определяя их так: «Представьте, что плывете вдоль реки по течению; справа будет правый берег, а слева левый. Нужно просто оказаться в потоке, вот и все».

Чтобы, как мы, рассуждать о братьях, о том, что есть правое и левое, о семье, нужно встать на место другого. Это может показаться ерундой, но на протяжении всей нашей жизни мы то и дело этим занимаемся: постоянно меняем место. Личность не заключена исключительно в нас, она мысленно там, где мы ее помещаем, и мы можем поместить ее в другого. Когда перед нами человек, мы ставим себя на его место, исследуем себя и говорим: «Ага, если бы я был на его месте, это была бы правая рука, а это — левая». Когда мы говорим о брате, мы способны поставить себя на его место, и с его точки зрения тот, кто был внешним наблюдателем, становится братом. Мы можем перемещаться, ставить себя на место другого.

Это размышление, которым я резюмирую педагогические труды и изучение ребенка, показывают нам, что инфантильные характеристики не сильно отличаются от характеристик человека, страдающего бредом.

Пиаже называет аутизмом и эгоцентризмом эту предрасположенность маленького ребенка всегда смотреть на вещи исключительно со своей точки зрения и никогда — с точки зрения другого. Он всегда в себе, и ему доступно только абсолютное, соотносящееся с ним самим. Он не умеет выйти за свои пределы. Только что я рассказывал вам о больном Блейлера, который больше не мог выйти за свои пределы, был всегда замкнут в себе, в своих мечтаниях. Я обращал ваше внимание, что он настолько не способен преодолеть свои границы, что не понимает нашей точки зрения. Если бы он ее понимал, то знал бы, что мы хотим получить доказательства, то, что служило бы нам объяснением, и не прятался бы за знаменитым словом «тайна»: «Но вас это не касается. Я не ставлю себя на вашу точку зрения. Думайте, что хотите, мне нет до вас дела, я не собираюсь удовлетворять ваше любопытство».

В прошлый раз мы изучали мышление. Мы отметили, что мышление — это пространство скрытой психологиче-

ской деятельности, совершающееся вдали от посторонних глаз. Так вот, столь знаменитое и важное мышление представляет значительную опасность. Философы, говоря о мышлении, видят лишь его прекрасные стороны: мысль, говорят они, могущественна, мысль — это принцип всего, она прекрасна, необходимо учить людей мыслить.

Увы! Мы распространили свободу мысли повсюду, воображая, что это чудесно. Но мысль сопряжена со сложностями и опасностями. Она не просто чудесна. Опасность представляет ее замкнутость в нас и ограниченность нами. Значит, она может развиваться, отталкиваясь лишь от наших собственных чувств и не учитывая внешний мир. Очевидно, что хоть в какой-то степени она учитывает его, поскольку речь формируется во внешнем мире, но она на этом и останавливается, больше ничего не приобретая. Наш больной ранним слабоумием остается в себе, в границах собственного рассудка. Больной Блейлера говорил: «Мне кажется, что я застрял в каминной трубе». Эти больные больше не принимают в расчет социальный мир.

Чтобы мышление не стало слишком опасным, следует его ограничивать, смягчать, нужно, чтобы его кто-то останавливал. Необходима дисциплина мысли. Возможно, не всегда так уж хорошо провозглашать абсолютную свободу мысли. Мы говорим, что не стоит позволять детям играть со спичками. Возможно, следовало бы также сказать, что не стоит позволять людям — этим выросшим детям — играть с мыслью. Мысль очень опасна, если ее ничто не останавливает. Это было сильной стороной и важным открытием религий, где все время повторяется: «В вере важна дисциплина, догма, а догма устанавливается. Понимаете вы догму или нет, она установлена». Это забота об остановке индивидуальной мысли, о том, чтобы не дать ей блуждать, бредить и принимать, бог весть что. Это сильная сторона религии.

Но разве не знакома нам критика мысли и ее ограничение? Знакома. Мы изучаем ее вот уже несколько лет. Я говорил вам, что как только мысль начинает формироваться, она должна служить особой психологической операции, которую мы назвали внутренним обсуждением и размышлением. Обсуждение первоначально публично. Когда вы высказываете мнение, встает человек из аудито-

рии и предлагает другое мнение. Обсуждение происходит в собрании. Но и когда мы открыли мысль, необходимо продолжать обсуждение; важно, чтобы мы сами могли в себе самих развивать мнения, которые могли бы быть предложены другими: «Я думаю, что я генералиссимус. Это лестно и соответствует моим сокровенным чаяниям». Но сразу же мне следует сказать: «А что об этом подумает командование? Что об этом скажет мой капитан?» Когда у меня возникает эта гипотеза, мне нужно остановиться и честно признаться: «Если бы я сказал об этом командиру, он бы посмеялся надо мной, если не посадил бы под арест». Вот что должно возникнуть: нужно думать о мнении другого, нашего начальства, вышестоящих персон, нужно это обсуждать. Одним словом, мысль не может стать могущественной, иначе как вовлекая функцию рефлексии.

Таким образом, работы Блейлера и Пиаже, какими бы интересными и оригинальными они ни были, не открывают чего-то экстраординарного. Они просто показывают, что больные ранним слабоумием и дети — люди слабые, ограничившие мышление лишь сентиментальными верованиями чисто утвердительного характера, не способные к рефлексии. Без сомнения, между теми и другими существует огромная разница. Аутизм ребенка — это отсутствие рефлексии вследствие недостаточного развития; рефлексия появится позже, будет медленно укрепляться и годам к семи начнет возрастать. У ребенка нет рефлексии, нет социальной критики, потому что он еще слишком мал. Напротив, больные шизофренией, — которых Блейлер называет именно этим словом, — утратили рефлексия. К ним можно применить старое понятие Эскироля о деменции. Тот говорил: «Идиот — это человек, у которого никогда не было интеллектуального богатства, который родился бедняком и остается таким. Слабоумный — это человек, обладавший богатством, но утративший его и оказавшийся на уровне идиота». Это справедливо и для больного шизофренией. Это человек, у которого была рефлексия, социальная мысль и который поэтому отвечает вам иначе, чем дети у Пиаже. Он обладал всем этим, но потерял из-за ослабления, недостатка психологического функционирования.

Наше исследование проблемы аутизма немного сбивает с нас спесь. Мышление — великое открытие человечества, ставшее огромным прогрессом, сделавшее личность более могущественной, развитой, отчетливой. Но с ним связана огромная опасность, которая таится в преувеличении собственной внутренней мысли и забвении других, окружающих, общества. В развитии мысли следует всегда принимать во внимание правила дисциплины мышления и мнения других. На этом мы заканчиваем вторую часть нашего курса, касающуюся социальной личности. В оставшихся пяти лекциях мы поговорим о личности во времени, и в следующий раз вернемся к давней, но во многом забытой проблеме сомнамбулизма.

ЧАСТЬ 3. ЛИЧНОСТЬ ВО ВРЕМЕНИ

28 ФЕВРАЛЯ 1929 Г.

21. СОМНАМБУЛИЗМ

До сегодняшнего дня личность представляла перед нами как творение человека, искусственное построение, которое создавалось постепенно на протяжении веков наряду с другими творениями человечества — такими как мораль, религия, формы правления. Люди создавали его медленно, с трудом.

Вероятно, еще до появления личности в мире были для этого предпосылки. Возможно, уже физиологическая жизнь, простейшие живые существа имели определенную целостность и отличались друг от друга. Возможно, но это изначальное единство жизни нам неизвестно, точнее, известно лишь вторично, поскольку мы применяем к нему наши идеи о целостности и личности.

На основе этой гипотетической целостности живых существ, обособившихся и уже отличавшихся друг от друга, создается новая, психологическая целостность, надстраиваемая над первичной и единственно нам известная. Эта психологическая целостность должна была бороться, как это всегда бывает, с противостоящими ей силами — множественностью и разнородностью. По сути, мир предстает перед нами в огромном и бесконечном разнообразии. Как я уже часто говорил, множественность — это великая метафизическая проблема. Почему в мире столько вещей, и вещей, различающихся между собой, гетерогенных, к которым мы должны адаптироваться?

Первая адаптация, ставшая основой личности, — это адаптация к пространству. Вопреки разнообразию материальных тел в пространстве, нужно было создать целостность. Это — первая, телесная целостность, осуществляющаяся сначала благодаря телу, а затем — реакциям равновесия, базисным чувствам. Одним словом,

вместо того чтобы изменяться и трансформироваться при воздействии других объектов, как это происходит с материальными телами, в таком особом объекте, как живое существо, формируется и особый способ реагирования. Катящийся камень претерпевает метаморфозы, ломается, обкалывается, округляется; его меняет то, что он встречает на своем пути. Живое существо обладает своего рода упрямством; оно стремится остаться каким было, соответствовать определенному типу: прежде всего мы осуществляем телесную адаптацию.

Затем возникла социальная целостность, о которой я много говорил в этом году, поскольку ранее мы мало ее изучали. Люди живут в обществе, и общество таит по меньшей мере столь же удивительное и озадачивающее многообразие, что и материальный мир. Среди миллионов людей, похожих и все-таки разных, нужно сохранить свою индивидуальность, свои отличия и все-таки с ними объединиться. Формируется социальная личность: на это, начиная с первобытных народов, потребовались века. А сегодня личность есть уже у ребенка.

На протяжении многих веков в истории цивилизации происходила и другая работа, еще более тяжелая, направленная на то, чтобы придать личности новый характер. Как раз о ней мы говорили в прошлом году. Из всех существующих в мире множественностей наиболее загадочная и наименее изученная — множественность временная. Предметы, даже те, которые лучше всего сохраняют свое тождество, идентичность, преобразуются уже самим фактом существования времени. Мы видим дерево: оно всегда остается тем же, но меняется в разные времена года. Фактора времени достаточно для появления различий и множественности.

Эта новая множественность снова пошатнула идею личности. Нужно пытаться бороться с множественностью, поддерживать свое единство, несмотря на изменения во времени.

И получается ли это у нас? Думаю, что нет. На самом деле по поводу единства личности есть много иллюзий. Мы колоссально меняемся: за юностью приходит старость, и хотя сами мы так не считаем, но мы уже не те. Все в этом мире преобразуется и меняется. Но у нас

свое мнение на этот счет. Хотя время и лепит из нас другого персонажа, мы хотим оставаться теми же и поддерживаем свою целостность. Это подводит нас к новой работе: искусственному созданию единства и обособленности личности во времени. Это — огромная проблема. В связи с этим следовало бы вспомнить наши прошлогодние лекции о памяти. Так что мы довольно бегло остановимся на этой теме на последних занятиях курса.

В нашем распоряжении известный патологический феномен, к сожалению, несколько забытый сегодня, но очень поучительный. Он прекрасно показывает значимость работы по созданию временного единства и те странные, необъяснимые последствия, к которым приводит сбой такой работы, а также нашу критику в адрес других людей, не умеющих поддерживать свою целостность во времени. Я бы хотел сегодня остановиться на патологическом феномене, называемом сомнамбулизмом.

В течение всего XIX века сомнамбулизм вызывал огромный интерес врачей, философов, психологов. Затем мода изменилась, и сегодня он заброшен. Когда игнорируют какой-нибудь научный феномен, не пишут о нем статей и диссертаций, то всегда убеждают себя, что он просто исчез. Огромное заблуждение: этот феномен продолжает существовать и встречается не реже, чем в былые времена; только он больше не приковывает к себе внимания, о нем не хотят говорить.

Феномен сомнамбулизма встречается на каждом шагу, повторяется изо дня в день в больницах, но игнорируется как ничего не значащий. Возможно, в нем кроется что-то серьезное, чего просто не хотят видеть. У исследований сомнамбулизма есть своя история, основные вехи которой будет интересно напомнить. Сомнамбулизм вошел в научную моду в конце XVIII века. Он существовал испокон веков, но как предмет литературного изображения: когда речь шла о религиозном экстазе, о дельфийских пифиях и других подобных явлениях. Сомнамбулизм не изучался ни с психологической, ни с медицинской точек зрения. Он был открыт, или скорее, открыт заново животным магнетизмом.

Вам известно странное положение животного магнетизма в истории наук. Наши потомки посвятят этому

намного больше работ, чем вышло до нынешнего времени. Пренебрежение привело к забвению той исторической роли, которую сыграл сомнамбулизм в эволюции психологических исследований. Животный магнетизм возник в медицинской среде и был связан со случаями быстрого чудесного исцеления и изучением возможностей психологического лечения. Именно такими были цели Месмера. Но животный магнетизм молниеносно колонизовали, связав его с довольно странной и яркой философской идеей, требовавшей от ее адептов недюжинной научной смелости.

В сущности, больше всего животный магнетизм был связан с идеей искусственного создания — сверхчеловека, который бы, как у Ницше, отличался от обычного человека, обладая наивысшими моральными качествами и новыми, невиданными способностями. Нам обещали когда-то, что сверхчеловек придет, — возможно; однако он не спешит. В XVIII веке возникло желание ускорить приход сверхчеловека, создав его искусственно. Именно эти чаяния характерны для магнетизеров. Вызвать за один миг в человеке психическое состояние, которое отличалось бы от обычного и в котором проявились бы новые, чудесные способности — самые желанные и необходимые. Вызвать феномен ясновидения, сделать так, чтобы один человек все понимал лучше других, видел истину мира лучше нас, чтобы его чувства были более пронизательными. Общаться путем обмена мыслями, читать в мысли других, даже когда те хотят сохранить их в тайне, раскрыть тайну человечества, проникнуть в сознание, видеть на расстоянии, распознавать болезни и уметь их исцелять — вот те чудесные способности, к которым стремились магнетизеры.

К сожалению, эта мечта имела дурное влияние и не импонировала серьезным умам. Ученые, стремящиеся видеть мир таким, каков он есть, считали эти идеи нелепыми, химеричными, невозможными, отрицали их или боролись с ними. Неприятие, которое вызвал животный магнетизм, помешало заметить другие открытия, совершавшиеся по ходу дела. Впрочем, думаю, магнетизеры сами виноваты: они представляли свои открытия без того энтузиазма, которого те заслуживали, и все время возвращались к своим грезам, считая их важнее самих научных открытий.

ПСИХОЛОГИЧЕСКАЯ ЭВОЛЮЦИЯ ЛИЧНОСТИ

В конце XVIII века — около 1785 г. — довольно интересный магнетизер, маркиз де Пюисегюр, возможно, впервые открыл искусственный сомнамбулизм. Он делал пассы над юношей, чтобы превратить его в сверхчеловека. Однако тот просто-напросто заснул и в этом сне вел себя довольно странно: подчинялся всякому жесту, приказу, болтал, танцевал. Когда это состояние прошло, магнетизер с удивлением обнаружил: испытуемый совершенно не представлял, что с ним происходило, не помнил ничего из того, о чем говорил в течение нескольких часов магнетического состояния. Пюисегюр констатировал, что вызвал сомнамбулизм. Эта констатация — первостепенной важности, ведь впервые патологическое состояние было вызвано искусственно. Если бы сегодня у нас было средство мгновенно перевести человека в состояние меланхолии или мании, мы могли бы несравненно глубже изучить эти патологические феномены.

Почему мы знаем так мало о меланхолическом расстройстве? Потому что мы его видим, но не можем на него воздействовать, не можем вызвать, и лишь с большим трудом нам удастся его облегчить. Это касается большинства патологических феноменов, особенно в психиатрии. Вы не можете вызвать бред преследования, как не можете вызвать и простого эпилептического припадка. В эпилепсии, в этом небольшом приступе, загадочно то, что он всегда застает нас врасплох, он всегда происходит неожиданно — его причины часто неизвестны.

Сам факт того, что удалось вызвать сомнамбулическое состояние, уже замечателен и достоин внимания. Однако на деле наблюдение Пюисегюра почти не вызывало интереса, им почти не занимались, и только постепенно внимание снова возвращается к этому феномену. Почему так получилось? Все по той же причине: магнетизеров интересовало другое. Их больше беспокоило, что сверхчеловек забыл свою роль сверхчеловека при пробуждении. Речь шла о создании сверхясновидящей сомнамбулы, и только. В исследованиях ученых конца XVIII века мы с удивлением видим, что никто не обратил внимания на открытие Пюисегюра, как, впрочем, и на предшествующие открытия, касающиеся внушения и изменения воли. Эти психологические факты не замечаются, всегда ищут

чего-то еще, стремятся доказать, что сомнамбула Пюисегюра способен к ясновидению не более другого, что и так очевидно. В подобных спорах тратится время, а само открытие остается в тени.

Между тем через несколько лет, в 1820 г., под влиянием Делеза и Бертрана, инженера Политехнической школы, увлекшегося изучением феноменов сомнамбулизма, возобновился интерес к психологическим феноменам сомнамбулизма. Их стали называть явлениями гипнотизма: чтобы вернуться к забытому, часто бывает нужно поменять название. Эти исследования не имели успеха и вызвали новую волну сопротивления, практически по той же причине: желание раскрыть тайны, старая мечта о сверхчеловеке и игнорирование реальных феноменов — сомнамбулизма и внушения. В то время возражение противников исследований сомнамбулизма было практически одно и то же. Сегодня оно выглядит странно, но в свое время имело огромное историческое значение. Это возражение касалось симуляции: такое явление нельзя ни изучать, ни воспринимать всерьез, поскольку его легко симулировать. Притвориться, что забыл пару часов из своей жизни, сложнее, чем может показаться, но все же вполне реально. Когда колют иглой, также можно притвориться, что ничего не чувствуешь.

Вы помните бесконечные споры ученых, пытавшихся доказать реальность анестезии и забвения при сомнамбулизме, — о том, насколько глубоко можно воткнуть булавку в кожу лица без появления болевой чувствительности. На протяжении многих лет, до середины XIX века, только и говорили, что о возможной симуляции.

Заметьте, что похожей дискуссии нет ни в какой другой области. Тем не менее симулировать в принципе можно любое душевное или нервное расстройство, включая хорею и паралич. Боязнь симуляции заставляет нас усомниться в результатах трех четвертей наших исследований. Возможность симуляции не следует упускать из виду, но существуют довольно простые процедуры, помогающие распознать грубые симуляции, — в первую очередь опыт и знание об испытуемом. И что ж из того, что иногда мы ошибаемся? Такое может случиться в любом исследовании.

Такая озабоченность симуляцией удивительна. Она тридцать лет приковывала к себе умы, что имело, с моей точки зрения, очень серьезное следствие в истории медицины. Приверженцы гипнотизма пытались всеми силами исключить симуляцию и выявить у гипнотизируемых те особенности, которые подделать невозможно. Я имею в виду изучение гипнотизма в Сальпетриере и заблуждения Шарко, столь повредившие его исследованиям. Шарко искал внешние признаки болезней спинного мозга — изменения рефлексов, параличи, контрактуры. Это в некотором смысле анатомические признаки: думали, что, будучи таковыми, а также явно связанными с повреждениями спинного мозга, они достовернее и серьезнее других. Мало что зная о психологии, он стремился не допустить симуляции со стороны сомнамбул, которых в его ведении было предостаточно, и самых настоящих. Возникла иллюзия, что указанные признаки невозможно симулировать. До чего же наивно! Почему же нельзя симулировать контрактуру или нарушение рефлексов? Вполне возможно, как и все остальное.

Шарко всегда учил, что у руки есть три особых положения, связанных с лучевым, локтевым и срединным нервами или, точнее, с их возбуждением, и что эти положения, например, поднятие или опускание двух пальцев не может быть известно человеку. Но почему бы в учреждении, где столько об этом говорят, больным, находящимся там годами, и не знать, что три положения руки определяются тем или иным нервом? Они могут это знать так же хорошо, как и студенты, — это очень просто. Позднее окулисты, в частности Ландольт и Парино, открыли порядок нарушения цветового зрения: цвета исчезают в определенной последовательности. Почему бы больным не узнать эту последовательность? Все приводившиеся против этого доказательства были иллюзорными.

Итак, о симуляции говорили беспрестанно. Тем не менее сеансы Шарко с их видимой научностью и анатомическими объяснениями и, в еще большей степени, — серьезные философские размышления Шарля Рише — привели к тому, что с 1860–1870-х гг. о симуляции говорилось меньше. Так, исследования сомнамбулизма возобновились и несколько позже — к 1880–1884 гг. — сделались модными.

Возникло другое возражение. Магнетизеры и гипнотизеры сами отмечали феномен внушения — огромного влияния магнетизера на испытуемого, его способность вызвать самые разные изменения. Школа Нанси во главе с Бернгеймом развила эту идею и показала, что все описанные Шарко объективные признаки, вероятнее всего, вызваны внушением магнетизеров. Это новое возражение было психологическим и подчеркивало роль влияния одного человека на другого, слабость воли и переменчивость мнений. Оно было важнее и опаснее предыдущих. Вам известно, что с начала 1890-х гг. поднялась новая волна критики исследований сомнамбулизма и внушения. Первый ее аргумент представляется мне очень важным: в явлениях, описанных магнетизерами и гипнотизерами, нет ничего нового и чудесного, кроме факта их искусственного происхождения. Так, если бы мы могли искусственно вызвать пареплегию или меланхолическое состояние, это были бы те же заболевания, только искусственно вызванные. На самом деле магнетизеры просто научились вызывать тот самый сомнамбулизм, который был известен задолго до них.

В чем заключается феномен сомнамбулизма? Он существует и вне сомнамбулических практик, и известен испокон веков. Он заключается в странном повествовании о жизни. Мы все подчиняемся общему закону, почти поллицейскому: должны уметь рассказать о том, что делаем, выразить в словах то, что наполняет наши утро, день, вечер. Однако многие люди с невропатическими проблемами теряют эту способность. Они совершают некоторые действия, но не могут о них рассказать, не могут сказать, что видели. В этом — суть сомнамбулизма.

Сомнамбулизм, как я когда-то показал, удивителен не сам по себе; перед вами может быть идеальная сомнамбула, а вы можете об этом не догадываться, считая человека совершенно нормальным, обычным. Необычное в облике сомнамбулы, как правило, вызвано гипнотизерами, которые учат испытуемого принимать особые позы, широко открывать глаза или, наоборот, держать их закрытыми, корчить какие-то гримасы. Для сомнамбулизма все это не важно: для него существенна только неспособность рассказать о совершенном действии, дать ему объяс-

нение. Это встречается сплошь и рядом. Не получило своего объяснения и то, что этот феномен проявляется в первую очередь в юности и к тридцати годам становится гораздо более редким, хотя все равно существует. Мы сталкиваемся также с внушительной категорией ночного сомнамбулизма: он может наблюдаться у многих детей в самых разных формах. Многие дети в момент глубокого сна начинают говорить вслух, рассказывают истории, отвечают на вопросы. Некоторые встают и совершают какие-нибудь нелепые действия.

Мне вспоминается девушка четырнадцати или пятнадцати лет, воспитывавшаяся в религиозном пансионе, где ученицам выдавали, в зависимости от их достижений, пояса разного цвета. По окончании семестра ее наградили самым лучшим фиолетовым поясом, а потом она его лишилась — уж не знаю, за какой проступок. Но через несколько дней после этой трагедии у нее начался ужасный ночной сомнамбулизм, повторявшийся каждый день. Говорю — ужасный, потому что она пыталась выброситься из окна; эта сцена, полная жестов отчаяния и заявлений, повторялась снова и снова. Детский ночной сомнамбулизм — очень частое явление.

На второе место мы можем поставить сомнамбулизм, существующий и в дневное время. Самая простая его форма, которая будет важна для нас в следующей лекции, — это моноидеистический сомнамбулизм. Аномальный период, который потом забывается, характеризуется некоторой целостностью мысли. В этот период разворачивается одна и та же мысль или действие, которое и забывается.

Случаев моноидеистического сомнамбулизма множество. Я выбрал несколько наблюдений, чтобы рассказать вам. Это случаи сомнамбулизма, фиксирующие некоторое событие, которое по какой-то причине произвело впечатление на человека. И человек реагирует на это эмоциональное событие по-разному. Иногда он его копирует, пытается его разыграть, прожить заново. На прошлых занятиях я описывал забавную историю больной, которая во время экскурсии увидела в зоопарке львицу и после этого начала ее изображать, стала львицей. Иногда человек рассказывает о событии, пытается понять, что можно сделать, обсудить, как с ним можно справиться.

Или, напротив, он охвачен эмоциями, вызванными этим событием.

Можно выделить несколько основных форм сомнамбулизма. Самые важные формы определяются смертью любимого человека. Мне часто доводилось описывать больную, названную мной Ирен. Полтора года она снова и снова проигрывала сцену смерти матери: ни с того ни с сего, среди бела дня вставала перед кроватью и, как ей казалось, ухаживала за умирающей матерью до самого конца. Это — одна из наиболее распространенных форм сомнамбулизма.

Есть сомнамбулы, которые воспроизводят нечто обратное случившемуся с ними эмотивному эпизоду — такому, как страх львицы или пожара, как встреча с собакой, с пьяным или эпилептиком. Вот любопытное наблюдение. Юноша видит на улице человека в эпилептическом припадке. Он бросается на помощь. Больной, который не понимает, что с ним происходит, кидается на него и кусает его руку. После этого наш молодой человек совершенно потрясен: «Как можно так плохо со мной обращаться! Я хотел помочь, а меня в ответ кусают». И начинает сам воспроизводить подобные приступы, пытаюсь укусить всех встречных.

Девушка, которую я довольно часто наблюдал, была задержана в Булонском лесу за неподобающее поведение и препровождена в комиссариат полиции. Это ее потрясло. Впоследствии у нее была только одна мысль — скрываться, маскироваться, сменить лицо, только чтобы полицейские ее не узнали. Она сомнамбулически воспроизводила сцену задержания в Булонском лесу.

Нам известна группа навязчивых мыслей, тревожащих человека вопросов. Так, девушка двадцати четырех лет, воспитывавшаяся в простой и любящей приемной семье, уходит из нее и приезжает в Париж. В своей уединенной жизни она очень несчастна, постоянно жалуется, как она была не права, покинув таких добрых людей, которые стали для нее родителями. В сомнамбулическом состоянии она непрерывно обсуждает эту тему.

Есть также сомнамбулизм привычных действий. Некоторые люди начинают шить, работать. Когда-то в диссертации по медицине я описывал такой трогательный и

довольно тонкий случай. У молодой женщины была особая работа: она делала глаза для кукол. Для этого она должна была привести в действие педаль, крутя ручку правой рукой. Однажды вечером она услышала, как ее родители жалуются на высокую квартплату, бедность, ничтожность их заработка. В этот момент она стала грезить о том, как заработать побольше денег и помочь родителям. Тогда и появились постоянные сомнамбулические сцены, характеризующиеся движением руки, повторяющим вращение ручки, чтобы привести в движение педаль.

Сексуальные чувства являются неиссякаемым источником сомнамбулизма — проигрывания попыток насилия, более или менее полного воспроизведения сексуальных актов и т. д. Кроме того, можно, вероятно, выделить очень любопытную форму инфантильного сомнамбулизма. Речь идет о довольно взрослых людях двадцати-тридцати лет, которые вдруг как будто возвращаются на два-три часа в детство, в возраст пяти-семи лет, играют и говорят, как дети. По этому вопросу отсылаю вас к работе, опубликованной в Бельгии доктором Глорье, который называет это явление странным названием «приступа простоты», «возвращения к состоянию простоты». Он описывает молодого человека, который впал в детство, играл в мяч и обруч, жестикулировал, а очнувшись, ничего этого не помнил.

Можно также выделить другую группу — мечтаний, воображаемых фиксированных идей. Люди воображают себе ситуации, которых не было, но которые вызывают у них эмоции и становятся чрезвычайно важными. Позвольте мне напомнить вам одно из первых наблюдений, сделанное мною в Сальпетриере, где в то время было так много больных. Несчастный отец семейства лет сорока только что потерял жену; он боялся отдать детей теще, позволить ей влиять на них, и эти страхи вызвали в нем очень странные нервные нарушения: у него отнялись обе ноги. Днем его надо было возить на каталке. Раз в две-три ночи он вставал с кровати очень тихо и совершенно спокойно передвигался. Он брал в руки подушку и все время ее ласкал. Случалось, он вылезал из окна, взбирался по трубе и прохаживался по крышам больницы. Его ловили, но это было непросто. Поймать его надо было довольно

быстро, потому что, если бы он проснулся в таком состоянии, у него мгновенно бы отнялись обе ноги, и он мог разбиться. Настигали его не без труда. Проснувшись, он не понимал, о чем его спрашивают, что от него хотят: ведь он парализован, как же он мог встать с кровати?

Эту сцену всегда вызывала одна и та же греза, весьма любопытная. Подушка в его левой руке — это его ребенок, которого нужно спасти от преследований мегеры, унести как можно дальше. Таков сомнамбулизм, порождаемый воображением.

Последняя группа — импульсивный сомнамбулизм. При этом больной оказывается жертвой какой-нибудь импульсивной идеи. Это, например, алкоголики, которым все время надо выпить. Часто алкоголизм принимает сомнамбулическую форму. Когда человек трезвеет, он ничего не помнит из того, что происходило.

Еще любопытнее случаи kleptomании. Будь у нас время, я бы рассказал об удивительных случаях. Есть молодые люди, которые все время воруют, сами того не сознавая, и украв что-либо у своих близких или даже у самих себя, начинают затем это искать. Мания кражи во время этих приступов принимает настолько сильную, непреодолимую форму, что человек может взять все, что угодно. Одного молодого человека, которого я наблюдал по этому поводу, это состояние обычно охватывало при виде bijuterии. Когда украсть драгоценности ему не давала какая-либо причина — охрана или ограждение, — он пытался украсть книгу, но она не влезала в карман, он не мог ее спрятать и клал на место. На другой день он обнаруживал, что его карманы набиты визитными карточками: из-за потребности украсть что-нибудь он попросту взял лежавшие на столе старые визитки. Он тратил бесконечно много времени на то, чтобы вернуть украденное.

В один ряд с этими сомнамбулическими приступами следовало бы поместить другое свойственное психастении явление, когда-то знаменитое, а сегодня почти забытое. Речь идет о так называемом бегстве (или фугах — *les fugues*), очень важном и интересном явлении. Человек вдруг уходит из дома, уезжает из страны, пускается в длительное путешествие и, придя в себя, с удивлением

обнаруживает, что он в другой стране, совершенно не понимая, как там оказался. Одно из первых описаний фуг, сделанное Леграном дю Соль в 1877 г., удивило и привлекло всеобщее внимание. Оно было таким странным, что его совершенно не поняли. Один француз очнулся в море недалеко от Бомбея. Оказывается, он взял лодку и отправился, не зная куда и зачем. Он не знал, что ему теперь делать.

В связи с этим случаем было опубликовано много чрезвычайно интересных подобных наблюдений сомнамбулических фуг. Мы и сами немало их изучали. В конце прошлого века медицинские журналы кишели случаями фуг, описывавшихся под названием расстройств перемещения. Об одном из любопытных примеров, над которым мне довелось работать, я уже рассказывал в прошлом году. Это fuga начальника железнодорожной станции, которого мы наблюдали у Шарко в последние годы его жизни, и случай которого потребовал большого труда.

Этот человек, очень уважаемый, интеллигентный, прекрасный работник, вел беспокойную жизнь. Он совершил экспедицию в Центральную Африку и подхватил малярию, время от времени сильно его беспокоящую. Однажды семья была в отъезде, вечером он был свободен и пошел к друзьям в кафе: выпил не так уж много, всего кружки две — не с чего было бы сильно пьянеть, немного поиграл в бильярд. Уходя, друзья сказали, что раз уж он один, они ждут его к ужину. Он ответил, что ему еще надо добраться до офиса, чтобы кое-что проверить, после чего с удовольствием к ним присоединится. Он вышел и, немного отойдя от кафе, почувствовал сильную боль в затылочной части головы, столь характерную для невропатозов, с которыми случается метаморфоза. С этого момента он больше ничего не помнил и не знал, что с ним происходило. Он вспоминал о пробуждении так: «Я теперь вспоминаю, что лежал на снегу, на земле, и пробуждение было очень тяжелым. Я встал, не понимая, почему я здесь, что я здесь делаю». Он увидел рельсы трамвайного пути и пошел вдоль них, поскольку не знал, где находится. Рельсы привели его к железнодорожному вокзалу Брюсселя (Северному вокзалу). Так, он покинул окрестности Парижа и дней через десять очнулся рядом с

вокзалом в Брюсселе. О периоде между этими событиями у него не осталось никаких воспоминаний.

Нам потребовалось три месяца, чтобы восстановить события этих десяти дней. Это было очень трудно. Вся история основывалась на бреде преследования. Он думал, что его преследуют, обвиняют в тяжких преступлениях, и спасался от жандармов. У него это так хорошо получалось, что целых десять дней он оставался инкогнито. В течение этого времени он совершал очень сложные действия. Сел на поезд, потратил деньги, пытался их заработать, нанимался на разные работы, даже в голландские колонии в Индии — к счастью, его не взяли. Он перепробовал массу вещей, и все это было совершенно забыто.

У нас была возможность довольно подробно ознакомиться на любопытном случае молодого человека, которого мы называли малышом Ру. Он умудрился раз семь или восемь покинуть Париж, стремясь добраться до моря. Во время своего расстройтва он перепробовал все работы: был бурлаком, тянувшим суда по каналам, работал в мастерской по реставрации фарфора, но ничего из этого не помнил.

В описании этих fuges есть психологический факт, который надо подчеркнуть. Я уже упоминал его, поскольку у нас была возможность к нему обратиться. Пробуждение этих двух больных характеризуется очень интересной особенностью: некоторая причина возвращала их к прежней жизни. Например, когда удалось восстановить воспоминания, начальник станции рассказал, как в истощении умирал с голоду на снегу и думал, что это конец его жизни, остается только ждать смерти. И ему в голову пришла совершенно естественная мысль о семье. Интересно, что за все эти десять дней он ни разу не вспомнил о жене и детях. Чувствуя, что умирает, он подумал: «Странно, что меня бросают умирать вот так, без всякой заботы, что рядом нет жены». А подумав об этом, он тут же очнулся.

Я вам также рассказывал о пробуждении того удивительного молодого человека, который три месяца провел в центральной Франции с реставратором фарфора. День у них выдался успешным, мастер сказал своему помощнику: «Мы хорошо поработали, выручили немало денег;

надо бы устроить роскошный ужин, потому что завтра 15 августа». Тот ответил автоматически, не думая: «Ведь это день рождения моей мамы». Произнеся эти слова, он с изумлением очнулся, не понимая, почему он здесь. Таким образом, эти фуги представляют собой важный патологический феномен, связанный непосредственным образом с моноидеистическим и искусственным сомнамбулизмом.

Мне не хотелось бы заканчивать, не сказав, пусть кратко, о другой форме сомнамбулизма, — вероятно, самой трудной для объяснения.

Первую группу мы назвали моноидеистическим сомнамбулизмом. Единственная идея наполняет все существо человека, и эта идея имеет такую значимость, что, когда она исчезает, сомнамбула сразу же приходит в себя. У начальника станции была идея о том, что он должен бежать от полиции, он не думал ни о чем другом, даже о своей семье. Мысль о семье пробудила его: он мог вместить лишь одну идею.

Сомнамбулизм может быть гораздо более загадочным и трудным для понимания: идей может быть много. Таким образом, следует выделить поли-идеистический сомнамбулизм с множеством сменяющихся идей, когда человек переходит от одной идеи к другой, несколько этим не обеспокоенный, не пробуждаясь. В качестве промежуточного вида я обычно приводил следующее наблюдение. Девушка страдала распространенным видом сомнамбулизма — сексуальным, касающимся сцены насилия или попытки насилия. Этот сомнамбулизм воспроизводит саму сцену, стоны, борьбу, страхи и т. д. Это моноидеистический сомнамбулизм; во время него она пыталась спастись, блуждала по закоулкам больничного двора и споткнулась о тачку. Она тут же взялась за ее ручки и начала возить.

Я отметил это и пришел к выводу, что сомнамбулизм изменялся без пробуждения больной, в зависимости от встреченного ею предмета. Она наткнулась на метлу и начала подметать. Сомнамбулизм может меняться под внешним воздействием. В какой-то мере именно это происходит при сомнамбулизме с множеством идей. Действительно, многие могут оставаться в аномальном состоянии довольно долго, что бы при этом ни происхо-

дило. Есть прекрасные тому примеры с сомнамбулами на консультации. Это происходит даже в больничных службах. Когда появляется странно выглядящая сомнамбула, другие больные, движимые связанными с сомнамбулизмом предрассудками, ждут от нее откровений. Они спрашивают ее о будущем, о замужестве и т. д., и это может продолжаться очень долго. Сомнамбула не приходит в себя, несмотря на все расспросы и изменения, происходящие в ее жизни.

Рассматривая столь многочисленные и разнообразные формы сомнамбулизма, можно попытаться их классифицировать. Одна из самых значительных из предпринятых классификаций основывается на факторе интеллектуальной активности во время аномального периода. Поведение одних сомнамбул в аномальном состоянии чрезвычайно рудиментарно, они способны лишь на очень ограниченный круг действий. Другие, напротив, прекрасно говорят, очень разумны, и иногда даже становятся более интересными людьми, чем обычно. Таким образом, существуют разные степени интеллектуальной активности. Когда-то принято было считать, — надо сказать, вполне справедливо, — что первая форма — низшие сомнамбулические состояния — проявляется в основном при эпилепсии, а более сложные связаны со сложными неврозами, объединенными под названием истерии.

Однако думаю, что было бы правильнее описывать их, опираясь на критерий памяти. Все сомнамбулические феномены связаны с очень сильной на первый взгляд амнезией, которая, впрочем, в большей или меньшей степени преодолима. Как правило, она легко проходит при изменении состояния сознания. Например, когда человек входит в новый сомнамбулизм, он вспоминает предыдущий. Когда его погружают в искусственный сомнамбулизм, он вспоминает то, что происходило в сомнамбулический период. Но есть особые сомнамбулические состояния, в которых припоминание невозможно. Воспоминания не возвращаются, несмотря на все усилия и жизненные перемены: так происходит при эпилептическом сомнамбулизме. Эпилептические фуги, как правило, достаточно просты, рудиментарны и характеризуются полной потерей памяти и невозможностью ее вернуть. И напротив, есть

формы сомнамбулизма, при которых появляются воспоминания.

Но важнейшей особенностью любого сомнамбулизма остается то, что после этого аномального периода человек не способен рассказать о происшедшем. Существование подобной амнезии всегда подвергалось сомнению. Я думаю, однако, что многие важные наблюдения свидетельствуют об очень высокой вероятности существования такой амнезии. Она странная, неравномерная: временами очень продолжительная, временами кратковременная; обычно воспоминание появляется через несколько дней или месяцев; в некоторых случаях его можно вызвать искусственно. Но более или менее сильная амнезия есть всегда.

Обычно, говоря об этих случаях, я вспоминаю некогда поразившее меня наблюдение, касающееся реальности и важности этой амнезии, — по крайней мере с психологической точки зрения и как невозможности для человека обрести эти воспоминания. С одной молодой парижанкой произошла fuga при весьма деликатных обстоятельствах. Ее брак был неудачным, муж собирался подавать на развод, и во время этих эмоциональных событий она ушла из дома. Она села в поезд на Лионском вокзале и провела в Марселе около десяти дней. Судья, в чьи обязанности входило рассмотрение документов на развод, проникся к ней симпатией и полагал, что никакой ее вины не было. Он был готов решить дело о разводе в ее пользу, но вынужден был сделать совершенно естественное замечание: «Нельзя решить дело в вашу пользу, пока мы не знаем, что происходило в течение тех десяти дней. В момент развода вы уехали и, никому не известная, провели десять дней в Марселе. Мы ничего не знаем о том, что произошло в этот период. Вы проиграете процесс, если не расскажете, что делали эти десять дней». Бедная женщина была ошеломлена. Она совершенно не помнила, что происходило в этот период: она вспомнила отъезд, знала, что добралась до Лионского вокзала, но на этом воспоминания обрывались. Вся ее жизнь, будущее были поставлены на карту, а она не могла совершенно ничего вспомнить. В этом состоянии ее привезли в больницу, чтобы прояснить эту странную амнезию, и мы смогли, — в том числе с

помощью гипноза, — восстановить память тех десяти дней. В данном случае налицо устойчивая амнезия, несмотря на огромное желание человека избавиться от нее, несмотря на все усилия рассказать о том, что произошло.

Таким образом, невозможность рассказать о некоторых событиях своей жизни — важный психологический феномен, наблюдающийся у некоторых людей. История их жизни отмечена весьма значительными нарушениями. Вслед за сомнамбулизмом мы рассмотрим другую группу патологических феноменов и посвятим следующее занятие такому загадочному явлению, как раздвоение личности.

4 МАРТА 1929 Г.

22. РАЗДВОЕНИЕ ЛИЧНОСТИ

Мы уже не раз отмечали, что путь науки извилист. Вопросы, будоражившие умы философов, ученых, почтенной публики, через двадцать лет по непонятной причине исчезают, вдруг начинают казаться незначительными, нелепыми, о них перестают говорить. А через сорок-пятьдесят лет эти же вопросы опять возникают и вызывают новый неподдельный интерес.

Это давняя мысль, о которой я столь часто говорю, сегодня проявляется в отношении раздвоения личности. Позвольте поделиться своими размышлениями.

В начале курса, планируя последовательность лекций, я, конечно, думал и о теме раздвоения личности, в которую включил множество разнообразных и важных материалов, которые дали бы возможность в течение четырех-пяти занятий обсуждать касающиеся этой темы мифы и факты. И вдруг у меня возникли сомнения. Вопрос о раздвоении личности, история некогда знаменитых персонажей, как мне представлялось, совершенно вышла из моды, оказалась за пределами сферы сегодняшних увлечений. Я подумал, что вам это совершенно неинтересно, и решил поэтому ограничиться одним занятием и сосредоточиться в первую очередь на процессе социального построения личности, что мы и сделали.

Однако как раз несколько недель назад я получил из Америки большой, в 300 страниц труд доктора Мортон

Принса, целиком и полностью посвященный проблеме раздвоения личности и выполненный на материале знаменитого случая мисс Бошан.

Во вступлении, которое я пока лишь бегло просмотрел, автор замечает, что в особенности в Америке эта проблема становится сегодня популярной. Он упоминает работы доктора Тейлора, доктора Уотермана, говорит о книге «Проблемы личности», которая должна была появиться в 1928 г. Одним словом, создается впечатление, что по меньшей мере в Америке проблема раздвоения личности возрождается. Это меня не удивляет. Я много раз повторял, что прежние темы нашей юности — гипнотизм, сомнамбулическое забвение, внушение — возрождаются повсеместно. Так что сегодняшнее занятие, посвященное раздвоению личности, представляет некоторый интерес, который позже возрастет.

Хотя наш обзор будет очень кратким, скажем в двух словах о восприятии этой исключительной проблемы. Речь идет об оценке личности другого. Как мы уже много раз говорили в этом курсе, личность всегда предстает с двух точек зрения: внешней и внутренней. Когда мы видим человека, то оцениваем, рассматриваем его как занимающего определенное место в общественной иерархии. Мы приписываем ему некие способности, придаем целостность и определенную идентичность. А затем мы делаем все то же самое по отношению к себе. Мы относимся к себе как к некоторому единству.

Когда личность рассматривают с субъективной точки зрения, расщепление личности часто описывают как одержимость. Одержимый выглядит как совершенно обычный человек, но жалуется, что кем-то захвачен, что в нем есть вторая личность, хотя на деле он ее ярко не проявляет. В своих жалобах он оказывается в довольно натянутой ситуации, почти комической: он сам изобретает вторую личность и сам о ней рассказывает.

Однако мы часто сталкиваемся с людьми, не говорящими о своей второй личности, но у которых она проявляется исключительно ярко. Тогда о раздвоении говорим уже мы, наблюдатели. И если обычно мы приписываем человеку только одну личность, то теперь перед нами — случаи расщепления на множество персон.

На каком основании мы считаем человека единым или разделенным? По каким признакам судим о раздвоении? Начинаем мы с физического облика. Человек предстает перед нами с одним телом, головой, лицом и двумя парами конечностей. В этом у нас нет сомнений. Человек, которого мы видим, совершенно нормален. Он сложен как единый, в нем нет подразделений, он — не какое-нибудь чудище о двух головах.

Неприятности начинаются, когда он начинает говорить, когда проявляются его установки. При раздвоении личности нет очень глубоких нарушений, человек не теряет телесной целостности, висцеральных чувств, нет проблем с так называемой синестезией. Раздвоенная личность отражает проблему речи, связанную с манерой человека изъясняться.

Что же особенного в этой манере? Такой человек кажется нам иным, не таким, как все, прежде всего из-за нарушений памяти. У нормального человека память может быть хорошей или плохой, но она распространяется более или менее равномерно на всю его жизнь. Если он обладает хорошей памятью, все или почти все воспоминания его жизни точны. А люди, о которых мы говорим, имеют совершенно явные лакуны памяти, которые, по-видимому, и создают внутреннюю расщепленность.

Людям известна их жизнь, но не жизнь других, и когда мы спрашиваем, что происходило несколько месяцев или лет назад, они могут прекрасно ответить: «Я занимался тем-то и тем-то», но поспешат добавить: «Мой сосед, мой брат делал что-то другое. Я не знаю, что именно». Мы обычно знаем свои действия и не ведаем действий других. Когда перед нами оказывается человек, находящийся в полном неведении относительно каких-то событий своей жизни, он ведет себя так, как если бы в этот период своей жизни он был другим человеком. Он понятия не имеет, что делал в прошлом месяце, как если бы речь шла не о нем самом, а о знакомом.

Важная особенность этих больных — локальные амнезии, распространяющиеся на тот или иной период жизни, удивительные своим полным забвением и кажущиеся непоправимыми. Всем известен — я не стану вдаваться в детали — случай Фелиды Х., описанный врачом Азамом

из Бордо. Согласно наблюдениям этого врача, женщина жаловалась на различные проблемы со здоровьем, в основном на проблемы с животом. Самое беглое обследование показало, что она беременна, и Азам решил ей об этом сказать. Но, видя ее характер и странный ход мыслей, он задумался. Эта женщина, казалось, ничего не знала ни об отношениях с человеком, от которого забеременела, ни о своей беременности. Она не имела никакого представления о некоторых событиях своей жизни, как если бы они произошли с кем-то другим. Таким образом, в ее памяти был явный пробел.

Лакуны может допустить в рассказе о своей жизни каждый человек, но у этих больных они весьма изменчивы. Доктор Азам рассказывает нам, как на следующий день больная пришла к нему, улыбаясь, и сказала: «Вчера я, должно быть, показалась вам довольно глупой. На самом деле, я и сама прекрасно знаю, что беременна, и прекрасно знаю почему, при каких обстоятельствах, и кто он». Таким образом, на следующий день она предстает человеком с другой памятью, знанием обо всех событиях своей жизни, о которых понятия не имела накануне. Иногда она игнорирует определенный период жизни, а в другие моменты он ей известен. Именно эта особенность очень важна и часто встречается.

Очевидно, забвение отрезка жизни может наступить во многих обстоятельствах, даже вследствие простого опьянения, интоксикации; локальные амнезии не являются чем-то экстраординарным. Странно то, что у этих людей локальные амнезии регулярны, происходят с математической точностью. Есть период, в котором амнезия существует, и есть период, когда ее нет. При всех обстоятельствах, различие между этими случаями амнезии проявляется в возвращении воспоминаний. Оно неодинаково в разных случаях и может происходить в разной форме.

В простейшем случае возвращение одних воспоминаний происходит с исчезновением другой категории воспоминаний. Человек, бывший в полном неведении о целом годе своей жизни, на завтра прекрасно его помнит, но в этот момент забывает другую часть жизни, соответствующую другой личности. Одним словом, в простей-

шем случае человек предстает перед нами как бы двумя разными людьми, обладающими разной памятью. Если я спрошу одного о вчерашних событиях, он расскажет только то, что видел именно он. Спрошу второго, — он расскажет о других деталях, но не сможет вспомнить то, о чем говорил первый. Можно сказать, что здесь две памяти, сменяющие друг друга и охватывающие разные периоды жизни.

Подобные чистые случаи встречаются довольно редко. Многие описанные сорок лет назад примеры раздвоения личности так или иначе связаны с классическим случаем дамы Мак Ниша, который был описан в 1844 г. У дамы Мак Ниша в течение всей ее жизни в явной форме наблюдалось регулярное чередование воспоминаний. В течение определенного периода она могла рассказывать об одном дне, назавтра — о другом, но при этом воспоминания о предыдущем дне оказывались потеряны, и так на протяжении всей жизни.

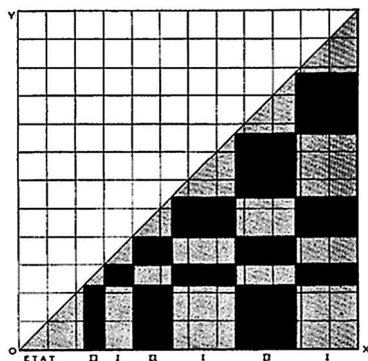
Этот случай, который описали Мак Ниш и доктор Потт, два американских врача, был изучен лишь поверхностно. Через несколько лет Вейр Митчел описал женщину, названную им Мэри Рейнольдс. Ее случай гораздо лучше объяснен, более полон и в целом более интересен. Речь идет о женщине, с юности подверженной приступам истерии и сна, после которого она просыпалась в особом состоянии — оживленная, веселая, деятельная и, что самое главное, обладающая особой памятью. В этом втором состоянии, описанном Вейром Митчелом, женщина помнила один период жизни и совершенно не помнила другой.

Долгое время, особенно во Франции, случаи Мак Ниша и Вейра Митчела считались разными. Поскольку такого рода яркие случаи очень редки, интересно было найти два наблюдения, которые подтверждали бы друг друга. Я довольно часто рассказывал вам, что лет тридцать назад сын Вейра Митчела написал мне письмо, объясняя, что мы во Франции ошибаемся, и наблюдения его отца и Мак Ниша были сделаны на одном человеке.

На самом деле в медицинской литературе чрезвычайно мало наблюдений таких чистых случаев. Их можно описать с помощью графика, хорошо вам известном по

принципам, о которых мы говорили в прошлом году и которые вы найдете в изданном курсе наших лекций о Времени и Памяти.

Вы знаете, что, пользуясь методом графического представления материала, можно представить периоды забвения штриховкой, а памяти — светлыми отрезками. У больных чистого типа не существует темного периода, который бы совпадал со светлым, и график выглядит как шахматная доска. Темные клеточки, обозначающие амнезию, располагаются против светлых, обозначающих память: это регулярное разделение жизни.



К этой группе можно отнести лишь немногие случаи: например, знаменитый случай американского пастора Анселя Борна. Вам известна эта история: она играет значительную роль в трудах Джемса и действительно очень необычна. Этот знаменитый протестантский пастор обладал особо эмоциональным характером. У него случались приступы паралича, мутизма, которые исцелялись только своего рода религиозным обращением. Когда он не мог больше произнести слова, его сажали на стул посреди храма, и производили вокруг него некую церемонию. Тогда, чрезвычайно взволнованный, он вскрикивал и обретал дар речи. Таким образом, это была совершенно особая неуравновешенность. Эта необычная история попала во все психологические работы.

В один прекрасный день после церемонии он исчез. С ним случилась fuga, о которой я рассказывал на прош-

лой лекции. Его не могли найти, не знали даже, жив ли он. Только через три-четыре месяца он вернулся в свой приход, очень удивленный тем, что произошло, и не мог сказать, где он был все это время.

Выяснилось, что с ним произошли странные вещи. Он приехал в маленькую деревушку, находившуюся довольно далеко от его города, с мешочком всяких мелочей, купленных в соседнем городке, арендовал магазинчик и занялся продажей косметических товаров, сладостей и детских игрушек. Как ни странно, его торговое предприятие пользовалось успехом. Время от времени он покидал свой магазинчик и ехал в соседний город сделать закупки; возвращаясь в деревню, он жил жизнью скромного торговца. Соседи считали его очень благоразумным, добропорядочным, он был хорошо принят в деревне, где его предприятие приносило пользу.

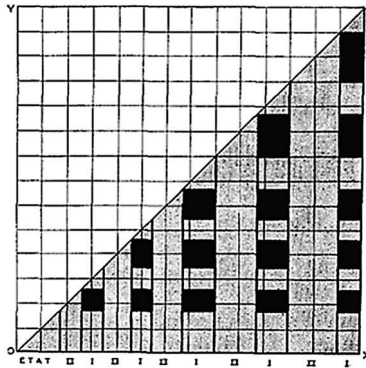
Через три-четыре месяца одним прекрасным утром он проснулся, совершенно не понимая, где он и что делает в этом месте. Он вернулся в свой город, где служил священником, с мыслью снова заняться своим делом. Так, он перешел от жизни мелкого коммерсанта к жизни протестантского пастора. У него была полная амнезия в один период жизни в отношении второго.

Среди других наблюдений, довольно тесно связанных с этим, можно назвать, например, опубликованные Шарко случаи Маргарет Д. и Аб. Вы найдете их подобные описания в трудах Гинона, тридцать пять лет назад собравшего в основном случаи сомнамбулизма и раздвоения личности, сделанные в Сальпетриере

Однако эта форма раздвоения личности с чередованием двух непересекающихся, изолированных памятей очень редкая. Я бы даже сказал, что мне она представляется немного сомнительной. Эти наблюдения неполны и трудны для понимания. Раздвоение личности обычно проявляется не так и принимает другую форму, опять-таки с точки зрения памяти.

Для этой второй формы, которая представляется более сложной и, возможно, более психологичной, — во всяком случае, несколько более нормальной, — характерно, что забвение периода жизни существует в течение некоторой фазы, которая периодически возвращается. Между при-

ступами амнезии есть другие периоды, на которые амнезия не распространяется, когда память полная и человек помнит всю свою жизнь.



[ПЬЕР ЖАНПЕ]

Мы можем взять в качестве примера замечательное наблюдение Азама, случай Фелиды X. Вы прекрасно его знаете. Речь идет о невротичной даме, у которой наблюдалось все многообразие симптомов, когда-то называемых истерическими, и у которой с пятнадцати-шестнадцати лет были периоды истерического сна, продолжавшиеся два, три, четыре дня. После этого сна она просыпалась с очень существенными, на мой взгляд, изменениями. Она становилась более веселой, активной, лучше себя чувствовала и жила в более ясном сознании и с более обширной памятью. Через несколько часов — а затем дней и даже месяцев — приходил новый сон, и она снова впадала в прежнее состояние с характерной для него апатией, печалью, нервными расстройствами. Но в этом новом состоянии печали она совершенно забывала более живой, активный предшествовавший период. Одним словом, период печали сопровождался амнезией всех активных периодов жизни, а в активные периоды амнезии не наблюдалось: напротив, она обретала полную память о всей своей жизни.

По вышеописанной схеме ее жизнь может быть разделена на последовательные периоды: с более или менее серьезной амнезией и полной памятью. Эта форма личности с чередованием забвения и ясности гораздо более

распространенная и интересная. Ее изучали со всех сторон. Можно набрать около сотни случаев. Доктор Дюфэ, например, описал знаменитый случай Розали. Известная американская сомнамбула и ясновидящая, Пейпер, — случай того же рода.

Таковы два типа раздвоения личности или по крайней мере два типа нарушений памяти, которые положили начало исследованиям этого феномена. Между этими двумя крайними вариантами оказывается множество, как правило, гораздо более сложных случаев. Встречается все разнообразие нарушений памяти, и полное их описание потребовало бы сотен страниц и самых разных схем. Например, можно упомянуть описанный Доктором Камюзе в 1882 г. некогда знаменитый случай Луи Виве. Этот молодой человек вел четыре или пять психологических жизни. У него была память лишь об определенном периоде жизни: временами он помнил, что с ним было в шесть-семь лет, временами — о том, что было в девять лет, а иногда — в двенадцать. Каждый период соответствовал особому состоянию. Нужно было вернуться в него, чтобы вернуть и память того или иного возраста.

Раздвоение личности связано с более или менее выраженными расстройствами памяти. По этому поводу есть наблюдения, ценность которых еще предстоит осознать. Они уже немного устарели, не всегда были сделаны достаточно компетентными наблюдателями, и подчас действительно странные, так что я бы хотел обратить ваше внимание на несколько особо интересных случаев. В частности, я недавно получил небольшую американскую книгу с громким названием «Молли Фанчер, бруклинское чудо». Эта книга о молодой женщине, которую на самом деле звали Мэри Дж. Фанчер. История этой несчастной невероятна. Тридцать лет она предстала перед своей бедной семьей и людьми, терпеливо это переносящими, в совершенно необычной чередой долгих (один из них длился девять лет) или более кратковременных (от полугода до года) последовательных воплощений. Она впадала в разные состояния, отличившиеся не только психологически, но и физически. У нее были необычайные контрактуры с закинутыми за голову руками, и она годами оставалась в таком положении. В другой период затвердевали ее ноги.

Иногда она не могла есть и спать. И во время каждого нового периода она рассказывала новую историю своей жизни, представляя другим человеком.

Молли кажется мне женщиной с богатым воображением, поскольку она давала себе различные, очень поэтические имена в зависимости от состояния, в котором находилась. У нее было шесть персонажей. Первый — Молли, второй — Луч Солнца, третий — Идол, четвертый — Розовый бутон, и еще — Жемчужина и Рубин. Каждый полностью менял особенности личности, память и телесные функции. Это был настоящий калейдоскоп.

Недостаток этого небольшого труда под редакцией Абрахама Дэйли (1894) в том, что его автор не подвергается никакому сомнению то, что у нас особого доверия не вызывает. Тон его повествования восторженный, даже мистический. Такова манера людей, руководствующихся своими личными, дорогими для них убеждениями и пытающихся навязать их всем остальным. Можно было бы подумать, что для этого автора важнее не вылечить свою больную, а вызвать все больше и больше превращений.

А теперь вернемся к современному наблюдению, столь часто приводимому в трудах Мортон Принса: это знаменитый случай мисс Бошан. Подобно Молли, мисс Бошан имела целую коллекцию из шести-семи персонажей, совершенно различных по своим воспоминаниям, поведению, тому, как они представляли перед наблюдателем. Мортон Принс был по-настоящему пленен ею и изучал очень долго. Именно в связи с этой работой он создал несколько теорий личности и сознания. Среди множества персонажей, так сказать, поделивших душу бедной мисс Бошан, есть один, удивительный по своему замыслу и поведению: этот персонаж вдохновил Мортон Принса, давшего ему английское имя Салли.

Салли действительно очень любопытный персонаж. Если мисс Бошан в своем нормальном состоянии рассудительная, уравновешенная, очень правильная, всегда серьезная и немного печальная, то Салли, по словам Мортон Принса, — сущий чертенок. У мисс Бошан три основных персонажа: ангел, черт и женщина. Она переходит от одного к другому, и у каждого есть свои странности. Салли в основном шалит, и, что интересно, она шалит

как раз в отношении хозяйки. Больше всего она терзала мисс Бошан; она только и делала, что потешалась над ней. Это очень печально для несчастной девушки. Мисс Бошан ужасно боится червяков, насекомых, пауков, — и это ее право. Салли только и думает о том, как бы собрать пауков и червей, запихнуть в маленькие коробочки и положить в карманы мисс Бошан. Это легко, потому что у нее — та же одежда, и потому что она обитает в мисс Бошан. Червяки и пауки приводили в ужас несчастную, когда она их обнаруживала. Однажды Салли сыграла с ней злую шутку: она заставила ее выйти из дома без сумочки, сесть в трамвай, который шел за город и продержала ее до конечной остановки. Там Салли вышла и исчезла, оставив бедную мисс Бошан, ненавидящую ходить пешком и страдающую от проблем с ногами, совсем одну, за многие километры от города. Мисс Бошан вынуждена была возвращаться пешком, преодолевая жуткую боль. Одним словом, Салли постоянно совершала выходки в отношении своего главного персонажа.

Мортон Принс тщательно изучал этих разных персонажей и пытался объяснить в своей теории, что происходит с Салли. Если других персон — а их было довольно много, по крайней мере шесть или семь, — он рассматривал как расстройства памяти основного персонажа, — а такое может случиться со всеми нами, — то Салли он назвал подсознательным. В целом Принс принял наши давние представления 1889 г. о подсознательных состояниях и рассматривал подсознательное как персонаж, который существует ниже уровня сознания и сопровождает все наши действия, иногда проявляя себя неадекватным образом.

Итак, все случаи можно разделить на три класса: реципрокный сомнамбулизм с регулярными амнезиями для каждой личности; доминантный сомнамбулизм с амнезией только у одной личности и отсутствием таковой у другой; и множество смешанных, промежуточных форм.

Но мы судим об окружающих нас людях не только по их воспоминаниям, но и по их характеру, чувствам. Поведение человека — неотъемлемая часть его личности. Мы привыкли, что один человек с нами любезен, а другой часто агрессивен, один — веселый, а другой

грустный. У нас есть сложившиеся представления об их характере. Так вот, при раздвоении личности характер совершенно меняется, переворачивается с ног на голову. История Фелиды нас к этому уже приучила. В одном из состояний, которое Азам называет первым (я бы скорее назвал его вторым, но это не важно), Фелида апатична, печальна, безжизненна, бесстрашна. В другом состоянии, которое Азам называет вторым, Фелида, напротив, очень активна, подвижна, деятельна, предприимчива, весела. Все меняется, и именно эти изменения нрава навели на мысли о раздвоении личности.

Эти огромные перемены в поведении человека представляют еще не решенную проблему. Некоторое время после работ Азама данные трудности игнорировались под тем предлогом, что это расстройства, странные верования, на которые влияло и окружение и сам врач. Больным это просто внушили, они поверили и в это играют; это просто комедия, не стоящая и выеденного яйца. Именно такие аргументы когда-то привели к отказу от этой проблематики, чему, возможно, способствовало и то, что психологические исследования тогда до нее не дотягивали. Но такое объяснение недостаточно. В раздвоении личности есть нечто более серьезное: нельзя все объяснить внушением. В случае Фелиды Х. врач сам был удивлен, когда увидел странные симптомы, возникающие чаще, чем думают, и соответствующие нарушениям психологической силы. Невозможно полностью устранить проблему.

Было выдвинуто много объяснений. Есть претенциозные гипотезы — мы их упомянем, но не будем подробно останавливаться, — исходящие из двух противоположных философских позиций: грубо материалистические и с претензией на метафизику и спиритуализм. И те и другие страдают одним недостатком: не скажу, что они ложные, поскольку никто не знает абсолютной истины, но они непомерно амбициозны и проблемы не решают.

Первое объяснение было очень распространено, но сегодня звучит нелепо: это объяснение, апеллирующее к двум полушариям головного мозга. Анатомы всегда были склонны придавать материальную и физическую форму тем явлениям, которые наблюдали у своих испытуемых. Они не успокоятся, пока не локализуют те или

иные наблюдаемые ими расстройства в некоторой части нервной системы. При раздвоении личности перед нами две персоны; головной мозг состоит из двух полушарий. Итак, все очень просто: одна личность сосредоточена в одном полушарии, а другая — в другом. Эта гипотеза, высказанная английским анатомом Виганом, развивалась Майерсом и многими другими. Во Франции ее высказывал Браун-Сегар. Полагаю, что она не имеет особой ценности, во всяком случае анатомической. Хорошо известно, что подавление активности половины мозга вызывает определенные моторные и сенсорные нарушения. Кровоизлияние в мозг, разрушающее одно полушарие, приводит к особой форме гемиплегии — гемианопсиям, таким как нарушения зрения, ограничение видения только одной — правой или левой — стороны. Одним словом, существуют явные физиологические симптомы, связанные с подавлением функции одного полушария и функционированием единственного полушария. Однако в случаях раздвоения личности мы никогда не сталкивались ни с настоящими гемиплегиями и гемианопсиями, ни с подлинно физиологическими симптомами, которые бы соответствовали подавлению функции одного полушария.

Отвергая анатомическую гипотезу, интересную разве что для истории, литературы и эрудиции, следует также сторониться аргументов метафизических и религиозных, которые выдвигаются при обсуждении этих случаев и представляют свои «за» и «против». Мне вспоминается, в частности, статья, появившаяся в «Journal des Pères de la Compagnie de Jésus» («Журнал Отцов братства Иисуса») и написанная преувеличенным, напыщенным тоном. Автор статьи обличал случаи множественной личности как вызов религии и духовности. На самом деле, ничего подобного в них нет: не стоит так обижаться и защищать религиозную веру от плохо понятых медицинских наблюдений. Это ребячество. Ведь здесь не демонстрируется ни уничтожение души, ни существование множества душ. Понятие души относится к совершенно другой области исследования. Понятие души — метафизическое выражение принципа целостного организма, принципа жизни. Можно предположить, что душа — едина, как можно предположить, что их тысяча. Но в любом случае это расстройство не

является метафизическим, не затрагивает принципа души, а связано с особой формой выражения личности. Эти наблюдения служат одной цели: они подкрепляют то понимание личности, которое я пытаюсь вам изложить.

Личность, с моей точки зрения, — не двойник, не калька некой метафизической сущности — ни материальной, ни духовной. Есть душа или нет — отдельный вопрос, не имеющий никакого отношения к личности. Личность соответствует телу не более, чем душе. Она — человеческое творение, конструкция, создававшаяся людьми с помощью имеющихся у них средств. Принцип жизни, каким бы он ни был, привел к понятию тела, языку, движениям, обществу; благодаря речи, движениям, обществу возникли условия для того, чтобы человеческий разум создал личность. Личность — это произведение искусства, создаваемое людьми, — лучше или хуже, более или менее полно и совершенно, — но она ничего не говорит о метафизическом принципе нашего бытия.

Вот почему мы должны отвергнуть старую концепцию, когда-то названную полизоизмом. Многие авторы, ссылаясь на знаменитого магнетизера Дюрана де Гро, говорили, что живое существо состоит не из одной, а из сотен, тысяч душ, по-разному соединяющихся. Шесть или семь личностей мисс Бошан, с этой точки зрения, — проявление части этих душ. Но все это довольно наивно и совершенно игнорирует проблему. Следует поставить ее по-другому.

Позвольте в завершение напомнить об одном из моих давних наблюдений, о котором мы поговорим подробнее в следующий раз. Во втором издании «L'état mental des hystériques» (1911, с. 545) вы найдете главу «Искусственная Фелида». Одна больная, которую я наблюдал в течение семнадцати лет, вплоть до смерти испытывала исключительные психологические расстройства, вызванные истощением, прогрессирующим туберкулезом, самыми разными физическими нарушениями, которые, очевидно, повлияли и на мозговую деятельность. Эта женщина, если ею не занимались, скатывалась все ниже и ниже; ее нервная активность настолько снизилась, что она стала неспособна на самые необходимые для жизни физиологические операции. Висцеральные, абдоминальные функции исчезли;

больная не могла испражняться, мочиться, двигаться, и прежде всего она совершенно не могла есть. Функция питания весьма любопытна: для нормального человека она кажется естественной, но исчезает при некоторых формах нервного истощения.

В явлениях анорексии есть проблема, по-видимому, уникальная. Отмечу, в частности, что у этой дамы, которую я описал под именем Марселины, была особая наследственность. Среди членов семьи, — а главных я описал (родители, дяди, тети, бабушки и дедушки), — было семь случаев нарушения пищевого поведения, неспособности есть, неукротимой рвоты, как если бы функция питания была связана со всей нервной деятельностью и у некоторых людей исчезала. Есть люди, которые рождаются без музыкального слуха и неспособны отличить одну ноту от другой; есть дети, которые рождаются глухими или немыми; есть — хотя и реже, поскольку это приводит к смерти, — такие, кто рождается с отсутствием функции питания. Неспособность питания была характерной чертой Марселины. Когда она оказывалась на грани полного истощения, у нее наблюдалась вялость, медлительность, общая грусть и очень странные амнезии: она забывала большие периоды своей жизни.

В упомянутой мною статье я описал приступ амнезии, охвативший девять лет. Она вдруг забыла девять лет своей жизни и больше не знала, как себя вести, потому что за эти годы произошли события, изменившие ее социальное положение. Она работала в каком-то управлении, затем ее повысили, дали другую форму, соответствующую ее должности. Она не хотела ее принимать, не хотела выполнять новые функции, забыла все, что в течение девяти лет составляло ее жизнь. Таким образом, период истощения, среди прочего, повлек за собой любопытные нарушения памяти.

Однако для возбуждения сознания Марселины существовали и искусственные средства. Вам известно — и мы поговорим об этом, возможно, в следующем году, — что психические силы бесконечно многообразны. Они повышаются и снижаются под воздействием факторов, о которых мы мало что знаем. Существует важный феномен — возбуждение. Нас возбуждают физические вещества

(к примеру, алкоголь) или психологические средства (комплименты, поздравления, разнообразные эмоции, а иногда даже опасность, приказы или угрозы). Эти стимулы до некоторой степени нас меняют.

Эта несчастная женщина совершенно изменялась под любым психологическим воздействием — как гипноза или раздражения чувств, так и угрозы, эмоции и т. д. Эти воздействия полностью меняли всю ее жизнь, характер. Она становилась веселой, деятельной без всякой связи с предшествующим состоянием. Но самое странное, что такие воздействия полностью меняли состояние ее памяти. Забытые девять лет неожиданно возвращались, и она обретала полноту воспоминаний. Одним словом, в этом случае нам удалось получить те же состояния, что наблюдались у Фелиды: периоды депрессии, грусти, пассивности и совершенной амнезии сменялись периодами возбуждения с веселостью, активностью и полной памятью. Интересно, что эти периоды не были в полной мере естественными. Они не приходили спонтанно, как это было у Азама: их можно было вызвать искусственно.

Это наблюдение указывает на то, что мы имеем дело не с глубинными метаморфозами нервной системы или души человека, а с определенной более или менее значительной деятельностью, связанной с памятью. Раздвоение ставит нас перед вопросом о роли памяти в личности. Именно память, как мы уже отмечали, придает человеку новую целостность. Помимо единства телесного и социального, память призвана придать человеку единство во времени. На следующей лекции мы обратимся к биографии — истории человеческой жизни, которую каждый из нас несет в себе.

11 МАРТА 1929 Г.

23. БИОГРАФИЯ

Наше беглое описание раздвоения личности продемонстрировало особую функцию памяти, ее роль в изменениях личности. Прежде всего я отметил, что нарушения при раздвоении личности на самом деле не так глубоки, как может показаться. Они не так уж сильно меняют человека. Глядя на него, мы видим то же лицо, тело, слабые

и сильные стороны, в целом — те же ум, знания или невежественность. Если в одном состоянии человек говорит на иностранном языке, то владеет им и в другом, если же нет, — не станет знать больше. В измененном состоянии чудесных способностей не появится.

Проблема раздвоения личности кажется мне связанной с двумя неравнозначными вопросами, с которыми следует разобраться.

С одной стороны, — и это один из важнейших феноменов — речь идет о нарушении чувств. Во всех случаях раздвоения личности отмечают различие характера и эмоциональных склонностей. Это видно и в случае Фелиды Х., и в случае Молли Фанчер, а также во всех наблюдениях, о которых я вам рассказывал. Обычно грустный, спокойный, малоподвижный, страдающий страхом действия человек в другом состоянии личности, наоборот, предприимчив, усерден, активен, иногда даже чрезмерно.

Возьмите наблюдение Азама — историю Фелиды — или знаменитую сомнамбулу, даму Мак Ниша, первый описанный случай взаимодополняющих состояний. В одном состоянии женщина неподвижна и всего боится; в другом — активна, гоняется за дикими животными, борется, скачет на лошади. Основное различие — именно в этом, в двух формах активности и соответствующих им чувствах. Чувства, а им мы уделили довольно времени, служат регуляторами деятельности, то прекращающейся и затихающей, то развивающейся бурно и преувеличенно.

Значительные изменения чувств происходят при странной и, к сожалению, распространенной психической болезни: я имею в виду периодические психозы. Несколько месяцев человек подавлен, меланхоличен, малоподвижен, не решается ничего делать, а другие несколько месяцев, напротив, становится невыносим из-за своих амбиций, активности, трат.

Чередование двух психических состояний и двух регуляторов действия встречается очень часто и играет важную роль в сегодняшней психической патологии. Как я писал уже давно, в 1911 г., во втором издании книги «Психическое состояние больных истерией», случаи раздвоения личности — это в целом случаи периодического психоза. Именно в этом суть явления. Я попытался показать это

в связи с больной по имени Марселина, у которой были разные периоды. Она могла впасть в полную инертность и нечувствительность, забыть о себе или, наоборот, прийти в возбуждение, активность и состояние совершенно особой приподнятости духа. Раздвоение личности, по сути своей, — особая форма периодического психоза.

Но этого недостаточно, поскольку периодические психозы, столь распространенные, сами никогда не приводят к раздвоению личности. Люди, впадающие сначала в состояние меланхолии, а затем маниакального возбуждения, сохраняют ту же личность. Они всегда считают себя той же личностью, и хотя и говорят о «себе грустном» или «себе веселом», но себя не разделяют.

В раздвоении личности есть нечто большее: к нарушению чувств добавляется нарушение памяти. Раздвоение личности представляет собой сочетание периодического психоза с особой болезнью памяти. Фелиду и подобных ей больных характеризует не то, что у нее бывают периоды меланхолии и возбуждения, а то, что в каждый из этих периодов она обладает особой памятью, — вот в чем суть. Однако память при раздвоении личности требует некоторых оговорок, осмотрительности.

Не будем спешить, заявляя, что память меняется полностью, — прежние воспоминания разрушаются и исчезают. Очевидно, это не так. Воспоминания не разрушаются, ведь через две недели они появятся снова. Они продолжают существовать в некоторой форме, остаются в латентном состоянии, как это происходит со всеми нашими психическими функциями. Мы в принципе умеем ходить, ездить на велосипеде, разговаривать, но в данный момент вы же не едете на велосипеде, не разговариваете; у вас есть психологические функции в латентном состоянии, — как и воспоминания Фелиды, остающиеся латентными полтора или два месяца. Это не что иное, как приостановка функционирования.

Множество опытов, сделанных в эпоху увлечения этой проблемой показывают, что эти изменения памяти при раздвоении личности не столь глубоки, как полагают. В период амнезии, когда больные, казалось бы, находятся в неведении о событиях нескольких месяцев своей жизни, можно с помощью разных приемов доказать существование

этих воспоминаний. Воспоминания не обнаруживают себя, но их можно вызвать к жизни. Мы изучали эти процессы с помощью разных гипнотических практик, автоматического письма, обращенных к подсознательному расспросов. Каждый раз обнаруживается устойчивость воспоминаний.

Вы увидите это в описанном Шарко знаменитом случае мадам Д. Эта дама, казалось, полностью утратила все воспоминания. Мы показали, что у этой женщины забвение не было полным. Она, казалось, ничего не знала о своей жизни в больнице, но, наблюдая за ней, можно было заметить, что она садилась все время рядом с теми же людьми: значит, она их узнавала. Она прекрасно находила свою кровать, если, конечно, ее не просили об этом специально. Автоматическое, привычное действие прекрасно ей удавалось. Многие действия были сохранены. Вызвать в ней воспоминания можно было способами, исключаящими усилия внимания, в частности чем-либо ее отвлекая.

Когда-то я развлекал персонал больницы, показывая, как можно заставить эту даму рассказывать о своей жизни в то время, когда она, казалось, не хотела этого делать. Если ее прямо спрашивали: «Как зовут ваших соседей по палате?» — она не могла ответить: у нее была полная амнезия, она даже не помнила, что находится в больничной палате. Но воспользуемся отвлечением. Дадим ей карандаш и попросим заняться сложением. Пока она трудилась, человек вставал позади нее и очень тихо спрашивал: «Как зовут вашу соседку справа?» или «Как зовут вашу соседку слева», и она, не замечая того, не обращая внимания, прекрасно отвечала на эти вопросы. Таким образом, воспоминания существуют, их можно вызвать, они время от времени проявляются, — просто в некоторых обстоятельствах создается впечатление, что они исчезли.

Кажущееся исчезновение и появление воспоминаний, изменения того, как они представлены, зависят от нарушения способности к повествованию. Как мы говорили в прошлом году, повествование — существенный феномен памяти. Когда мы вспоминаем период своей жизни, мы рассказываем его самим себе, как если бы перед нами был слушатель; мы создаем рассказ, и хорошая память — вид литературного таланта, таланта рассказчика. Помогая ребенку рассказать о том, что он делал, когда играл в саду

на Елисейских полях, взрослый, по всей видимости, учит его создавать рассказ, литературное повествование. Необразованные люди отнюдь не страдают амнезией — они плохо владеют рассказом и в результате очень плохо рассказывают свою жизнь. Это видно в больнице: от больного невозможно добиться рассказа о жизни, даже о том, чем он болел или же о произошедших с ним важных событиях. Он не может этого сделать, в частности совершенно не способен упорядочить события. Так как сам он не умеет этого делать, рассказ о его жизни приходится создавать. Болезнь раздвоения личности — это нарушение таланта рассказчика, неспособность к повествованию и рассказу. Однако здесь речь идет о нарушении особого рода, не похожем на другие.

Когда в прошлом году мы изучали формы организации памяти, то видели, что они очень многочисленны и разнообразны. Самая простая из них — понятия до и после. Это классификация событий в определенном порядке. Я предлагал вашему вниманию психологическую интерпретацию — возможно, несколько приблизительную, — того, как создаются понятия до и после. Я говорил, что феномен ожидания — один из важнейших в жизни. Мы или ждем чего-то, или уже не ждем. В зависимости от этого совершенно меняется наше поведение: мы скучаем или радуемся, и наоборот. Наша жизнь изменяется в зависимости от феноменов ожидания, многочисленных и принимающих самые разные формы — надежды, отчаяния, усталости и т. д.

Когда мы рассказываем историю слушателям — подобно тому, как принимались рассказывать своей диковатой публике о событиях прошлого древнегреческие поэты-аэды, — мы должны, чтобы заинтересовать слушателей и внушить им определенные чувства, пробудить у них ожидания и привести эти ожидания к решению. Если вы рассказываете истории, не формируя у публики никаких ожиданий, ей неинтересно, она не понимает смысла и жалуется, что вы начали с конца. Вы говорите, что герой и героиня поженились: ну и хорошо, вот и конец. Теперь уже поздно рассказывать об ухаживаниях и пережитых трудностях, это совершенно неинтересно. Первые поэты осознали необходимость

ожидания интересного события, что явно у Гомера и во всех древних поэмах.

Как можно заставить ждать? Только умалчивая о событии, в отношении которого вы хотите сформировать ожидание. Нужно, чтобы это событие предчувствовалось, чтобы слушатели догадывались о том, о чем прямо не упомянуто. В результате совершенно необходимо рассказать историю о том, что случилось до и после. Повествованию, рассказу нужен порядок. Если не ошибаюсь, эти важные понятия — до и после, последовательности событий — не что иное, как литературные привычки, изобретенные в целях повествования и затем перенесенные на внешний мир.

Последовательность рассказа сохраняется при раздвоении личности. Когда этих людей спрашивают о периоде жизни, который они помнят, они прекрасно рассказывают все по порядку. Они способны последовательно рассказывать о событиях. Их трудность не в этом.

В прошлом году мы говорили и о втором феномене, имеющем для памяти огромное значение, окрестив его несколько искусственным термином презентификации (*la présentification*, от франц. *le présent* — настоящее время. — Прим. перев.). В повествовании, рассказе необходимо создать понятие настоящего. Я не буду возвращаться к этой проблеме. Мы посвятили ей много лекций, и на самом деле она очень сложна. Напомню лишь основную идею. Презентификация связана с весьма любопытной, но часто игнорируемой проблемой. Одна из сложностей человеческой жизни заключается в существовании двух способов, форм жизни, которые необходимо соединять, упорядочивать. У нас есть движения и слова. Изобретение речи свойственно человеку, отличает его от животных. С развитием элементарных интеллектуальных функций речь постепенно приобрела такую важность, что мы уже привыкли давать всем совершаемым нами действиям вербальное выражение. У нас два способа жить: действия и слова. К сожалению, жить в словах хотя и удобно, но не всегда полезно. Так, наши связи с природой — вне социальных отношений, не предполагают использование слов. Природа в отличие от людей словам не подчиняется. Она толкает нас на физические акты, движения рук и ног; она понимает только это и не умеет разговаривать. Так, мы

вынуждены, несмотря ни на что, сохранять что-то физическое. Возникает проблема отношений между сохранившимися физическими действиями и словами, столь удобными и легкими, с помощью которых мы предпочитаем жить.

Проблема отношений физического действия и языка имеет разные аспекты. В прошлых курсах мы посвятили много времени проблеме веры, которая обычно так плохо излагается. Проблема веры — это проблема связи между словом и действием. Когда человек говорит: «Я в это верю», — он как бы дает обещание действовать. Он верит, что такой предмет существует, как бы говоря: «Я утверждаю, что могу вас к нему подвести и вам его показать». Всякое верование — это обещание действия в определенных обстоятельствах, союз между двумя столь отличающимися друг от друга способами жить.

Проблема объединения речи — жизни слова — и жизни, совершающейся с помощью мускулов, встает в отношении памяти, как и всего остального. Если не ошибаюсь, примитивная память не зависела от действия. Действительно, аэды рассказывали, чтобы развлечь и объединить своих слушателей. Память первоначально была игрой. Благодаря искусству поэта слушатели переживали возбуждающие их чувства — плакали или радовались триумфу. Но постепенно, поскольку в целом память состояла из рассказов о жизни, возникла необходимость объединения и приложения этих рассказов к жизни. Чтобы память была полезной, ее надо объединить с действием. Именно это происходит в настоящем.

В акте настоящего, когда мы совершаем действие, у нас есть рассказ об этом действии. Например, сейчас я рассказываю что-то вам, но в какой-то момент могу сказать себе: «Я читаю лекцию в Коллеж де Франс». Именно этот момент называют настоящим. Настоящее не существует постоянно. Мы не говорим себе все время: «Я иду по улице, я ем и т. д.» Но время от времени мы останавливаемся, чтобы создать рассказ в момент совершения действия, чтобы их объединить. Эта работа объединения рассказа с моментом настоящего имела очень важные следствия. Именно она создает то, что мы в прошлом году назвали последовательной памятью, в отличие от памяти непоследовательной. Рассказы древ-

них поэтов относились ко второму виду, поскольку ни поэтов, ни аудиторию реальность не интересовала.

Соответствуют или нет события реальным фактам? Какова в них доля воображения и доля памяти? Никто об этом не задумывался. Слушатели Гомера не обсуждали, *что* он выдумал, а *что* — нет, это их совершенно не интересовало. В этом проявлялось их безразличие к реальному и настоящему. Напротив, если нас интересует настоящее, следует преобразовать наш рассказ так, чтобы он соотносился с настоящим. Нужно остерегаться сделать рассказ слишком абсурдным, надуманным, отличным от реальности, нужно согласовать его с настоящим. Эти меры привели к понятию разных форм прошлого и будущего. Существует недавнее прошлое, в котором есть ожидание настоящего. Существует более отдаленное прошлое, в котором нет ожидания настоящего, но зато есть следы чувств. Есть смутное прошлое, в котором чувств совсем не осталось. И также есть скорое будущее, отдаленное будущее и смутное будущее. Все они зависят от связи, устанавливаемой между повествованием и действием в настоящем времени.

Одно из следствий презентификации, особо нас интересующее в связи с раздвоенным существованием, — это создание биографии. До появления феномена настоящего память смешивала события, касающиеся разных людей. С того момента, когда мы вынуждены различать в наших рассказах разных лиц, мы должны знать их истории. Перед вами конкретный человек: незачем рассказывать ему истории, касающиеся сотни других незнакомых ему персонажей; ему это неинтересно, не связано с его действием. Если вы расскажете ему об отдаленных событиях, он ничем не будет вам полезен. И, напротив, для вас будет очень интересно поговорить с ним о его собственном прошлом.

Приведем пример: вы хотите получить с должника то, что он вам должен. Вы напоминаете ему историю, но какую? Нет смысла рассказывать ему о том, что произошло с другими людьми. Надо напомнить, что вы ему одолжили некую сумму денег, о которой он просил, получил и обещал вернуть. Надо напомнить именно это обещание, а не что-то другое. Следовательно, среди имеющихся

рассказов вы должны выделить те, что связаны именно с ним. Это приводит к созданию истории каждого человека из нашего окружения.

Это еще лучше видно, если взглянуть на то, как рассказывают дети с задержкой развития. Они характеризуют человека одним рассказом. В приводимых мной когда-то случаях я говорил о том, как они называли своих посетителей. В Сальпетриере слабоумные дети не имели понятия об именах других людей. Наиболее отстающие дети определяли людей по их поведению, отдавая отчет только в одном рассказе о привычном поведении. Такой-то человек злой, другой — добрый, и в отношении него они испытывали добрые чувства. При несколько меньшем отставании дети пользовались для описания посетителей памятью и, как я рассказывал в предшествующих работах, годами называли одну даму: «Та, что принесла нам черешню». Действительно, эта милая дама однажды пришла в больницу с корзиной черешни. Это было незабываемым событием. Им очень понравилась черешня, и поразившее их событие стало парафразой имени дамы.

Но случилась другая история, изменившая отношение детей к несчастной даме, и ее назвали «дамой, которая нас отругала». Такова характеристика персонажа через его действия. Она чрезвычайно распространена и, думаю, была свойственна еще первобытным людям. Мы встречаем ее уже в поэмах Гомера. Это так называемые гомерические эпитеты, квалифицирующее человека через какое-либо характерное для него действие.

С развитием интеллекта и увеличением объема памяти человеку начинают приписывать не одну, а несколько характерных черт или связанных с ним событий. В случае отсталости, как я только что сказал, этой эволюции не происходит. «Дама, которая принесла черешню» после нового поразившего события была забыта и стала «дамой, которая нас отругала». То же самое встречалось у первобытных людей: вот почему существуют разные персонажи с разными именами, искусственно обособленные, что очень усложняет историческую реконструкцию. Напротив, у людей более интеллектуально развитых истории не замещают одна другую, а следуют одна за другой, и человек характеризуется рядом более или менее разно-

образных эпизодов. Когда-то мы назвали это биографией или историей героев.

Действительно, психологические усовершенствования не случаются сразу со всеми людьми, а начинаются постепенно с одного или нескольких человек. Психологический процесс не становится общим немедленно. Вполне вероятно, что в давние времена — и мы это видим еще у маленьких детей — история была не у каждого. Есть люди, которых ребенок встречает время от времени, знает, узнает: у него есть определенное к ним отношение, но он не знает их истории, она ему неинтересна. Первобытные люди поступали так же: они рассказывали историю персонажа, который становился героем, и не рассказывали историй других. Народ называли «vulgum resus» — толпой, не имеющей истории. Не одна семья похвалится тем, что прожила жизнь без истории. Так обстояло дело со многими.

Постепенно история сделалась всеобщим достоянием, как это случилось и с именем собственным. Я рассказывал вам, что вначале лишь немногие имели собственные имена; не всех называли по имени. Вождь имел имя, простые воины — нет. Постепенно многие стали обладать историей. И сегодня мы подошли к удивительному моменту, который для развития личности может быть и благоприятным, и опасным. У каждого из нас есть своя история, мы все стали героями. Нам всегда интересна история людей, которых мы знаем. Возьмите социальные отношения в салонах: о чем говорят люди, чем заняты? В первую очередь, как я вам говорил, они заняты захватывающим трудом — упражнением в словах. Речь идет о языковых играх, работе по составлению рассказа. Салонная жизнь сыграла огромную роль в интеллектуальном развитии и развитии языка. Ну а во-вторых, салон много сделал для создания биографий окружающих нас людей. О чем снова и снова говорят эти дамы? «А что случилось с тем-то? Он женился? На ком? Как все происходило? Этот брак — хороший или плохой? Он заболел? У него грипп? А дети у них есть?» Они часами только об этом и судачат. После всех этих историй что-то, да останется, и человек выйдет из салона, пополнив свой небольшой биографический справочник об окружающих его людях.

Он добавит строчку: «Я не знал, что такая-то вышла замуж. Это новость. Теперь буду знать».

В теперешнюю эпоху мы не только хотим знать имя нашего собеседника, его профессию, социальное положение, но и сгораем от бестактного любопытства: например, богат он или беден. Многих людей ничто другое не интересует, и они все время стремятся это выяснить. Мы пытаемся создать такую биографию. По мере развития она становится, так сказать, официальной, и в целом у нас всех есть то, что называют «*curriculum vitae*», и мы обязаны предоставлять ее начальству. Мы начали с того-то, продолжили тем-то: каждый из нас имеет официальную историю.

И снова я обращаю ваше внимание, что все социальные психологические законы имеют две стороны: внешнюю, связанную с другими людьми, и внутреннюю, относящуюся к нам. Почти всегда (но не обязательно) первая форма предшествует второй. Я думаю, что в эволюции личности мы первоначально занимаемся личностью других, а уже затем — своей собственной. Это трудновато приложить к себе. Положение и имя собственное применяется сначала к главнокомандующему, затем к солдатам, а затем — к нам самим. Повествование касается сначала вождя, воинов, а затем нас самих: в конце концов мы рассказываем себе небольшую историю и создаем автобиографию. Хорошую или плохую? Увы! Почти всегда плохую. Те из вас, кто захочет понаблюдать в больнице, смогут в этом убедиться. Личная биография пациентов почти отсутствует или очень плохо рассказана. Ею обладает гораздо меньше людей, чем мы думаем. Нам кажется, что каждый может рассказать о своей юности, своей жизни, но это далеко не так.

Как-то я хотел расспросить больных о их жизни систематически десятилетие за десятилетием. Что с вами происходило до того, как исполнилось десять лет? Или же, — используя более точный термин, особенно в отношении женщин, — что произошло в вашей жизни до подросткового периода? до двадцати? между двадцатью и тридцатью годами? Это неосуществимо и нелепо в больнице: стоит задать такой нескромный вопрос сорокалетнему человеку, и он будет ошеломлен и вообще ничего не вспомнит. Нужно позволить ему говорить все, что он хочет и попытаться потом, если возможно, упорядочить это.

Я думаю, что обычно биография очень расплывчата. Мы создаем ее гораздо более хаотичной, чем полагают. Мы допускаем, что она правильная, и довольствуемся некоторыми внешними признаками, когда человек отвечает лишь приблизительно. По сути, она очень плоха: мы постоянно ошибаемся. Это хорошо изучено и сегодня показано писателями и драматургами.

Мне хотелось бы сказать несколько слов о книге одного зарубежного драматурга — Луиджи Пиранделло. Его пьесы своеобразны. Напомню вам, в частности, одно из его произведений, несколько лет назад много шедшее на сцене: «Шесть персонажей в поисках автора». Эта пьеса очень необычна и забавна, и критики отметили, что ее главный герой типичен и для других произведений автора. Речь идет о шести несчастных персонажах, придуманных драматургом, для которых так и не нашлось пьесы, и их ни разу не воплотили на сцене. Персонажи были реальны как плод воображения, но нереальны в смысле плоти, крови и сценического воплощения. Они разыскивают автора, который объединил бы их в какой-нибудь пьесе, дал им настоящую роль, оживил их. Автор или режиссер в пьесе уступает их мольбе и хочет дать им роль. Речь идет о конвенциональных персонажах. Это мама, папа, дочь, маленький мальчик и маленькая девочка, персонажи традиционные и вымышленные. Их пытаются заставить играть роль. Но начинаются ужасные сложности. Все запутывается, персонажи противоречат сами себе, потому что настоящая жизнь меняет их воображаемый, поэтический характер.

Мысль автора заключается в том, что личности не существует. Личность — это химера. Настоящие личности — типажи, вроде Дон Кихота: вот он существует как личность, другие же — лишь бесцветные, хрупкие персонажи, все время меняющиеся. В нас есть начатки личности: есть честный человек и плут, профессионал, судья, профессор или священник, а еще — отличающийся от них внутренний человек, — и то один, то другой играет свою роль. Когда их хотят соединить, происходит ужасная неразбериха, как в пьесе Пиранделло. Ничего не ладится в нашей личности, придуманной поэтом. Пиранделло снисходительно добавил к персонажу поэта другой персонаж — безумца, обладающего подлинной

личностью. Реальные люди, которым не выпало чести быть безумными, не подлинны. Они лишь видимости, плохо составленные из разных частей. Но почему безумец, как и персонаж поэта, обладает личностью? Потому что в нем есть единство. Человек, тридцать лет страдающий бредом преследования, будет вам рассказывать одну и ту же историю, у него всегда одно то же поведение, тогда как обычно человек постоянно меняется, в нем нет стабильности. Дон Кихот обладал целостностью, это настоящий персонаж, который действительно существует.

Другой современный автор, очень тонко чувствующий эту сложность личности, — Марсель Пруст. В его романах есть множество пассажей о трудностях рассказа о личности. Автор каждый раз замечает, что мы не знаем других людей и, сами того не подозревая, разделяем окружающих на несколько личностей. В книге «Обретенное время» Пруст описывает разных персонажей, которых когда-то встречал и которых увидел состарившимися. Так, он приходит к герцогине де Германт, играющей в его произведениях столь большую роль, говоря: «В целом для меня она — три разных персонажа: имя, предмет моего обожания и светская дама. Она — благородное, аристократическое имя: именно такой я узнал ее в детстве и восхищался ею издалека. Она, далее, — предмет моей любви. Когда же любовь прошла, она стала просто светской дамой». Но он добавляет любопытное психологическое замечание: «Для нее самой личность ее не представляла столько разрывов, как для меня». Он прав. Герцогиня, по ее собственному мнению, обладала большей или меньшей целостностью: во всяком случае, ей никогда не приходило в голову разделиться на трех персонажей, которых вообразил себе ее почитатель.

Итак мы постоянно производим раздвоение в другом и — даже по более веским причинам — в себе самих. Напомню вам примечательный отрывок, в котором Марсель Пруст описывает попытки убедить себя в смерти своей возлюбленной Альбертины. Он испытывает необычное затруднение: «Во мне есть персонаж, который знает о смерти Альбертины: я ему об этом рассказал. Но есть и другой, который еще ничего не знает, и которому нужно все рассказать». И так на протяжении многих страниц

(его стиль несколько долог и замысловат) он описывает в себе дюжину различных персонажей, которых должен известить о смерти Альбертины. И каждый персонаж воспринимает это известие и реагирует по-своему.

Таким образом, существует значительная неопределенность биографической функции, функции описания нашей собственной личности. Почему же нам так сложно создавать настоящее, — наше теперешнее состояние, — и нашу прошлую жизнь, о ней рассказывать? Это самая настоящая проблема литературы. Любые воспоминания можно вызвать к жизни, они хотят вернуться, но не возвращаются: мы не умеем их расслышать. Потому так сложен акт презентификации и создания последовательной истории. Мы не можем захотеть и написать свой роман, не всякий это умеет. Нам трудно вызвать прошлое в соответствии с нашей теперешней ситуацией. Мы наталкиваемся на множество препятствий. Я много раз упоминал препятствие, вызванное событиями, ситуацией, в которой мы оказываемся. В каждой ситуации есть воспоминания, которые актуализуются проще других, а те, что связаны с совершенно иными событиями, восстанавливаются с большим трудом.

Я вам не раз рассказывал об особенностях, которую когда-то заметил за собой в связи с преподаванием в классах с большим числом учеников. Благодаря преподавательскому опыту я прекрасно помнил имена учеников, их прошлые работы. Опыт позволял мне спокойно узнавать их, когда они были в классе, и я даже помнил какие-то факты их жизни. Однако на улице, на бульварах время от времени случалось, что кто-нибудь из них любезно приветствовал меня и заговаривал со мной. Мне было одновременно очень приятно и неловко. Я был вынужден отвечать неопределенно, потому что совершенно не мог вспомнить ни имя, ни историю человека. У меня было смутное подозрение, что я его знаю, и, после недолгого раздумья, я говорил себе: «Судя по разговору, это один из моих учеников». Но до следующего дня я не мог более ничего вспомнить и был недоволен собой и раздражен своим абсурдным поведением. Но как только я оказывался в классе, а ученик — на своем месте, я был поражен: «Как странно, я его прекрасно знаю. Я знаю, как его зовут, и все, что с ним связано. Почему вчера я

был так туп?» Объяснение кроется в различных ситуациях воспроизведения воспоминаний.

Другое, более значимое различие также играет свою роль. Самый важный критерий — чувства. Французская поговорка прекрасно это описывает: «В радости все видишь в розовом свете, в печали — в черном». Что это значит? Это значит, что в радости вспоминается только светлое, а в печали накатывают лишь тяжелые воспоминания. Вы часто это замечали. Когда человек грустный, он начинает рассказывать вам обо всех несчастьях, которые с ним случались; ему и в голову не приходит рассказать о радостных событиях, он их просто не находит, отождествляется с несчастьями и убежден: «Так у меня на роду написано: неудачник. Мне никогда не везло». Конечно, удачи в его жизни были, и он прекрасно об этом знает в другие моменты, но не в этот. Такова сложность припоминания в зависимости от состояния чувств.

Все это усложняет биографию. Но общество влияет на нас и вынуждает совершать сложные действия. Нас побуждают создать более точную биографию. Соседи, друзья довольно суровы и будут нас упрекать, если мы забудем важные события нашей жизни. Полиция также спрашивает более или менее точное «curriculum vitae»; от нас требуют, и мы пытаемся это сделать, чему способствует наше литературное образование. Мы пытаемся преодолеть эти препятствия, узнавать людей на улице после того, как видели их в салоне; мы прилагаем к этому все наши усилия, и в большей или меньшей степени это у нас получается. Мы заставляем себя не очень-то подчиняться чувствам и говорим себе: «Когда мне грустно, надо вспомнить радостные события жизни». Нормальный человек — это человек, который, несмотря на трудности актуальной ситуации, может создавать более или менее точную биографию; он делает это в сокращенном виде, в определенный момент вспоминая одно, в другой — другое, но в большей или меньшей степени сохраняя свои воспоминания.

Теперь, когда мы отметили важность биографической функции, вы прекрасно понимаете, что малейшее психическое расстройство может вызвать значительные нарушения такой сложной и тонкой функции, как биографический рассказ. Прежде всего, мы очень часто отмечали недоста-

ток психического синтеза у истощенного, ослабленного больного. Ему недостает широты поля сознания, которое почти всегда сужено. Это обычное явление во всех случаях, связанных с утомлением, — распространенное до такой степени, что в нашем последнем труде мы говорили о сужении сознания как одной из реакций на утомление. Здорового человека многое в жизни интересует. Его интересует история, естественные науки — как и философия, математика, музыка. Напротив, уставший человек теряет свои интересы. Он говорит: «О, я не пойду на концерт, у меня нет ни времени, ни сил, ни желания увлекаться музыкой. Я вынужден отказаться от иностранных языков, мне и по-французски говорить тяжело». Затем он отказывается от чтения, пополнения своей эрудиции, философии, от массы всего.

Наблюдая больных, видишь, как сужается их разум, и единственное, что продолжает их интересовать, — это здоровье, что они ели, какой у них стул; и в итоге их больше ничего не заботит. Жизнь становится ограниченной, сужается, и, когда речь пойдет о биографии, это сужение сыграет опасную роль: ведь я только что говорил, как трудно объединить все события жизни вокруг единого центра, каким является настоящее. Истощенный человек вообще отказывается от этого, и поэтому во всех психических заболеваниях вы видите забывание событий молодости, счастливых или, напротив, печальных периодов жизни. Человек в состоянии маниакальной ажитации не может припомнить ни одной неудачи. Ничто не напоминает ему о том, что какое-то действие опасно, что оно часто привело к неудаче и уже имело печальные последствия. Он все позабыл и знать ничего не хочет об этих воспоминаниях.

Таким образом, истощенность и сужение сознания будут играть огромную роль; что же говорить об аномальном развитии или преувеличенных чувствах у больных? Когда человек совершенно истощен и чувствует только свое бессилие, когда его не заботит ничего, кроме реакций сужения, остановки, отдыха, его память, вкусы, предпочтения будут ограничены, и он станет всячески сужать свою биографию.

Сужение ведет за собой чувство и не распространяется на все подряд события жизни; оно возникает в отношении

ПСИХОЛОГИЧЕСКАЯ ЭВОЛЮЦИЯ ЛИЧНОСТИ

событий, которые трудно вспоминать в этот самый момент времени и трудно включить в настоящее. Человек склонен пропускать в биографии радостные события, когда он печален, и грустные, когда весел. Вам известна эта особенность периодических неврозоз: будучи печальным, больной подавляет большую часть своей жизни, пропуская почти все, что имеет отношение к счастливым периодам. В веселом состоянии он поступает наоборот, и так далее. Иногда эта патологическая склонность достаточно последовательно организована. В случаях раздвоения личности нарушения биографии систематизированы. Под влиянием экзальтации или депрессии эти люди производят отбор воспоминаний и могут вспомнить только события определенного дня.

В исследованиях раздвоения личности, которые вели сорок лет назад Азам и его последователи, как и сегодня, много оплошностей. Исследователи сами придавали забвению своих испытуемых систематический вид. Они представляли их гораздо более точными, чем на самом деле, и, составляя таблицы, помещая воспоминания в одну графу, а амнезию — в другую, преувеличивали патологическую склонность своих больных. Если отказаться от этих выражений и таблиц — по крайней мере в присутствии пациента, — амнезии станут гораздо менее определенными.

Позвольте еще раз напомнить вам о случае Марселины, описанный во втором издании «Психического состояния больных истерией». В начале лечения у нее был опыт гипнотических сеансов, чрезвычайно регулярных амнезий и воспоминаний. В состоянии возбуждения у нее возникали те же в точности воспоминания, что и в предшествовавшие периоды возбуждения, и она совершенно последовательно забывала периоды депрессии. Это происходило с математической точностью. В тот момент она была хорошо «отрегулирована». Я подумал, что в этой регулярности была доля влияния метода: погружение ее в сон, называние этих периодов особым именем закрепляли амнезию. На некоторое время я полностью отказался от подобной практики и всяческих расспросов. Периоды забвения и раздвоение личности продолжались.

Но теперь, возвращаясь к этой работе, я вижу, что ее биография не была разделена на столь четкие периоды. Случались ошибки припоминаний. Например, в состоянии

печали Марселина забывала не только моменты радости, но и грусти. Наблюдение показало, что забвение разлилось, как масляное пятно, распространяясь даже на те периоды, которые не должно было затронуть. Я описал в этой работе амнезию, растянувшуюся на девять лет. Марселина вернулась на девять лет назад, но по сделанным тогда заметкам легко констатировать, что в течение этих лет у нее были и периоды депрессии. Согласно прежнему правилу, она должна была сохранить воспоминания депрессивных периодов, но этого не произошло. Таким образом, раздвоение личности получило систематизацию, отчасти из-за метода исследования, отчасти из-за душевного расстройства испытуемой. Вот почему исследования раздвоения личности подвергли суровой критике, видя одни лишь их недостатки. За фактом научения испытуемого не замечали его собственную склонность забывать одни периоды и помнить другие, — а также то, что склонность эта связана с важной психологической функцией, которую мы назвали функцией биографии.

В следующий раз мы продвинемся дальше в изучении личности, посвятив наше занятие индивидуальности.

14 МАЯ 1929 Г.

24. ИНДИВИДУАЛЬНОСТЬ

Идея науки сложна и неопределенна. Проводя научные исследования, не всегда хорошо знаешь, что делаешь и куда направляешься. Мне кажется, это трудность особенно заметна в психологической науке, самой на сегодняшний день молодой и динамично развивающейся.

Такие мысли пришли мне в голову при недавнем прочтении во французских журналах статей, связанных с психоанализом З. Фрейда. В них остро критикуется сегодняшняя классическая психология. Прежде всего психологию упрекают за слишком общий и абстрактный характер.

Психология, называемая классической, распространяет свое знание на очень многих совершенно разных людей. Она говорит об общих законах. Однако, по словам критиков, «общие законы по отношению к вещам реальным невозможны. Реальность не повторяется,

ПСИХОЛОГИЧЕСКАЯ ЭВОЛЮЦИЯ ЛИЧНОСТИ

и поэтому обобщение — это абстракция. Мы хотим избежать абстрагирования, которое нас пугает и выступает симптомом ложности, нереальности. Мы хотим найти в психологических науках подлинное, настоящее».

Критики приходят к теории, которую мы довольны часто упоминаем. Разумеется, действие человека — подлинная реальность, но речь идет не об общем и обыденном характере этого действия. Дело не в том, что обычно люди едят, ходят, говорят. Речь идет об индивидуальном действии, которое совершает определенный человек, и только он один, совершает в определенной ситуации и в неповторимый момент времени. Вот идеал психологического описания. Нужно описывать уникальные действия в уникальных обстоятельствах. Любая психология, выходящая за эти пределы, — лишь химерическая абстракция.

Это очень достойная цель, но реализуема ли она в полной мере? Приводит ли она к чему-нибудь серьезному? О программах говорится много; я их побаиваюсь. В науке нам всегда говорят, что следует делать, но сначала нужно попробовать и понять, можно ли это сделать. Психология, которая бы в точности описывала действия конкретного человека в определенный момент времени, с моей точки зрения, имела бы много сложностей и упущений. Прежде всего, не забывайте, что она стала бы бесконечной. Описания действий одного-единственного человека могут занять не один, а тысячи томов. А что делать с остальными людьми? Так вы никогда не закончите.

Этот метод непрактичен и не слишком нас просвещает. Есть еще одно важное неудобство. Такая психология для человека будет бесполезна — колоссальный, но совершенно бесплодный труд. Действительно, чем интересно какое-либо исследование? Его возможными приложениями. Мы должны учитывать практику, использовать то, что сделано в науке. Что мы могли бы получить из описания индивидуального действия, по определению неповторимого? Непонятно. Мы непременно должны думать о будущих действиях.

Почему мы изучаем действие? Потому что при сходных обстоятельствах оно происходит снова, потому что нам придется противостоять ему, пытаться его изменить. Психология, как все науки, ориентирована на практику. Она

претендует на то, чтобы помогать судьям, которые будут судить нарушителей, а также исправительным учреждениям, пытающимся изменить преступников и их наклонности. У нее есть педагогические и терапевтические задачи — обучение детей и изменение их инстинктов, лечение больных. Во всех этих случаях нам нужны правила действия, которые можно было бы применить к другим преступникам, детям, больным: без этого мы ни к чему не придем, а сложная и бесконечная наука не сослужит никакой службы. Некоторая степень обобщения необходима.

Однако опасения критиков беспокоят и нас. Поиски более глубокой реальности оправданны. По сути, в каждую эпоху мы пересматриваем предыдущие знания, считая себя чуть ближе к истине. В эпоху нашей юности мы говорили об объективной психологии в противовес субъективной — о психологии скорее физиологической, натуралистической, чем метафизической. Здесь была та же мысль: двигаться к психологии более точной, отвечающей чему-то конкретному. Но чему именно? Здесь, мне кажется, перепутаны две науки. Конкретное психологическое описание существует, но вне области естественных наук — в истории.

Вы предлагаете нам идеал психологии как науки исторической. Однако понять, что такое история, — еще сложнее, чем понять, что такое психология. Мы выходим здесь далеко за пределы привычных представлений.

В прошлом году мы обсуждали очень интересную проблему, которую поставила перед нами история и которая, разумеется, еще не разрешена. Что такое история? Что мы делаем, когда стремимся выяснить подробности коронации Наполеона III или точное место высадки Вильгельма Завоевателя? Что за странное желание это узнать! И мы описываем индивидуальные события, произошедшие с Наполеоном или Вильгельмом Завоевателем в определенное время и в определенной точке земного шара. Это — история, а отнюдь не психологическая наука. Таким образом, в отношении истории возникает проблема, которую трудно разрешить: почему люди создают историю? Чего они ищут?

Это непростые вопросы, на которые мы можем ответить лишь гипотетически. Начало истории — в области пережива-

ПСИХОЛОГИЧЕСКАЯ ЭВОЛЮЦИЯ ЛИЧНОСТИ

ний. Люди развлекались, рассказывая истории своих предков. Об исторических событиях рассказывали потому, что они вызывали энтузиазм, печаль, грусть, ярость, триумф; это — развлечение. Но история изменилась. Она изменилась с появлением исключительного понятия, которое мы совершенно не понимаем, — понятия исторической правды.

Что за прихоть — искать истину в событии уже не существующем, которое исчезло и, по определению, не вернется! Обычно истина совсем другая. Она описывает не единичное событие, а их последовательность, закономерности их появления, и говорит о будущих событиях. Здесь же мы устанавливаем истинность события прошлого.

Мы вышли из положения с помощью метафоры, воображения, представляя себе, какой могла бы быть история. Я уже пытался изложить вам эту необычную мысль: история пробуждает в уме специфическую идею — веру в чудесный прогресс человеческого разума. Это вера в то, что мы можем перемещаться во времени. Мы передвигаемся в пространстве и понимаем географию. География нам говорит: «В таком-то месте есть дорога; там — вокзал; там — ресторан». Она нам ясна. Почему? Потому что мы с удовольствием сознаем, что можем однажды туда пойти, и знаем, что нас там ждет: это нам интересно. Если же речь идет о времени, то, безусловно, мы не можем прогуляться на месте высадки Вильгельма Завоевателя в тот же момент времени. Но историки ведут себя как мечтатели, верящие, что однажды там окажутся. Они описывают человека, высадившегося на берег в XVI веке, и очень радуются, если удастся узнать, *что* в то время ели, пили, как одевались. Вот почему они описывают нам эти реалии прошлого.

Если это воображаемое представление о ценности истории справедливо, история имеет право на существование и потом, через века, могла бы оказаться кому-нибудь полезной. Но, очевидно, что это совершенно не характерно для обычных наук, имеющих гораздо более приземленную цель. Обычные науки касаются наших реальных движений в пространстве и говорят нам: «Если вы пройдете сто метров, вы увидите то-то и то-то. Если вы смените точку зрения или город, вы увидите, что люди ведут себя так-то и так-то». Науки в конечном итоге основываются на пере-

мещениях в пространстве и интересуются лишь реальными движениями, тогда как история имеет дело с теоретическим, воображаемым движением — движением во времени.

Мы не можем полностью отказаться от обобщений в психологии. Психология во многом остается наукой не историчной, основанной на практическом знании, которая должна служить разным целям и учитывать общие реалии. Она не может вплотную приблизиться к подлинной истине, конкретной реальности — индивиду.

Как бы там ни было, и как бы ни противилась обобщению психология, несомненно, на своем пути она все больше сталкивается с проблемой изолированного индивида и события, происходящего на конкретном отрезке времени и пространства. Можно было бы сказать, что психология, как и всякая наука, специализируется в определенной области. Она развивается в некоторых пределах и если, достигнув их, она не изменится, то перестанет быть полезной.

Когда мы рассматриваем низшие элементарные формы поведения, у нас не возникает сомнений. Элементарные формы поведения обладают огромной степенью общности; они бесконечно повторяются. Возьмем, например, пищеварительные рефлексy: глотательный рефлекс есть у всех животных, птиц, млекопитающих и людей. Они глотают пищу, насыщаются, ее ищут и несут ко рту. Это общее правило, и его не следует исключить из психологии. Питание — важнейший феномен экономической жизни.

Пойдя дальше и пропуская многие промежуточные этапы, в частности, действия, связанные с восприятием, мы подойдем к верованиям. Бесспорно, что вера — не столь распространённое и всеобщее явление, как питание. Верование, как я пытался его определить, предполагает наличие языка, отделенного от действия, и усилие по их объединению. Это уже редкость. На миллион живых существ, у которых есть пищеварение, найдется только сотня, обладающих верованием; мы несколько ограничили себя, но все равно остались в рамках общего. Законы верования распространяются на многих существ; они были и есть у многих людей. Связанные с верой формы поведения имеют первостепенное значение для понимания гуманности и преступности, для педагогики и терапии. Они все еще очень общие.

Если мы пойдем дальше, то увидим, что поведение еще более ограничивается. По сравнению с ранними утверждающими верованиями рефлексивные верования еще более редки и доступны меньшему числу людей. При переходе к рассуждению, научным идеям, понятиям причинности круг еще больше сужается. Если говорить об экспериментальном поведении, то людей, которые умеют делать опыты и этим пользоваться, еще меньше — возможно, совсем мало.

И далее, когда мы дойдем до сознания прогресса, адаптации к прогрессу, исследования необычных явлений, мы встретимся с художниками, а настоящие художники очень редки: все больше и больше сужается круг. Итак, психология оказывается в очень ограниченном пространстве между физиологическими науками — гораздо более общими и обширными — и науками историческими, гораздо более узкими и ограниченными; она существует на их грани, между общностью и индивидуальной неповторимостью. Это позволяет думать, что есть нечто высшее по отношению к психологическим исследованиям, и эти перспективы мы видим сегодня, подойдя к индивидуальности.

Действительно, индивидуальные формы поведения развиваются именно по тому пути, о котором шла речь. Сначала они очень общие, систематичные и существуют повсюду; их легко предвидеть.

Первые индивидуальные формы поведения — это рефлексы равновесия. Ими обладают все движущиеся животные. Эти формы — общие. Затем идут формы поведения, связанные с чувством, регуляторы действия, увеличивающие или уменьшающие затраты. Они все еще весьма общие. У очень многих людей есть чувства, и это — начало личности. Как мы видели, личность вырастает постепенно, развивается с появлением верований, имени собственного и пр. Эти формы поведения, хотя все еще общие, уже более ограничены, потому что не все люди обладают верованиями о своей личности и могут освоить приветствие и имя собственное. Чем дальше мы продвигаемся, тем больше ограничений: мы приходим к индивидуальным формам поведения, о которых говорили в прошлый раз, в связи с понятием *я* и использованием личных местоимений. Область еще более сокращается.

Изучение личности подводят нас к некоей границе, возможно, порогу, за которым стоят другие исследования, не являющиеся научными в современном смысле этого слова. Я верю в многообразие человеческого знания, которое не застыло, а постоянно изменяется. Наука сегодня, бесспорно, находится в переходной стадии и скоро станет совершенно иной. Подходя к границе общего психологического исследования личности, мы сталкиваемся с явлениями, которые, с одной стороны, касаются психологии, а с другой стороны, от нее ускользают, поскольку они — совершенно иные. Чтобы не углубляться в бесконечное исследование последних этапов психологической эволюции, приведем лишь несколько фактов.

Прежде всего я бы хотел назвать поведение ответственности, его эволюцию. Понятие ответственности, как и многие психологические понятия, представлялось, с моей точки зрения, в перевернутом виде. Моралисты и философы взяли ответственность так, как она понимается сегодня, и возвели ее в принцип человеческого поведения. Но такая ответственность, понимаемая как моральная, единственная, индивидуальная, отличная от других, — результат долгой эволюции. Мне представляется, что ответственность возникает гораздо проще и банальнее. Она является одной из форм базисных феноменов интеллекта — приказа и повиновения. Когда у дикарей появилось понятие приказа, оно было простым поведением, связанным с констатацией подчинения. Вождь отдает приказ. Это действие он начинает, но не выполняет, ожидая его исполнения от других, тех, кто видел его начало. Он ожидает исполнения — таково его намерение, и, давая сигнал к действию, он собирается присутствовать при его выполнении, что принесет те же результаты, как если бы действие выполнял он сам.

Допустим, человек, которому он приказывает, не выполняет приказа. Вождь взволнован, разочарован, — а вы знаете, к чему приводит разочарование: все заканчивается отвлечением сил, тем большим, чем значительнее было начальное усилие. Командование требует усилий, — тем сильнее гнев вождя. За неисполнение действия подчиненного наказывают. Таков психологический механизм

разочарования. Здесь нет речи ни о морали, ни об ответственности — только разочарование, вызванное неповиновением. И наоборот, когда приказ выполняется, вождь видит, что его действие исполнено так, как если бы он делал его сам. Хорошо выполненное действие приводит к триумфу. Это радость, сопровождающаяся увеличением сил: становясь ненужными, силы тратятся в особой форме, которую мы с вами изучали несколько лет назад. Вождь распространяет на приближенных, а особенно на повиновавшегося ему подчиненного, силы, которые теперь может растратить, и делает это самым приятным образом: награды, поздравления, ласки, забота, подарки. Вот начало ответственности.

Ответственность развивалась и всячески усложнялась. Первоначально это происходило благодаря появлению верований. Вождь считает, что подчиненный выполнил или не выполнил действие. Ему не надо следить за ним все время, надо увидеть только начало сопротивления или неповиновения. Он в это верит, и это расширяет пространство наказаний и санкций. Человек может быть наказан, даже когда он только начинает проявлять неповиновение, и это может перерасти в стабильное чувство. У вождя появится мысль, что такой-то человек всегда ослушивается, и недовольство, которое он испытывает, может перейти в антипатию и ненависть. Непокорный столкнется с ненавистью вождя, а послушный — с его любовью. Это — значительное расширение ответственности.

Еще больший прогресс достигается с появлением рефлексивных верований. Они включают не только сиюминутные страсти, но весь характер человека, его многочисленные тенденции, и таким образом подчинение и сопротивление будут зависеть от человека в целом: он целиком станет объектом любви или ненависти.

Огромные изменения происходят с ответственностью в смутную эпоху, к которой мы много раз обращались, — эпоху поведения секрета, внутренней речи и идущей за ней следом религии. В этот момент человек понимает, что действие можно скрыть, у него возникает привычка действовать тайно. Тайные действия, внутренняя речь позволяет ускользнуть от вождя, скрыться. Но как уже отмечалось, люди довольно часто полагают, что спрятано

лись, а на самом деле это не так, и пока человек считает, что его никто не видит, за ним следят шпионы.

Это вызывает опасения. У человека появляются представления о божествах, мысли о том, что его любят или ненавидят невидимые существа, все время следящие за его действиями, знающие самые потаенные его намерения. У него возникает ответственность — как перед ними, так и перед не видящими его людьми. Это — большой прогресс в развитии ответственности: сознание того, что наказание или воздаяние будет даже за потаенные действия. Внутреннюю ответственность создала именно религия, породившая угрызения совести, раскаяние, страх наказания, даже в то время, когда вас никто не видит. Религия трансформировала ответственность.

Между тем, здесь еще остаются трудности, и такая ответственность все еще отлична от того, как мы ее понимаем сейчас. Вы можете это оценить, если вспомните то, что мы говорили несколько занятий назад о первобытной собственности. Известно, что первобытные народы обладали смутным представлением о том, что от них зависит, а что нет. А поскольку наказание и вознаграждение связаны с действиями, зависящими от нас самих, у дикаря было очень размытое понятие об ответственности.

Читая описания ответственности у традиционных народов, всегда поражаешься. Например, в трудах Леви-Брюля вы встретите многочисленные случаи, когда человека обвиняют и наказывают за преступление, которое он не совершал и не мог совершить, поскольку был в это время в другом месте. Но он не протестует, как это сделали бы мы сегодня: он принимает наказание как само собой разумеющееся, потому что преступление совершил его родственник или соплеменник. Кара совершенно справедлива, ведь он — часть племени, следовательно, это и его действие, так что наказан он правильно. Его понятие ответственности, хотя и изменившееся и уже связанное с представлением о божестве, ведающем все наши дела, отлично от сегодняшнего. Оно гораздо менее определенное.

Благодаря эволюции памяти и высших форм индивидуального поведения мы приходим к еще большему прогрессу ответственности. Чтобы человек был ответственен, он должен воспринимать преступление как часть своей истории, которая

должна быть хорошо и правдиво рассказана. Нужно, чтобы преступление было связано с его прошлым. Теперь человек обладает исторической целостностью, а не только целостностью действий в пространстве. Существует историческая целостность всей жизни, и понятие ответственности кроется именно в ней. Трансформация произошла: ответственность теперь зависит от всей нашей жизни. Но когда она начинает зависеть от нашей жизни и нашей истории, она уже не связана с историей других. И вот перед нами человек со своей собственной историей, ответственностью за нее, и мы, не колеблясь, говорим: «Никто другой в мире не может обладать той же историей, что и я. Это преступление не принадлежит истории другого. Оно принадлежит только мне, уникальному человеку в мире».

Связанные с этим верования чрезвычайно многочисленны. Можно исследовать моральные и медицинские понятия, показывающие эволюцию ответственности: первоначально общая и нечеткая, связанная только с ролью вождя, идея ответственности постепенно уточняется и сегодня относится к истории индивида, и только к этой личной истории.

Изучение человека в какой-то момент превратилось в изучение характеров. С давних времен моралисты и психологи занимались их описанием. Оно всегда было очень трудным и предполагало понимание того, чем характер не является. Характер — это особое поведение человека. Нам бы следовало знать различные его элементы, но мы не знаем их всех, и поэтому понятие о характере в разные эпохи развивалось, следуя прогрессу самой психологии. Вначале характеры выделялись в зависимости от известных действий. Действия одного жестоки, другого — враждебны; у этого — действия работяги, а у того — интеллектуала. Их характерами будут — умный, драчливый и т. д. Они определяются действиями человека, известными другим людям. Это уже значительное уточнение характера, но его развитие продолжается.

Вот, например, исследование, которое мы здесь вели довольно долго, — иерархии психологических тенденций. Я пытался вам показать, что в каждую эпоху люди осваивали новые способы поведения, развивались и что среди этих форм были низшие и высшие. Эта эволюция вносит вклад в различение характеров. У низших харак-

теров есть лишь самые простейшие формы поведения — рефлекторные или перцептивные, как у идиотов или имбецилов. Одни люди обладают лишь утверждающими верованиями без рефлексии. И напротив, другие способны на рефлексию, размышление, прогресс, свободу и т. д. Вот еще одно новое различие характеров.

Некоторое время мы занимаемся силой и регуляцией действий. Нам известно, что в зависимости от того, как мы регулируем наши действия, экономим ли мы, сокращая действия, или тратим на их осуществление много сил, у нас появляется определенное чувство, — по словам окружающих, определенный характер. Есть характер ленивый, печальный, угрюмый, веселый, беспечный. Это тоже создает довольно многочисленные вариации: по мере появления новых психологических функций характер будет меняться.

Новые идеи о характере могут вызвать замешательство. Когда-то были известны лишь несколько характеров, и всех людей можно было классифицировать, как говорили древние, по четырем-пяти темпераментам, а позднее — примерно на двадцать характеров. Но вот речь идет о ребенке, и нас спрашивают: какой у него характер? Простите, но у него характера еще нет, он — никакой, самый распространенный. Тем не менее нельзя, чтобы человек был как все, это больше не приемлемо, и все повторяют: «Каждый человек должен иметь свой характер». Мы ищем индивидуальный характер, и чем точнее стремимся его обрисовать, тем больше приходим к исключительной мысли: индивидуальные характеры отличны друг от друга. Человек не идентичен своему соседу. У него не будет точно такого же характера. Мы движемся к все большей индивидуализации.

Я не останавливаюсь на характерах, потому что это бы привело нас к долгим историческим исследованиям, далеким от нашей темы. Существует другое очень интересное поведение, приобретающее все большую важность, — поведение оригинальности, поведение в отношении нестандартных людей. Заметьте, что первоначально люди не любили оригиналов. Оригинал — это человек, которые не похож на других людей в группе и не повторяет в точности их действий. В примитивном обществе всегда требуется социальное единство, и оригинал вызывает чувство беспокойства, замешательства и антипатии.

Оригинальность почти всегда связывается с каким-либо мистическим существом. Это — дьявольский характер, действующий в человеке демон, и в некоторых редких случаях — Бог. Оригинала либо превращали в пророка, либо сжигали на костре: таковы правила, принятые у первобытных народов.

Кое-что из этого мы сохранили. И сегодня еще, особенно у детей и молодежи, вы легко увидите неприятие оригинальности. Дети когда-то не могли без смеха слышать иностранный акцент. Мне кажется, что это было еще во времена моей молодости: английский или немецкий акцент поражал нас и казался чем-то экстравагантным. Сейчас иностранный акцент нас больше не удивляет и кажется столь же естественным, как любое другое качество, — например, цвет волос. Акцент — нейтральная особенность человека, которая не является отталкивающей, не вызывает гнев. Таков прогресс нашего поведения, связанного с оригинальностью. Он проявляется во многом.

По этому вопросу появилась медицинская статья с обзорами, посвященными психоанализу, о которых я вам говорил. Это статья Эдуарда Пишона «Взаимная адаптация в обществе и аномальная психика». Автор занимается в основном особыми, патологическими состояниями психики и замечает, что когда-то люди ненавидели любые проявления психической аномалии. К безумцу, эпилептику, слабоумному плохо относились и не понимали. Общество стремилось от них избавиться; почти всегда их убивали, а когда нравы смягчились, стали навечно заключать в тюрьму.

В наше время, говорит Эдуард Пишон, концепция общества изменилась, и задачей стала ассимиляция оригинальности. Автор использует понятие «включения» и применяет его к людям, исключаящимся из общества. Целый раздел посвящен тому, что он называет ассимиляцией отверженных. Есть люди, бросающие вызов обществу, нашим нравам, законодательству; их не нужно всегда считать неизлечимыми безумцами. Мы должны быть снисходительными и, насколько возможно, терпимыми, пытаться по возможности извлечь из их адаптации пользу. Пишон сохраняет для исключительных случаев возможность подавления индивида, поскольку остается сторонником смертной казни для некоторых совершенно неисправимых.

В этом вопросе достигнут некоторый прогресс. Мы гораздо снисходительнее к людям с нервными нарушениями, чем когда-либо. Что будет делать общество сегодня, если убрать всех невропатов? Что от него останется? Не много. Мы вынуждены быть к ним терпимыми и их адаптировать, включать в общество.

Проблема становится еще любопытнее, когда мы имеем дело с оригинальностью не только низшей, патологической, но и высшими ее формами. На эту тему можно провести занимательные исследования. Так, в эпоху Ломброзо много изучали так называемую гениальность. Пытались понять, при каких условиях гений формируется и как можно точнее воспроизвести эти условия. Это было нелегко.

Интересно изучить реакцию, которую гениальный человек вызывает у других. Как мы сегодня принимаем гения? Не так уж хорошо: нам все еще трудновато его выносить. Гения в основном признают после смерти, но его приходится терпеть и в жизни. Постепенно мы узнаем, что эти странные люди небесполезны. Нас научили, что общество живет благодаря своей элите. Для развития общества совершенно необходимо, чтобы в нем были люди, которые выше других, отличны от других. Весь наш прогресс — результат гениальных творений. Прочитайте по этому поводу замечательные работы бывшего профессора Коллеж де Франс Габриэля Тарда. Помните, что Тард говорил об эволюции и прогрессе: он никогда не совершается толпой, но происходит через подражание гению. К тому же, когда речь идет о разных стадиях психологической иерархии, я обычно вам говорю: мы знаем, что есть две стадии — низшая и высшая, но совершенно не представляем себе, как перейти от одной к другой.

Некое гениальное животное, не удовольствовавшись рефлексорными действиями, изобрело акты отсрочки. Некий гениальный человек изобрел приказ и вывел из него речь. Но как это произошло и кто это был? Мы не знаем. Мы признаем, таким образом, что всегда были гении, — это становится частью нашего знания, — и относимся к ним дружелюбнее, не стараясь их подавлять. Ясно, что жизнь гения тяжела, потому что превосходства не любят и боятся, но гению позволяют существовать и даже открыто призывают на помощь во время серьезной опасности.

Во время войны во Франции существовала экстравагантная организация — Министерство изобретений. С психологической точки зрения это очень странное явление. Как изобретения, совершенно по сути своей непредсказуемые, совершающиеся по воле случая, которые нельзя предвидеть, становились объектом внимания министерства — этого апогея бюрократии, организации, повторяемости действий? Изобретения были адаптированы к общим нравам. Впрочем, это показывает, что даже в изобретениях и действиях гениальных людей есть часть привычная и повторяющаяся. Такой акт, как гениальное изобретение, не является предметом психологии: это очевидно, поскольку оно неповторимо по определению. Однако с ним связано множество действий и реакций, которые входят в привычку и могут стать предметом психологической науки. В психологии изобретения, психологии гениального человека есть нечто для нас малоизвестное, ускользающее, что мы пытаемся уловить.

Даже в таком беглом обзоре невозможно обойти философскую проблему, для психологии хотя и постороннюю, но имеющую, как изобретение и гениальность, огромное значение. Это знаменитая проблема свободы. Она практически не доступна науке. Любая наука требует повторяемости в заданных условиях и основывается на идее детерминизма. Бесконечные дискуссии по этой проблеме ни к чему не приведут: наука не может признать свободу, это невозможно. Если свобода и существует, то — вне науки. Мне лично все равно, пусть так. Но те, кому вскружила голову концепция универсальной и всеохватывающей науки, не могут признать свободы.

Как и понятия ответственности и оригинальности, понятие свободы развивалось. Некогда оно было очень простым — идеей свободного движения. Если на вас нападают, а у вас руки связаны, то руки несвободны; это просто. Если бы вы были рабом, которого побоями заставляют работать, вы несвободны. Вот чем была когда-то свобода. Она понималась как возможность определенных движений в противоположность невозможности тех же движений. Таким образом, когда-то она имела совершенно очевидное значение.

Идея свободы возросла с появлением внутренней мысли, которую другие не могут контролировать и которая от

них в некоторой степени независима. Не стоит говорить вслух глупости или неприятные вещи: нам помешают это сделать. Но про себя мы можем думать о них сколько угодно, и поэтому считаем себя свободными. Именно так понималась долгое время проблема свободы мысли. Свобода мысли — это внутренняя мысль, уходящая от социального влияния и насильственного подавления.

Затем проблема свободы становилась все более значительной и сложной. Сегодня свободным называется действие, которое не было и не будет детерминировано, не зависящее ни от предпосылок или прошлых действий, ни от окружающих людей. Совершенно очевидно, что такое действие — исключение. Большинство наших действий иные. Они учитывают общество, физиологические условия и в первую очередь — предшествующие действия.

Мы много говорили о понятии тенденции. Тенденция подчиняется принципу детерминизма. Она предполагает, что действие, многократно совершавшееся, будет повторяться легче других, и у нас появится к нему предрасположенность. Понятие тенденции противоположно понятию свободы.

Несмотря на эти трудности, понятие свободы получает все большее распространение. Мы лелеем мысль, что свобода возможна, верим, что являемся свободными существами, и хотим, чтобы другие были такими. Мы уважаем свободу другого. Но что означает уважение к свободе другого и сама идея, что ее следует уважать? Это отсылает нас к отношению предшествующих форм поведения и акту изобретения, гениальности. Изобретение и гениальное открытие, по определению своему, не детерминированы. Мы не можем в любой момент по желанию пробудить в человеке гениальность, и не знаем, что требуется для рождения и создания гения. Сомнительно, что это можно предопределить. Акт свободы — это, по сути, гениальный акт, нежданное изобретение, не зависящее ни от каких обстоятельств нашей жизни.

Понятие гениального творения приводит меня к необычному размышлению. Вы видели, насколько все психологические явления имеют тенденцию, если можно так сказать, к демократизации. Психологический факт первоначально всегда единичен, связан с определенным человеком. Сначала собственное имя имел вождь, и только

он один. Генеалогией также обладали только некоторые: только короли, принцы, герои имели свою историю. История не писалась для всех. Мы определили биография как историю героя. Затем, как я говорил вам, люди стали более амбициозными и создали биографию для каждого, и сейчас мы считаем, что каждый из нас герой. Первоначально — исключение, герой стал обыденностью. Мы все герои, у каждого из нас есть своя история, своя биография.

Я думаю, что сегодня мы изменили, расширили и понятие гениальности. Подобно тому, как все мы считаем себя обладающими биографией героями, в глубине души мы все считаем себя гениями, пусть и маленькими. Однако мы считаем себя способными изобрести что-нибудь неслыханное, совершенно отличное от существующего, мы верим в свободу. Наша свобода — обобщение акта гениальности, который мы приписываем каждому из нас. С того момента, как человек считает себя свободным, он верит, что способен на самое экстраординарное изобретение. Можно было бы описать множество преобразований такого рода, связанных с идеей прогресса, о которой мы с вами говорили несколько лет назад.

Как все это резюмировать? Я думаю, что эволюция ведет к понятию личности, которое будет характеризоваться свободой каждого, способностью каждого стать выдающимся изобретателем, человеком оригинальным, со своим особым характером и личной ответственностью. Одним словом, мы все наделяем личность новой особенностью — ни к чему не редуцируемой оригинальностью.

Возьмите эволюцию наших представлений о социальных отношениях. Я мог бы привести в пример идею близости. Многие люди мечтают о близких отношениях. Что такое — быть кому-то близким? Естественно, речь не идет о вульгарных отношениях. Когда-то, особенно в XVII веке, говоря о близости, интимности, имели в виду сексуальные разговоры или акты. Это неточно. Есть люди, которые десятилетиями могут поддерживать сексуальные отношения без всякой близости. Не существует привычного, строго определенного, всегда одного и того же действия, которое порождало бы близость. Лучшее определение близости — в знаменитом изречении Монте-ня: «Потому что это был он, это был я». Это отношения

людей, которые не могут жить друг без друга. И если этого человека нет, с другим таких же точно отношений быть уже не может, близость прекращается и исчезает.

Итак, личность становится уникальной. Мы все больше разделяем людей друг от друга. Личность — это не только целостность человека, единство индивида, но и то, что отличает его от других. Вначале — телесное разделение, далее более строгое, осуществляющееся при помощи чувств, которые отличают одного человека от другого, затем — при помощи социальной иерархии — по занимаемому им месту в обществе, и, наконец, через его непохожесть на других. Индивид отличен от других. Мы подходим к идеалу личности как ни с кем не сравнимой, совершенно уникальной.

Вполне естественно, что понятие личности ускользает от психологии. Она связана с психологией подобно тому, как связана с психологией проблема гениальности и изобретения. Промежуточное звено между обычными формами поведения и поведением индивидуальным и уникальным — феномены памяти и времени.

Итак, оригинальность создается благодаря биографическому рассказу. Если рассматривать людей только как тела в пространстве, то они все похожи друг на друга: у них есть сердце, легкие, желудок, они сходны физически. Если рассматривать их в обществе, они меньше похожи друг на друга. Социальные отношения все более дифференцируются. Если принять во внимание память, люди станут еще своеобразнее. В рассказе, во временном повествовании, есть нечто необъяснимое, совершенно уникальное, чего не найдется ни у кого другого. Личность выделилась и стала различимой — потому что появилось время. Мы подходим к моменту, когда личность — больше не вопрос науки, а предмет истории.

Возьмем, например, биографию великого человека, Наполеона или Людовика XVI. На нее больше не распространяются психологические законы. Нет психологических законов, применимых к Наполеону или Людовику XVI; мы попадаем в историю. Но здесь психология оказывается перед новым измерением — реальностью во времени, — совершенно отличной от других. Личность постепенно создавалась во времени и пространстве и повсюду предстала с характеристиками внутреннего единства и отличия от других.

Однако проследить эволюцию понятия — еще не все. Почти неизбежно наш беспокойный разум ставит волнующий, но неразрешимый вопрос. Вы изобразили, — скажете вы, — как личность появляется, развивается, достигает такого-то уровня. Хорошо, а что будет завтра? Есть ли у нее будущее? В следующей лекции — последней в этом курсе о личности — я бы попросил вашего позволения не быть слишком серьезным. Если придерживаться медицинских или даже социальных экспериментов, я вынужден на этом остановиться и сказать: «Будущее личности? Я ничего об этом не знаю». Но когда наука бессильна, остаются воображение и фантазия, и, с вашего разрешения, мы посвятим наше последнее занятие некоторым фантазиям о будущем личности.

18 МАРТА 1929 Г.

25. БУДУЩЕЕ ЛИЧНОСТИ

В последней лекции курса мы позволим себе поразмышлять о проблемах, в принципе неразрешимых и ставящих предел любому исследованию. У всякого научного исследования есть границы, своя более или менее узкая область, а рядом с ней появляются многие другие вопросы, которые или станут предметом будущей науки, или же навсегда останутся неразрешимыми.

Мы изучали личность с довольно специфической точки зрения — ее эволюции, рассматривая как человеческое творение, возведенное на природном фундаменте. По причинам, скрытым от нас, жизнь протекает между обособленными, отделенными друг от друга существами. Ее можно сравнить с дождем: есть резервуар влаги, водные пары, образующие единую массу, но по какой-то причине — например, из-за сопротивления воздуха — масса воды выпадает в форме отдельных капелек. И так же по велению природы жизнь приобретает форму, отдельных друг от друга капель. Причины этого выходят за пределы психологии. Именно этот факт разделения жизни на маленькие отдельные друг от друга элементы посредством развития действий и затем приспособления существ, дает начало совокупности психологических форм поведения, из которых последовательно рождаются разные формы личности.

Сначала мы говорили о так называемой телесной стадии, затем — о стадии чувств, соответствующей организации личности в пространстве. Мы рассмотрели формирование индивида, персонажа, я, человека в социальной среде. Позже постепенно создается индивидуальность, о которой мы говорили на прошлом занятии. Все эти конструкции складываются в ансамбль, который сегодня мы называем нашей личностью.

Однако все эволюционные исследования оставляют, мне кажется, несколько печальный осадок; в размышлениях об эволюции всегда есть что-то грустное и тягостное. Я это еще раз осознал недавно, в своей последней книге о чувствах. Я изобразил чувства как очень интересное изобретение в поведении человека. Поведение нуждалось в регуляторах, и чувства внесли в него порядок и помогли человечеству совершить существенный прогресс. Но затем происходит нечто удивительное: чем более разумными становятся люди, чем ближе они к высшим психологическим стадиям, тем меньше остается места чувствам. Можно даже подумать, что чувства имеют тенденцию к постепенному исчезновению.

Мы изучали когда-то непомерную веру маниакальных, экстатичных людей и отмечали, что эти состояния не всегда — благо, не всегда были желанными, и в конечном итоге предпочтение часто отдавалось спокойному состоянию с отсутствием сильных чувств. Короче говоря, сначала чувства были средствами регуляции рефлекторных реакций у примитивных существ; они достигли апогея в эпоху великих страстей, а сейчас постепенно идут на убыль, обнаруживая тенденцию к исчезновению. Можно легко себе представить сверхчеловека, о котором говорил Ницше, скорее спокойным и хладнокровным, чем исполненным страстей и чувств. Итак, создается впечатление, что чувства постепенно исчезают, и это может показаться странным и даже жестоким.

Так вот, если рассматривать личность как поведение, трудно противиться вопросу, который приходит в голову всем и может звучать простым и обыденным: а что же потом? Что будет после этой ступени развития человека, после индивидуальности? И будет ли что-нибудь вообще? Остановится ли эволюция личности на этом уровне? Ускорится ли она или пойдет вспять? Эта проблема, к сожалению, неизбежно встает перед нами: она усили-

ваются естественным процессом, возможно, еще более серьезным, чем разбиение жизни на капли, — физическим феноменом смерти. Смерть, когда мы говорим о других, почти всегда избегая мыслей о собственной смерти, воспринимается как исчезновение личности. Так какой же будет ее эволюция? Что станет с личностью?

Очевидно, что эта проблема неразрешима, да я и не претендую на то, чтобы ответить на вопрос об эволюции личности. Проблема имеет две стороны и требует серьезной проработки в двух разных исследованиях. Можно рассматривать личность вне зависимости от самого себя — как совокупность людей, человечество. Когда мы говорили о чувствах, то описывали их эволюцию у человеческой расы, не затрагивая того, что происходит в нас самих. Можно говорить о личности с этой точки зрения: что станет с личностью наших потомков, будут ли они эволюционировать в том же направлении или же личность будет регрессировать? Это важный вопрос социологии и общей психологии о будущем личности. А затем с величайшей осторожностью следует рассмотреть и другую сторону вопроса, касающуюся нашей собственной личности. Что с ней станет? О чем можно помечтать в вопросе о сохранении личности?

Вот две стороны проблемы, которые я бы хотел представить вашему вниманию. Я указал вам на трудность проблемы, решить которую в один прекрасный день предстоит вам. Прежде всего, рассматривая личность независимо от нас самих, в общем и целом, можно отметить ее достоинства — ее роль в эволюции — и недостатки. Например, в особенности у нас, во Франции, личность чрезвычайно разрослась, — я думаю, больше, чем в других странах, — и это непомерное развитие личности вызвало неудобство индивидуализма. У нас, даже находясь в группе, человек занят самим собой, пытается играть роль, потому что будет вознагражден или избежит опасности. Общество заботит его только во вторую очередь: он извлекает из него ту выгоду, которую можно извлечь. Раздутый индивидуализм приводит к зависти, жесткой конкуренции и вредит обществу. Представьте работу, для которой вы объединяете человек двадцать: эта работа будет успешной, только если все они нацелены на сотрудничество. Для

этого нужно, чтобы один стал руководителем, а другие — подчиненными; нужны люди, которые бы делали бы черную работу, и те, кто встал бы над ними. Одни из общего труда извлекают выгоду и славу, а другие остаются неизвестными, — это неизбежно.

У нас очень трудно что-то организовать: так, нам трудно завести у себя командные спортивные игры, популярные в Америке и других странах. Действительно, если вы посмотрите на другие страны, вы увидите манию обществ: люди всегда в группах, и когда они собираются в какие-то сообщества, — а их тысячи: спортивные, развлекательные, благотворительные, — у них появляется гордость — не индивидуальная, а общественная. Какой бы ни была работа, которую нужно сделать, — скромной или значительной, — они счастливы успеху группы более, чем своему собственному. Мне кажется, в других странах гораздо меньше конкуренции, зависти, индивидуализма, чем во Франции, где всегда готовы вставить соседу палки в колеса и очень опасаются его успеха. Итак, вот одна из сложностей эволюции личности, но мы видим, что кроме индивидуализма рождаются и другие формы поведения.

Чтобы почувствовать изменения личности, я бы хотел, чтобы вы прочли замечательную во всех отношениях книгу Андре Зигфрида «Соединенные Штаты сегодня» (1927) — исследование скорее социологическое, нежели психологическое. Труд об американской промышленности и торговле, написанный экономистом, вдохновлен очень интересной общефилософской проблемой. Признаюсь, я остался верен идеалам наших классиков и считаю, что любое произведение должно соединять техническую компетентность с философскими идеями. Если упустить одно из них, мы ни к чему не придем, — разве что к тому, чему грош цена. Так вот, произведение Андре Зигфрида пронизано философскими идеями. Они чрезвычайно интересны и даже поразительны. После длительного исследования Северной Америки автор пришел к убеждению, что Соединенные Штаты и поведение американцев — как индивидуальное, так и материальное, коммерческое, — вдохновляется и направляется религиозным аспектом: именно религия в прошлом двигала Америку вперед, а сегодня задерживает ее развитие.

Лежащие в основе этой работы идеи очень необычны. Зигфрид утверждает, что Америка целиком построена на религии английских пуритан, пуританском протестантизме. Он долгое время мог успешно развиваться в Америке в силу исторических причин: огромную роль играла всегда иммиграция, в первую очередь из стран Северной Европы, Швеции, Норвегии, Дании, Германии, Англии, Голландии; это была миграция людей, имевших те же религию и культуру, и поэтому очень легко прижившихся в Америке. Я был поражен во время многочисленных своих поездок чрезвычайно быстрой ассимиляцией, особенно до войны: это было удивительно. Американцы с удовольствием нам показывали, что они делают с приезжими детьми: их моют, хорошо одевают, сажают за парты и, несмотря на то, что они не понимают языка, заставляют петь по-английски; нас убеждали, что через полтора месяца эти дети станут настоящими американцами.

После войны характер иммиграции изменился: она шла теперь из Польши, Малой Азии, Турции, Греции — стран, чуждых протестантскому пуританизму, — и эта миграция внесла многие элементы других религий, в частности, католицизма и иудаизма. Это создало в Соединенных Штатах тяжелые настроения, ибо, как нас убеждает Зигфрид, если протестантизм был в Америке средством доминирования над умами, то католицизм принес средство освобождения и борьбы с доминированием.

Протестантский пуританизм с его жесткой организацией и самодостаточностью привел к прекрасным с точки зрения прогресса результатам. В частности, это проявилось в стандартизации человеческого труда: заводы достигли максимальной производительности, так как каждый человек там — на своем месте и выполняет всегда одну и ту же небольшую часть работы. Чтобы добиться этого от рабочих, было использовано поразительное средство — комфорт. Людям платили высокие зарплаты, прекрасно организовали быт, окружали всевозможными радостями и развлечениями, но, по словам Зигфрида, неизменно стандартными. Человек должен радовался тому же, что и все, — тем же фильмам, музыке, — должен быть счастлив, что может каждый день принимать ванну; нужно, чтобы у него было чувство комфорта, всегда одно и то же, совершенно методически распространяющееся на всех.

У людей, приезжающих с Востока, в особенности у католиков, часто другая позиция; они выросли на идеях индивидуализма, с молоком матери впитали, что мы все отличны друг от друга: каждый имеет свои вкусы, свою ценность, свои привычные формы досуга, свой стиль работы. Каждый вносит в труд свою оригинальность и хочет иметь право изобретать. Одним словом, каждый рабочий предстает как средневековый мастер, художник, стремящийся изобретать новое, вкладывающий душу в свой труд. Поэтому между этими двумя классами возникает борьба.

В работе Зигфрида вывод лишь слегка намечен: человеческая личность, в частности, в Соединенных Штатах, находится в процессе эволюции, преобразования. Несомненно, личности с нашим образом мыслей еще существуют, и я пытался показать, что личность, какой мы видим ее во Франции, заключается в том, что каждый считает себя чуть ли не королем, вождем, героем и гением. Сегодня еще остаются такие люди — большие начальники, основатели заводов, владельцы предприятий, — но массы, ниже их стоящие, теряют свою личность, индивидуальность, регрессируют. Они идут на отказ от оригинальности, на то, чтобы быть гениями. Это шаг назад, прекращение прогресса, и я мог бы вам напомнить в этой связи мысль, высказанную профессором Коллеж де Франс Ле Руа: эволюция не закончена. Нам кажется, что эволюция человека завершена, потому что его тело больше не меняется, но приходит новая эра, когда меняется сознание. Ле Руа полагает, что формируется новое внутренне и внешне человечество. Возможно ли это? Да, если мы вернемся к мыслям об обществе и социальной личности, о которой я вам говорил.

Если формируется сообщество — пусть даже футбольная ассоциация, — если команда складывается и пытается действовать, жить единой группой, не считаясь с отдельным человеком, это сообщество приобретает что-то вроде личного существования. Таковы все сегодняшние сообщества: посмотрите на формирование синдикатов, палат депутатов, научных обществ, разных национальных группировок. Мы видим постоянное образование новых сообществ.

Позвольте напомнить вам мечту Шопенгауэра, говорившего: «Личность будет развиваться, распространится на всю

землю; земля будет человеком, она будет ходить, у земли будут органы; человек же станет клеткой, частицей земли. Личность завоюет весь земной шар и, возможно, даже всю Солнечную систему; она изменится, распространится на все более обширные группы за пределами нашей собственной индивидуальности». Эта фантазия показывает по меньшей мере, что человеческая личность не столь могущественна и определена, как об этом думают. Даже при условии дальнейшей эволюции человечества, которое изобрело личность, ее бесконечный рост не гарантирован: она может убывать, изменяться, переходить во что-то другое, и в какой-то момент, занятые обществом, новой личностью, нас забудут, как забывают строителей, клавших кирпичи здания. Таков наш печальный вывод о будущей эволюции человечества в том, что касается личности в общем.

Но, скажете вы, это не так интересно. В конце концов, если наши потомки не будут обладать личностью, тем хуже для них, но у нас-то она есть, и мы этим гордимся и рады. Что будет с нашей собственной индивидуальностью?

Когда приходишь к этому опасному вопросу, нужно всегда принимать меры ораторской предосторожности. Следует оговориться: мы знаем наверняка лишь то, что мы этого не знаем; наша наука очень ограничена и распространяется только на настоящее время, в которое мы живем; мы ничего не знаем о том, что выходит за эти пределы. А если вы случайно что-то знаете, если ваши убеждения, особые верования проливают для вас свет на области, где мы теряемся, это знание нужно бережно хранить. Надо прочно усвоить: никакая научная дискуссия по вопросу бессмертия души не должна касаться этих особых убеждений и веры; эти верования порой сами благословенны, так что их следует хранить, как бесценный дар, даже если они не согласуются с философскими фантазиями, часто мало обоснованными.

Приняв эту меру предосторожности, вернемся к идее о том, что сегодня называют бессмертием души или будущей жизнью. Что это за идея и что она означает? Имеет ли она какую-то ценность? Соответствует ли она чему-либо, что мы могли бы понять?

Первое замечание, которое я должен сделать, состоит в том, что мы достаточно часто ошибаемся относительно происхождения подобных идей. В нас, вероятно, говорит

мелкое тщеславие, когда мы думаем, что бессмертие души возникает только в чисто духовных и более совершенных религиях, что это — прогресс человеческого духа. К сожалению, это не так. Современные религии, которые развивались и привели к прогрессу, — особенно христианство — заимствовали многое у древних религий. Вот факт, который поразил меня много лет назад, когда я был студентом: христианство пронизано идеями египетских религий. Я когда-то изучал труды выходца из Египта Святого Клементя Александрийского, философа и эрудита, занимавшегося разными вопросами. Я пришел к выводу, что христианство заимствовало у египетской религии большую часть идей о будущей жизни, чистилище и рае. Эти представления в Египте развивались с совершенно удивительным размахом. Вы могли бы убедиться в этом, прочитав небольшую только что появившуюся книжку Г.-Р. Табуи «Весь Анк Амон» (1928). Она очень интересна и написана живым, образным языком.

Впрочем, за эту идею отвечает не только египетская религия: сегодняшние исследования традиционных обществ дают разнообразные тому подтверждения. Идея жизни после смерти — о том, что остается от человека, — одна из фундаментальных идей человечества, свойственная еще дикарям. Достаточно прочитать труды Леви-Брюля и Дюркгейма о религии первобытных народов, чтобы убедиться в значении, которое они придают посмертному существованию человека. Это существование описано со всех сторон, включая даже курьезные в психологическом отношении обычаи, такие как двойное захоронение, о котором я советую вам поразмыслить.

Умершего хоронили и через некоторое время, через шесть месяцев или год, проводили вторую церемонию, свидетельствующую об окончательной смерти. Это соотносится с эволюцией памяти об умершем. Первобытные народы всегда представляли себе умершего еще живущим, полагали, что после смерти человек может быть или опасен, или благосклонен: чаще все же опасен. Мертвец может преследовать живых, подслушивать, следить за ними, причинить вред. Его нужно успокоить, защититься от него. Это основная мысль всех примитивных верований и обычаев даже в отсутствие настоящей религии.

Впрочем, эта идея не является метафизическим открытием и представляется мне несложной для понимания, очень общей, естественной: она вытекает из элементарных психологических явлений — сохранения тенденций. Близкий нам человек, сосед существует для нас через действия, которые мы совершаем в его адрес — защиты, привязанности или помощи, — через различные приветствия, признание, классификацию в социальной иерархии, и существует только таким образом. Требуется время, чтобы эти действия сформировались: они возникают в детстве и закрепляются привычкой. У нас множество привычных действий в отношении только что умершего человека, в особенности, если это человек, который был нам близок, один из наших родственников, друзей; у нас множество тенденций, с ним связанных. И смерть ставит перед первобытными людьми проблему, которую ужасно тяжело принять: смерть предполагает внезапный отказ от всех социальных тенденций в отношении этого человека. Она означает, что этот человек больше не появится, его больше не нужно приветствовать, он больше не сделает ничего плохого, от него не нужно ни защищаться, ни оказывать ему услуги. Но, скажете вы, меня еще связывают с ним множество привычек — разговаривать с ним, спрашивать его. Вам на это говорят: это конец, он больше никогда не ответит, прекратите все это. Но как в одно мгновение остановить все эти тенденции? Это очень трудно, а вначале и вовсе невозможно.

Наша вера в вечную жизнь, таким образом, — это сохранение и преувеличение прежних тенденций и привычек. Я рассказал вам о больной, которая руками и ногами колотила по могиле своей мачехи, извергая проклятия. Не форма ли это веры в будущую жизнь? Она продолжала вести себя в отношении мачехи, как если бы та была жива, и, таким образом, верила в постоянство ее жизни. Это естественное верование. Посмотрите на животных: у них нет ни нашей способности суждения, ни интеллектуального поведения, но есть вера в будущую жизнь. Многократно описаны примеры, когда собаки оплакивают своего хозяина, ищут его повсюду, потому что для животного, как и для примитива, хозяин не умер, он просто отсутствует.

Идея бессмертия, таким образом, — давняя идея, берущая начало в сохранении тенденций, существующая

у простейших живых существ и продолжая господствовать уже долгое время. Постепенно человечество пришло к довольно печальному прозрению, которое мы назвали поведением смерти. Я много раз пытался описать особые формы поведения в отношении мертвых, в которых захоронение — лишь часть, один элемент. Эти формы поведения очень интересны; их основное свойство — подавление примитивных тенденций. Постепенно люди пришли к пониманию, что мертвые не возвращаются, — ведь они не возвращаются в действительности. Поскольку наше поведение должно адаптироваться к реальным событиям, нам приходится адаптироваться и к этому исчезновению, и для этого не сохранять бесконечно те же тенденции, что и в отношении живых. Вас связывают с человеком давние, привычные способы поведения, но если он мертв, чем больше вы сохраняете их, тем больше вы себя бессмысленно истощаете.

Люди научились отказываться от социальных действий в отношении умерших. Как я уже говорил, удивительный пример — это поведение наследства. Что может быть любопытнее с психологической точки зрения! Наследство — это отрицание всех возможных тенденций, связанных с собственностью. Когда человек жив, вы признаете, что у него есть собственность, вы связываете с ним то, что ему принадлежит, и уважаете эту собственность, как и самого человека. Но на следующий день после его смерти все спешат получить наследство: от бывшего уважения ничего не остается; уже на похоронах спорят о своем значении в жизни умершего; родители, друзья, знакомые стремятся получить свою долю; уважение к собственности забыто.

И так во всех формах поведения. Разумный человек не будет ненавидеть мертвого. Идея смерти, поведение в отношении мертвых разрушает примитивные предрассудки и верования о вечной жизни. Идея смерти, растущая с развитием цивилизации, и идея вечной жизни боролись друг с другом, что привело к изменению поведения. Постепенно из примитивных идей существования всего человека после смерти возникли религиозные идеи бессмертия, характерные для современности.

После трансформации идей о смерти у веры в будущую жизнь больше не было оснований, и их стали искать.

Первая предлагаемая причина — моральная. Без сомнения, говорят религиозные люди, мы не должны ненавидеть мертвого, таить на него обиду. Но существует понятие справедливости, право на наказание или вознаграждение: добродетельная жизнь предполагает награду, за преступлением должно следовать наказание. Если мертвый не был в достаточной степени наказан в этом мире, мы должны предположить существование будущей жизни, в которой его постигнет неминуемая кара. Странная и достаточно бесполезная идея — этот моральный аргумент идеи бессмертия!

Во-вторых, это приводит к еще более интересной эволюции. Человека стремились сохранить не целиком, но лишь частично. Человек не весь продолжает жить после смерти, — мы это принимаем, нам это понятно; продолжает жить не тот телесный человек, к которому мы привыкли, а его духовная часть. Мы возвращаемся к исследованию, проведенному несколько лет назад о понятии духа: живущий в обществе человек обладает тайным поведением, поведением обмана. Люди научились совершать действия в тайне от соседей, говорить про себя, иметь сокровенные внутренние желания, — они постепенно обретают внутреннюю жизнь. Эта тайная, внутренняя жизнь породила понятие духа, существа бесплотного, но способного играть роль в мире. Именно этой идеей освобождения духа от тела ограничивалась примитивная идея о продолжающейся жизни мертвых.

Первоначальное понятие претерпело двойную эволюцию: во-первых, моральные основания заменили собой привычки и тенденции; во-вторых, вечность стала приписываться только духу.

Без сомнения, эти идеи очень важны, и я считаю их очень полезными. Вполне вероятно, что на протяжении столетий управлять людьми можно было только под страхом ада, и для этой цели его хорошо бы сохранить. Но если рассматривать эти воззрения беспристрастно, с научной точки зрения, действительно ли они настолько серьезны? Можно ли на них основать надежды или представления о бессмертии человека? Этому нет должных доказательств, и сегодня мы думаем иначе.

Моральная трактовка наказания странна и не слишком умна. Это идея наказания в вечности человека хрупкого,

уязвимо, чьи действия детерминированы тысячами влияний наследственности и среды, самыми разными внушениями. До какой степени человек — настоящий автор, ответственный за свои действия? Трудно определить. У человека, говорили мы, есть свобода, но она ничтожна в сравнении с безграничным детерминизмом, определяющими его привычками и страстями. Наказание в вечности не имеет смысла; впрочем, многие религии от него отказываются.

Воздаяние в вечности не имеет большого смысла, и в первую очередь мы вынуждены констатировать, что не понимаем, не знаем, в чем оно состоит. Я хотел бы рассказать вам о произведении Бурдо «Будущая жизнь» (1904). Он проводит любопытное исследование: методично собирает верования разных народов о будущей жизни и хочет показать, как такой-то народ, такая-то религия представляет будущую жизнь. Но его книга, важная и описывающая тысячи представлений о будущей жизни, вызывает смех сквозь слезы. Смех — потому, что многие из этих представлений неразумны, описание жизни мертвых на облаках или в подземном мире бессмысленно, а печаль — поскольку тяжело видеть, к чему пришли люди, пытаясь вообразить эту будущую жизнь; вспоминается поговорка «скучать, как святой в раю». Люди никогда не умели подобающим образом представить то, что может быть в будущей жизни. Короче говоря, в отсутствие каких-либо конкретных функций от вечной жизни не остается почти ничего.

Если моральный аргумент маловразумителен, духовный продвигает нас не намного дальше. Концепция независимого от тела духа сильно устарела. На самом деле то, что называют духовным, есть форма действия, а форма действия не может быть понята иначе как через движение. Если полностью убрать действие, от мысли мало что останется; отделенный от тела дух — пустое, несуществующее понятие.

Между тем жизнь после смерти пытались понять и доказать по-другому. Вы знаете, что веками этот вопрос стремились разрешить опытным путем — через спиритизм. Я надеюсь, что те, кто прослушал лекции по этому вопросу, представляют, о чем идет речь: к сожалению, в спиритической религии и опытах нет совершенно ничего интересного. Если и есть что-то в этих феноменах, это, как считал Шарль Рише, малоизвестные физиологические феномены в живом человеке, самом медиуме. Все пере-

воплощения в Сократа, Гуттенберга и т. д. — сплошное ребячество и исходят от самого человека.

Итак, столь интересная эволюция религий проблемы не решает. Мы сталкиваемся с все тем же противоречием, существующим с самого начала идеи бессмертия: это противоречие между поведением смерти и сохранением тенденций, совершенно неразрешимое, где человечество беспрестанно терпит поражение. Следует ли из этого, что в примитивных идеях ничего нет, они ничему не соответствуют? Маловероятно, потому что все имеет свои причины, все меняется, и то, что современная наука считает непостижимым, в другую эпоху найдет объяснение. Не забудьте столь часто повторяемую мысль: человеческий ум имеет очень низкий потолок и, как самолет, не может превзойти определенную высоту; есть проблемы, для нас непостижимые, потому что наша способность взлета слишком мала.

В каком же направлении двигаться, чтобы объяснить вышесказанное? Я отсылаю вас к прошлогоднему курсу по памяти и времени. Я пытался донести до вас мысль, что понятие времени так же сложно и неопределенно, как и понятие личности. Как и личность, понятие времени — конструкция, несовершенное творение человеческого разума, и мы сказали, что под влиянием Эйнштейна в этом понятии была пробита брешь, оно полностью изменилось.

Чаще всего о бессмертии, жизни после смерти говорят в исследованиях личности, морали, психики, в книгах по философии, но их место другое. Они связаны с идеями длительности, с понятием времени. Время скрывает много тайн. Среди них — и та, о которой мы говорили в прошлом году: различие между длительностью кажущейся и действительной, которая нам неизвестна. То, что мы называем кажущейся длительностью, — это определенное поведение, осуществляемое лишь в настоящем времени, в текущий момент. Человечество всегда жило со старой, как мир, идеей: время — постоянное движение, оно опережает нас. «О, время, останови свой бег!» — так мы интерпретируем нашу адаптацию к длительности: говорим, что изменились не мы, а время. Идея идущего времени связана с множеством любопытных представлений. Самое странное из них — разрушение прошлого: древний бог Кронос, пожирающий своих детей. Эта фантазия о существовании вещей: мир

существует лишь в момент настоящего, будущего нет, это пустота, как и прошлое, которого также не существует. Есть только миг, доля секунды, настоящий момент. Поначалу такое представление кажется абсурдным, непостижимым и противоречащим нашим теориям о причинности и детерминизме; вполне вероятно, что оно ложно.

Возможно, ситуацию надо обернуть. Говорят: время проходит. А я думаю, что не время идет, — ему совершенно нет до нас дела, оно не существует так, как мы этого представляем. Объективно время, как и пространство, — род протяженности с особыми свойствами. Преодолевать его тяжелее, чем преодолевать пространство, где мы разрешаем проблему с помощью ног. Перемещаться так во времени невозможно; мы никакими усилиями не сможем заставить расцвести каштаны осенью. Возможно, существует внешнее время: оно изменяется за счет того, что перемещаемся мы сами, и жизнь, возможно, заключается в движении и развитии во времени. Растение растет в пространстве, мы — во времени. Для движения во времени характерно то, что мы не можем его преобразовать, растянуть или ускорить; мы все с одинаковой скоростью вовлечены в движение, которое не можем изменить.

Из этой концепции времени вытекает важная мысль: то, что мы создаем как прошлое, называем прошлым, необязательно — переход в небытие, исчезновение; у нас нет этому доказательств. Вы двигались и прошли настоящий момент, вас там больше нет, но это не означает, что однажды бывшее уже не существует. В прошлом году я приводил пример поезда, который идет из Парижа в Марсель и, проехав Мелюн или Фонтенбло, туда больше не вернется. Однако мы не можем сказать, что Фонтенбло перестало существовать, исчезло. Почему мы говорим, что умершего больше нет, он — уже небытие? Потому что мы не умеем возвращаться назад, переноситься в прошлое, и говорим, что люди исчезли, мы говорим об умерших как если бы их не было. Возможно, наше сознание ограничено, и прошлое не исчезает целиком, но продолжает существовать. Просто нужно набраться смелости и немного расширить наше понимание бессмертия.

Мне вспоминается любопытные размышления американского философа Уильяма Джемса. Будучи человеком

широкой души, он очень любил животных и не мог смириться, что бессмертие предполагается только для людей. Он говорил: хороший пес также достоин бессмертия, как и я, и он предлагал наделить бессмертием и животных. Он был совершенно прав: для животного, как и для человека, должно существовать сохранение прошлого.

Все, что существовало, продолжает существовать и длиться в том пространстве, которое мы не понимаем и куда не можем попасть. А что будет дальше? Если люди не изменятся, так будет всегда, но есть вероятность, что люди смогут измениться. Лучшее, что мне приходит в голову по этому вопросу, — прочитать превосходный отрывок из замечательного труда Эрнеста Ренана «Будущее науки» (1848–1890–1925, с. 99): «Прежний способ понимания бессмертия представляется мне остатком первобытных представлений о мире и кажется столь же узким и неприемлемым, как антропоморфное представление Бога. Человек, по моему мнению, не состоит из двух субстанций: это единство, результат которого — индивидуальность, явление устойчивое, мышление дрящея. С другой стороны, откажитесь совершенно от бессмертия, и сразу же мир станет блеклым и печальным. Однако мир неоспоримо прекрасен и без всяких проявлений. Следовательно, все, чем пришлось пожертвовать ради прогресса, вернется нам в конце пути, в новом понимании бессмертия, к которому когда-нибудь придут науки о человеке. Разница между ним и старым фантастическим представлением о бессмертии будет подобна разнице между Версальским дворцом и картонным домиком, построенным ребенком».

Я также хотел бы упомянуть менее известную книгу Лакомба, цитируемую в работе А. Берра «Традиционная история и исторический синтез» (1921): «Нельзя ли с помощью науки и искусства превратить зароненную в сознание мысль о прошлом существовании в более точные идеи и воспоминания? Эта надежда может показаться химерической. Но существуют ли вещи, химерические раз и навсегда?»

«Добрая надежда лежит на дне, — таков девиз, принадлежавший, по-моему, Рабле. В книге смелых надежд на будущее человека я думаю написать свою главу. — Осмельтесь надеяться на все, включая бессмертие, надеяться на свой гений, свой труд. Знание и добродетель».

СОДЕРЖАНИЕ

Предисловие научного редактора.....	3
Предисловие переводчика.....	9
Часть 1. Телесная личность.....	11
1. Проблема личности.....	11
2. Синестезия.....	24
3. Чувства позы и равновесия.....	39
4. Тело собственное.....	54
5. Деперсонализация.....	70
6. Фундаментальные чувства.....	83
7. Проблема сознания.....	98
8. Осознание.....	114
Часть 2. Социальная личность.....	130
9. Социальные чувства любви.....	130
10. Чувство ненависти.....	146
11. Эгоизм и личный интерес.....	161
12. Индивидуация.....	175
13. Одержимость.....	192
14. Возможность действия, власть и иерархия.....	207
15. Персонаж.....	222
16. Социальная оценка.....	236
17. Нарушения социальной оценки.....	251
18. Чувство воздействия.....	268
19. Я, дух, душа.....	284
20. Иллюзии аутизма.....	299
Часть 3. Личность во времени.....	318
21. Сомнамбулизм.....	318
22. Раздвоение личности.....	335
23. Биография.....	350
24. Индивидуальность.....	367
25. Будущее личности.....	384

Научное издание

Жане Пьер

ПСИХОЛОГИЧЕСКАЯ ЭВОЛЮЦИЯ ЛИЧНОСТИ

Компьютерная верстка

И. Самсонов

Корректор

А. Конькова

ООО «Академический Проект»

Изд. лиц. № 04050 от 20.02.01.

111399, Москва, ул. Мартеповская, 3.

Санитарно-эпидемиологическое заключение
Федеральной службы по надзору в сфере защиты
прав потребителей и благополучия человека
№ 77.99.60.953.Д.005771.05.09 от 26.05.09.

По вопросам приобретения книги

просим обращаться в ООО «Тригста»:

111399, Москва, ул. Мартеповская, 3.

Тел.: (495) 305 3702; 305 6092; факс: 305 6088

E-mail: info@aproject.ru

www.aproject.ru

Подписано в печать с готовых диапозитивов 25.06.09.

Формат 84x108/32. Гарнитура Мysl. Бумага писчая

Печать офсетная. Усл. печ. л. 21. Тираж 2000 экз.

Заказ № 000.

Отпечатано в полном соответствии с качеством
предоставленных диапозитивов в ОАО «Дом печати — ВЯТКА».
610033, г. Киров, ул. Московская, 122.